

КОНТИНЕНТ 17

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

Кто нашел живые ритмы, создал

верность мер, храм. Подземный,

Претворяя Хаос в Космос музыкою из железобетона, с
сфер? портретами внутри

и красным уголком.

А как в бомбоубе-

жище мне этом от

себя укрыться? Се-

бя избежать? Не

могу.

Сергей Юрьенен

Да, «в начале было

Слово» — или —

прежде слов —

РИТМ — предвечная

основа смыслов и

миров?

Алексис Раннит



На улицах балтийских портов пулеметы строчили по рабочим, а премьер взволнованно рассказывал телезрителям о каких-то хулиганах, которые побили милиционера. Тысячи граждан информировали сейм об истязаниях радомских рабочих, а правительственные публицисты в ответ разоблачали некие тайные силы, кем-то управляемые. Чиновник госбезопасности склоняет недружелюб-



ного собеседника к сотрудничеству, после чего просит жертву шантажа помалкивать: пусть всё останется между нами. И всё это — между нами. Террор, которого не должно было быть, а значит и нету.

Лех Дымарский

...было бы тяжким заблуждением считать, что эти немногие уступки сво-



дарственной системы, которая не ду-

бде достались са-шила бы свой народ, не лишала бы

ми собой... Каж-его всех человечес-

дая из них стоила ких прав, не ликви-

венгерским писате-дировала бы свобо-

лям и художникам ду и демократию,

— стоит и теперь не установила бы

— ежедневной борь-полного господства

бы за каждую фра-над народом пар-

зу, за каждую тийно-государствен-

строчку, за каждое ной бюрократии, ее

слово дикого произвола.

Тибор Мераи

Петр Григоренко



Главный редактор: Владимир Максимов
Заместитель главного редактора: Виктор Некрасов
Ответственный секретарь: Наталья Горбаневская
Заведующая редакцией: Виолетта Иверни

Редакционная коллегия:

Раймон Арон · Ценко Барев · Джордж Бейли
Сол Беллоу · Николас Бетелл · Иосиф Бродский
Владимир Буковский · Ежи Гедройц · Пауль Гома
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Милован Джилас · Эжен Ионеско · Артур Кестлер
Роберт Конквест · Наум Коржавин
Николаус Лобковиц · Михайло Михайлов
Эрнст Неизвестный · Андрей Сахаров · **Игнацио Силоне**
Виктор Спарре · Странник · Александра Толстая
Юзеф Чапский · Александр Шмеман
Карл-Густав Штрём · Пьер Эмманюэль

Корреспонденты «Континента»

Англия	Владимир Тельников Wladimir Telnikov, 28 St Luke's Rd London W 11
Израиль	Михаил Агурский Michael Agoursky, P O B 7433, Jerusalem, Israel
Италия	Сергей Рапетти Sergio Rapetti, via Beruto 1/B 20131 Milano, Italia
США	Юрий Ольховский George Olkhovsky, 3801 Windom Place N. W. Washington D. C. 200 16, USA
Япония	Госукэ Утимура Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7 189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.



КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал

17

Издательство «Континент»
1978

СОДЕРЖАНИЕ

Виталий Помазов — Стихи	7
Фридрих Горенштейн — Зима 53-го года. Повесть	11
Анатолий Жигалов — Бубенцы паломника. Стихи	107
Сергей Юрьенен — Под знаком Близнецов	111
Юрий Милославский — Стихи	150
Алексис Раннит — Стихи. Перевод с эстонского Василия Бетаки	153
РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ	
Владимир Буковский — Изнутри и снаружи. Фрагмент из книги	159
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Тибор Мераи — Догмы и табу	219
ЗАПАД — ВОСТОК	
Владислав Краснов — Русский склад ума или западное состояние умов?	243
ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА	
Лех Дымарский — Что было в мае?	259
ИСТОКИ	
На докладе Жданова. Из материалов сборника «Память»	281
СПОРТ И ПОЛИТИКА	
Эммануил Штейн — «Маленькая война»	287
ИСКУССТВО	
Эрик Эгеланд — Встреча с Неизвестным	299
ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ	
Наум Коржавин — «Добро не может быть старо»	315
Н. Артамонова — О писателе Юрии Домбровском	331

КОЛОНКА РЕДАКТОРА	351
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ	
Василий Бетаки — Между Лозунгом и Мусорщицей	355
Вик. Соколов — О людях — с любовью	360
В. Волков — «От не себя убереги»	364
Ф. Салказанова — Инспектор контрразведки	368
Н. Горбаневская — Отказ от потери памяти	372
КОРОТКО О КНИГАХ	377
ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ	389
НАША АНКЕТА	
Интервью с Петром Григорьевичем Григоренко	395
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ	

*ПОСВЯЩАЕТСЯ
АЛЕКСАНДРУ ГИНЗБУРГУ*

I

ПЕРЕД СНЕГОМ

Тихи покинутые чаши,
Всё ближе, ближе грозный срок,
Всё безмятежней и щемящей
Небес лазоревый песок.

За кромкой прибранного поля
Всё ближе, резче и ясней
Кресты земной последней воли
На ржавых куполах церквей.

И чудится: за поворотом,
Над синим лезвием реки,
В высоких облачных воротах
Господь глядит из-под руки,

Благословив леса и поле,
Людей и птицу и зверьё.
Но Белый Ангел приготовил
Своё разящее копьё.

Декабрь 1976

II

ПОСЛЕ АРЕСТА ДРУГА

Что с тобой, душа, случилось?
Смутный мартовский денек
Принимаешь, словно милость,
Как подарок и упрек.

Днем мелькают маски — лица,
В голове какой-то звон,
И отравую сочится:
Почему не я, а он?

Но ушел февраль-проказник,
Боль снежком припорошив,
И какой-то проблеск, праздник
Нужен нынче для души.

Всё забота да забота.
Горько сжат усталый рот.
Золотой туман киота
Сердце ласково качнет.

И оно на крыльях хора
Унесется далеко,
Сбросив груз дневного сора,
Станет больно, но легко.

Смелет горе время-мельник
На далеком берегу.
Утро. Чистый понедельник.
Звон синицы на снегу.

И пускай что будет — будет,
Уклониться не хочу.
Дотянуться можно к людям
Лишь по совести лучу.

Пусть же телу, как синице,
Крошка хлеба из-под льда,
А душе пускай лучится
Вифлеемская звезда.

Апрель 1977

III

АВГУСТ В ТАРУСЕ

Созвездья рябины —
Маринины бусы
Сгорают бездымно
На холмах Тарусы.

Последние грозы
Встают над Окою
(Над Волгой, над Камой —
Последней рекою).

Отсрочка, обмолвка —
Нежаркое лето
Блеснуло осколком
И кануло в Лету.

Чернеет в овраге
Лопух погребальный,
Да ветер доносит
Буксирчик недалний.

Промыты до блеска
У фикусов уши.
Сыра занавеска,
Ненастье всё глуше.

Беду себе прочить
Мучительно свойство,
Но ветер приносит
Туман беспокойства.

И в тучах косматых
Сошлась не зарею
Полоска заката —
На горле петлею.

Картона кусочек
Заведует нами.
И шестеро ночью
Пришли с фонарями.

Разбужены дети
(Вода с капюшонов)
И жмутся соседи —
Свидетели шмона.

А шмон затянулся,
Ключют понятия...
Таруса, Таруса.
Россия, Россия.

Апрель 1977

ПОМАЗОВ Виталий Васильевич — родился в 1946 г. Окончив восьмилетку, учился в Заволжском моторном техникуме, сдал экстерном экзамены за среднюю школу. В 1965 г. поступил на историко-филологический факультет Горьковского университета. В мае 1968 г. был исключен из комсомола и из университета за написание самиздатской социологической работы и взят в армию. После армии работал инженером по НОТу на заводе металлоизделий в Горьком. В октябре 1970 г. арестован за изготовление и распространение той же самой работы и приговорен к четырем годам по ст. 70 УК РСФСР. Кассационный суд переквалифицировал обвинение на ст. 190¹ и заменил наказание на полтора года, которые Помазов отбывал в уголовном лагере. После освобождения неоднократно участвовал в коллективных протестах против судебного и внесудебного произвола.

ЗИМА 53-го ГОДА

Повесть

1

Ким стоял пригнувшись и смотрел, как уползает в темноту скребок, металлический ковш, прикрепленный тросами к барабанам лебедки. Выработка была освещена лишь метра на два от него карбидной лампой, висящей на «мальчике», короткой стойке, вбитой между почвой и кровлей, далее скребок вползал в сумерки, а в самом забое, где лежала руда, была полная тьма и приходилось пускать скребок по счету. Он считал до пятнадцати, потом отпускал левый рычаг, нажимал правый, и скребок полз назад, волоча перед собой руду к отверстию, прикрытому решеткой из сварных рельс. Он пускал скребок, как невод в пучину океана, и каждый раз с колотящимся сердцем ждал улова. Левая рука его кровоточила, вспоротая на ладони тросом, и он обернул ее платком. Поверх платка Ким натянул брезентовую рукавицу, однако она топорщилась, мешала пальцам плотно ухватить рукоять, и от этого лебедку уже несколько раз заклинивало. Волосы под каской у него слиплись, а на щеках, разъедаая кожу, щемили подсохшие капли горячей смазки, брызнувшей из разогретой лебедки.

«Могло ведь выжечь глаза, — лениво подумал Ким, — только бы скребок не притащил глыб».

Он стоял, жадно вытянув шею и смотрел в темноту. Скребок был плотно набит влажной жирной рудой. Она легко просыпалась сквозь прутья отверстия. Глыба была одна, небольшая, с синеватым отливом, значит, мягкая. Он решил расколотить ее в следую-

ший раз, когда подберется несколько. К тому ж Ким нашел удобное положение тела, откинувшись назад, он больше не чувствовал боль в позвоночнике, лишь затылок изредка словно сосало что-то, натягивая туго кожу сзади, было не больно, но как-то мерзко, однако он и тут обнаружил: стоит сглотнуть слюну, и затылок отпускает.

Скребок появился наполненный синеватым чистым порошком, весело поблескивающим в свете карбидной лампы. Скребок начал появляться чаще, очевидно, мозг уже не нуждался в свете, руки автоматически жали на рычаги, они не способны были ошиться, ибо были уже мертвы. Вряд ли живые пальцы так ловко протискивались бы меж наматывающимся тросом и барабаном, выпрямляя трос. Живые пальцы давно б расплющило, изорвало в клочья. Ленты тормозных колодок запеклись, стали гладенькими, точно полированными, барабан забуксовал, Ким подобрал с влажного грунта деревянную щепку, просунул ее меж лентой и металлом. Лебедка дернулась, дерево тлело, красноватые искры потрескивали, воспаленные дымом глаза слезились, но скребок был неподвижен. Тогда Ким один рычаг придержал ногой, а на второй навалился обеими руками, всем телом, лицо его было вровень с горячим кожухом, где изнемогающие шестеренки плевались горячей смазкой.

Когда скребок выполз из темноты и начал приближаться в сумерках, Ким увидел перед ним несколько шевелящихся теней. С пересохшим горлом он ждал их появления на границе света, они не появлялись уже давно, возможно, более часа, но позвоночник еще до сих пор не отдохнул, теперь он понял, что уговорил себя, придумав это положение тела, которое вовсе не уменьшало боли, может, только отвлекало, потому что он висел, неестественно откинувшись назад, и надо было все время думать о равновесии, чтобы не упасть. Впереди глыб полз маленький и, как ему показалось,

хитрый обломок. На вид такой плоский, чешуйчатый обломок кажется легким, безобидным, однако, упав даже с небольшой высоты, он своими острыми краями легко и мягко переламывает кости. За обломком катился круглый валун, очень увесистый, в разных направлениях прорезанный синеватыми, поблескивающими жилками. Если валун этот удачно ляжет на решетку, можно будет расколотить его в три удара. Ким представил себе, как от кувалды валун бессильно лопается в жилах, исчезает под решеткой, и даже улыбнулся. Но следом за валуном, подталкивая его, выползло нечто тяжелое матово-красное, с вытянутой мордой. Оно ударило по «мальчику», карбидная лампа метнулась. Ким пригнулся, нажав рычаг, остановил магнитный пускатель и подождал, пока лебедка затихнет. Тело знобило, он чувствовал, что заболевает, еще когда шел на смену. Под брезентовой спецовкой всё было мокрым, слежалось, слиплось: свитер, и клетчатая рубашка, и вторая рубашка сурового полотна, и футболка, когда-то выходная, купленная на университетскую стипендию, а теперь прогнившая от шахтной пыли, истрепанная, неумело зашитая в нескольких местах.

Ким сел на теплую лебедку и снял каску.

«Завтра Новый Год, — подумал он, — 1953-й... Пять и три — восемь...»

Карбидная лампа перестала метаться, он надел каску и прикоснулся к рукояти балды, тяжелого молота-кувалды. Деревянная рукоять была гладкой, отполированной ладонями, а на конце ее железная расплюснутая болванка. Ким оторвал балду от земли и понял, что забыл тяжесть, посидел некоторое время, привыкая, потом встал, пошел к глыбам, перетянутый балдой вправо. Ближе всех, почти по эту сторону решетки лежала синеватая глыба, приползшая ранее. Он поднял балду, она повисла некоторое время над ле-

вым плечом, тыльная сторона болванки царапнула лопатки.

Затем он метнул балду вниз и попал точно в центр синей глыбы. При этом каска слетела и звякнула о решетку, а концы шерстяного, некогда щегольского шарфа, которым была обмотана шея, вырвались из-под воротника спецовки. Балда прошибла глыбу насквозь, звонко ударила по рельсам. Ким поднял балду вновь и разбил одну половину глыбы, затем вторую. На месте глыбы теперь лежало несколько мягких кучек, и он ногами спихнул их сквозь рельсы решетки вниз. Затем, не поднимая каски, весь распотрошенный, он шагнул и ударил маленький плоский обломок. Балда скользнула по его чешуйчатой поверхности, обломок дернулся и придавил выставленную вперед ступню. Ким застонал, присел в нелепой позе, ему пришлось вторую ногу согнуть в колене и поставить на рельс, но металл был скользким, и колено сползло в щель меж рельсами, глубоко застряв. Теперь он был распят на решетке, и каждое движение причиняло боль. Для того, чтобы освободить придавленную обломком ступню, нужно было нагнуться, но этому мешало колено другой ноги, застрявшее меж рельс. К счастью, балду он не выпустил из рук, и теперь ему подумалось, что рукоять можно использовать как рычаг. Он повернул балду болванкой к себе и начал осторожно, стараясь сохранять равновесие и не шевелить телом, просовывать конец рукояти под обломок. С первого раза это ему удалось, однако нога, согнутая в колене, затекла, и икру вдруг сжала судорога. Ким дернулся, что-то хрустнуло, впрочем, хруст этот он ощутил уже некоторое время спустя, как воспоминание. Он почувствовал кислый привкус во рту, увидел свет карбидной лампы, и ему пришлось напрячься, чтоб вспомнить всё, что с этим привкусом и лампой связано: лебедку, и глыбы, и, наконец, свое нелепое положение на решетке. Ким хотел утереть с висков и

лба холодную испарину, однако побоялся выпустить балду из рук и сделал это не ладонями, а предплечьями, оцарапав кожу жесткой брезентовой тканью спецовки. Удивительно, что, даже потеряв сознание, он не выпустил балды, очевидно, просто навалился на нее грудью, и рукоять теперь еще глубже и удобнее вошла под обломок. Пламя карбидной лампы заколебалось, видно, где-то на верхнем горизонте включили дополнительный вентилятор, сквозь выработку потянуло свежую струю. Он жадно глотнул, уперся ладонями в болванку, рванул рукоять вверх и извлек ступню из-под обломка. Потом он прижал к низу голенище сапога на второй ноге, выпустил штанину, осторожно закатил ее и вытянул освобожденное от толстого брезента колено, на четвереньках сполз с рельс. Он пошевелил пальцами ушибленной ступни, они странно пружинили и покалывали, пощупал колено и встал. Каска и балда остались на решетке, он заправил вылезший из нижних стеганых штанов свитер и рубашку, обмотал туго вокруг шеи болтающийся шарф, застегнул спецовку под самое горло, шагнул вновь на решетку, слегка волоча левую ногу, боль была, но вполне терпимая, поднял каску, опустил подшлемник, крепко завязал тесемки вокруг подбородка, взял балду и, невысоко подняв, ударил по краю обломка. Обломок крошился не поперек, а вдоль, слоями, словно сбрасывая каждый раз мертвую кожу и обрастая новой, еще более твердой.

«Я слишком много сил потратил на предыдущую глыбу, — подумал Ким, — слишком замахивался и стучал по рельсам. Она была мягкой, и ее можно было просто придавить скребком».

Наконец обломок треснул. Ким ударил еще раз по центру трещин, на этот раз подняв балду высоко и почувствовав сосущую тяжесть в затылке. Обломок разлетелся на несколько осколков, и Ким сбросил их ногами в щели. Потом Ким снял рукавицу и, сморщив-

шись, отодрал сухой, покрытый пятнами платок. Тотчас же на ладони в нескольких местах появились капельки крови, быстро набухавшие. Ким лизнул их языком, натянул рукавицу, крепко ухватил рукоять обеими руками и ударил, вернее, метнул балду через валун в матово-красную тяжелую глыбу. Балда понесла его, потянула за собой, и он упал, успев, однако, ловко запрокинуть лицо и подставить локти, а поэтому расшибся несильно. Ким очень быстро поднялся и ударил опять. Потом он лежал у лебедки на куче мягкого промасленного тряпья. Ворот спецовки его был расстегнут, а ремень на брюках распушен, отчего дышать стало легче. Вначале он подумал, что его сюда перенесли и положили, однако, оглядевшись, понял, что по-прежнему один в выработке. Он лежал на спине, подняв руки вверх, согнув их в локтях, и вдруг ему показалось, что он спал и ему снился сон, женская головка вся в кудряшках, как баранчик. Он вздохнул, но не сразу опустил руки, сперва поласкал эту приснившуюся головку, проводя ладонью к маленькому, едва прикрытому кудряшками ушку. Ким сел весь разбитый, с тяжелой головой, с болью в груди, на зубах его похрустывало, и он долго отплевывался красной от рудной пыли слюной. Решетка была чистой, глыбы исчезли. Он перегнул туловище, нажал магнитный пускатель и притормозил левый барабан лебедки. Скребок пополз, Ким следил за ним, а когда он исчез в темноте, начал считать. Считал теперь Ким медленней, очевидно, от усталости и поэтому решил переключить обратный ход не на пятнадцати, а на двенадцати. Назад скребок помчался легко, совсем невесомо, и выполз обрывок троса, царапнул рельсы. Ким выключил лебедку, поднял с земли жирный от смазки трос, положил его на плечо, снял с «мальчика» карбидку и, пригнув голову, упираясь ногами, потянул трос в глубину забоя, разматывая его с барабана. Он слышал свое дыхание с хрипами, со странным свистом

и бульканьем, потом он сильно ударился головой о закол, отслоившуюся провисшую глыбу, и присел на корточки. Каска спружинила удар, но все же он почувствовал его, особенно над бровями и в позвонках у основания шеи. Выработка слегка поплыла вправо, и Ким невольно повернул свет карбидной лампы в противоположную сторону, чтоб остановить вращение. Руды еще было достаточно, хоть он по крайней мере наполовину очистил забой. По центру забоя тянул сырой холодок, это дышала пустота, пятидесятиметровая бездна, очевидно, обнажилось отверстие в камере. Стараясь не смотреть вверх, на провисшие, покрытые красноватыми капельками глыбы, каждая из которых могла расплющить его, Ким ползал, осторожно нащупывая второй обрывок троса. Обрывок вонзился в руку, клубок распотрошенной острой проволоки охватил ладонь, как щупальцы. Проволоки покороче лишь прокололи кожу, зато проволоки подлинней, войдя в мясо, изогнулись. Киму вдруг вновь захотелось спать, тихая тошнота убаюкивала, теплый гнилой воздух выработки смешивался возле лица его с сырым холодком из камеры, создавая незнакомый приятный аромат, телу было удобно, а во впадине между ключицами прохладно. Ожог карбидной лампой заставил напрячься, открыть глаза. Кожа на мизинце левой руки была закопчена дымом, отвердела. Ким зажал лампу между колен и осторожно, пальцами левой руки пригнув обожженный мизинец, начал по одной вытаскивать проволоочки из мякоти ладони. Затем соединил оба конца троса, перегнул их, завязал узлом, пошел назад к лебедке, включил и на малых оборотах легонько дернул трос, затянул узел.

Он работал некоторое время четко и слаженно, понимая, однако, что это должно кончиться катастрофой. Зрачки его были расширены, и «мальчик», трухлявая стойка, обросшая белым грибком, сместилась в центр выработки. Он уже не ждал, он жаждал

катастрофы как избавления, ибо вся жизнь его прошла в этой выработке, и он помнил каждый рельс на решетке, знал каждую зазубрину, и узор, образованный белым грибком на трухлявом дереве, был ему родным. Цель его жизни была волочить скребок сквозь темноту, сквозь сумерки к решетке, освещенной карбидной лампой, и теперь, когда цель эта осуществлялась и скребок полз, наполненный до краев чистой высококачественной рудой, он испытывал особенный страх, только лишь сама катастрофа могла избавить его от страха перед ней.

Наконец он услышал лязг в темноте, лебедку перекосило, обрывок троса пронесся у виска и высек красноватый каменный фонтанчик. Ким включил лебедку, расстегнул пуговицу спецовки у горла и глубоко вдохнул тепловатый, по-домашнему привычный воздух.

«Могло убить», — подумал Ким словно о давно случившемся событии, впечатление от которого потускнело и потому доставляло ему незначительное беспокойство. Он взял карбидную лампу и пошел в забой. За последнее время здесь произошло изменение, глыбы нависли еще ниже, и передвигаться можно было лишь согнувшись, а у самого забоя ползком. Очевидно Ким просчитался, слишком поздно переключил обратный ход, загнал скребок до конца, ударил им по груди забоя и вырвал из скалы крюк с блоком, по которому скользил трос. При падении блок раскололся, впрочем, он давно уже держался на волоске, свежий излом был лишь в конце изъеденного ржавчиной металла.

Ким подполз к самому обрыву в камеру, это был короткий лаз, некогда перекрытый решеткой, сейчас полностью сгнившей — торчали лишь склизкие куски бревен. Он упер подбородок в разбухшее бревно и попробовал посветить карбидкой. Жалкий отблеск таял где-то на первых же метрах крошечной тьмы. Сладковатый запах серного газа щекотал ноздри. Сама преисподняя разверзла перед ним свои недра, и Ким испы-

тал вдруг манящее чувство бездны. Руки были легкими крыльями, лишь на конце, несколько утяжеляя их, зудели две ранки, а тело стало по-птичьи горячим. Он ясно слышал звуки, незнакомые ранее, похожие на шепот. Ким повернулся на спину и опустил в бездну голову затылком вниз. С плотно заплюснутыми глазами, чувствуя от напряжения покалывание в ушах, он слушал шепот, хоть и понимая уже, что это шуршат камушки, потревоженные его телом и скатывающиеся вниз по стенкам. Весь вес его переместился к голове, в лоб, под кожу была вставлена чугунная пластинка, переносица тоже отяжелела, но ему было хорошо, и он лишь изредка приподымал голову, чтоб сглотнуть накопившуюся слюну. Он услышал из бездны человеческие голоса, и это его не удивило, так же, как во сне не удивляют любые нелепости.

— Ядри твою в качалку, чума собачья, — сказал один голос.

— А вон он ноги раскинул, — сказал другой.

Ким осторожно по плавной дуге поднял голову и, продолжая лежать, держа голову на весу, увидел два приближающихся к нему огонька. Тогда он сел, опираясь ладонями в грунт.

— Ты чего? — спросили освещенные карбидной лампой впалые щеки и рот, полный зеленоватых зубов, очевидно, недавно перемоловших луковицу.

— Блок сломался, — ответил Ким.

— Отчего ж ты скребок в самый забой загнал? — запрыгали зубы. — Взять бы тебя как кутенка у загровка и в собственное твое дерьмо... Смену срываешь, сволочь образованная... Ты сколько университетов кончил?

— Я на первом курсе был, — стараясь посмотреть мимо зубов, сказал Ким.

Чуть позади начальника примостился мальчишка лет шестнадцати в новой спецовке. Он улыбался, подмигивая Киму, и, положив ладонь левой руки на сгиб

правой, совал этот непристойный жест начальнику в спину.

— Ладно, — сказал начальник уже потише, — я сейчас к другим артистам слазию, а потом мы, работники, за новым блоком ходим... У меня на вентиляторе есть... Ты, Колюша, здесь посиди...

Колюша молча приложил ладонь к каске. Козырек каски у него был подрезан, а край козырька весь в острых треугольничках, сделанных, очевидно, перочинным ножиком для красоты.

Едва начальник скрылся, исчез в отверстии лаза, как Колюша улегся на спину, поднял правую ногу, издал непристойный звук и сказал: — Будьте здоровы... Спасибо...

После этого он вскочил, взобрался на выступ и крикнул Киму:

— Лови веревочку!

Остро пахнувшая мочевиной струя, изогнувшись, мелькнула, так что Ким с трудом успел отодвинуться.

— По зубам хочешь? — спросил Ким, тяжело задышав.

— Ты не обижайся, — сказал Колюша. — Меня знаешь как купили... Я возле склада взрывчатки вздремнул, тепло там, а ребята кричат: «Лови веревочку»... Я вскочил и прямо руками... Понял, — он хохотнул, — ничего, сейчас мы с тобой пошухарим.

Колюша сунул руку за пазуху и вдруг вытащил полузадохшегося воробья с закатившимися глазками и судорожно открытым клювом...

— Это мужик, — сказал Колюша, переложил воробья в левую руку и вытащил второго воробья, такого же измученного, полуживого. — А это баба... Видишь, у нее грудка рябая...

— Зачем ты их? — сказал Ким. — Зачем ты мучаешь?

— Я их припутал, чтоб посмотреть, как они это самое между собой... Понял? Посадил в ящик из-под

посылки... В крышке дырку проделал... А они, паскуды, забились по углам и всё... Может, они время выжидают, когда я на смене...

Он разжал ладонь. Воробиха лежала, уронив голову, взъерошенная, вытянув лапки. Колюша подул на нее, воробиха шевельнулась, дернулась и полетела, ударяясь о скалистые стенки, кровлю, падая, снова взлетая.

— У-лю-лю! — завопил Колюша и метнул второго воробья, который тоже полетел.

В шахтном полумраке, освещенном лишь двумя карбидными лампами, шорох крыльев и попискивание воробьев казались страшными и фантастичными.

— Это что, — хохотнул Колюша, — мы однажды кинули лапы в скорлупу грецких орехов воткнули... И пустили... Он клоц, клоц, клоц по коридору как конь...

Один из воробьев вдруг камнем упал прямо Киму на руки, прижался к ладони. Теплая мягкая тушка сотрясалась, наполненная судорожным стуком. Воробей был еще молодой, с нежным желтеньким клювом. Расширенные от ужаса глазки его смотрели прямо Киму в лицо.

— Его надо вынести наверх, — сказал Ким.

— Сейчас, — сказал Колюша и неожиданно хлопнул Кима по ладони.

Воробей вылетел и исчез меж склизких бревен.

— Вот дает, — крикнул Колюша, — в камеру залетел.

— Болван ты, — сказал Ким.

— Ничего, — сказал Колюша, — у нас однажды крепыльщик в камеру провалился... И не нашли... Что ты... Сто метров ширина, пятьдесят метров глубина... Понял? А воробей летать будет... Устал — сел отдохнул... Там воды полно, может червяки по стенам ползают... Сырость...

— Дурак ты, — тихо сказал Ким, — откуда здесь червяки... Это ведь недра...

Второй воробей где-то притих, они взяли карбидные лампы и пошли, оглядывая выработку. Воробей выпорхнул прямо из-под ног, он примостился у лебедки, она еще не остыла и там было теплее. Колюша хотел поймать его каской, но воробей метнулся, ударился о скалу, с тихим всхлипом отслоился от кровли плоский обломок и тяжело упал, Ким успел прижаться к стене, а Колюша, пригнувшись, метнулся назад, перевалился через лебедку.

— Плюется, зараза, — поднимаясь и держась за ободранный локоть, сказал Колюша.

Ким поддел ногой обломок. К сырому кварциту прилипло красноватое, облепленное перьями месиво, несколько легких воробьиных перьев ветерок волочил по грунту. Ким и Колюша уселись на лебедке, поставив карбидные лампы рядом. По сторонам и сверху слышался треск, шорохи, иногда что-то сыпалось неясно откуда, иногда ухало коротко, казалось, вокруг идет жизнь непонятная и враждебная им, кто-то подползает, что-то готовится, и Ким с Колюшей невольно вздрогнули, одновременно прижались друг к другу.

— Ты на практике здесь? — спросил Колюша. — Ты студент?

— Нет, я работать буду, — ответил Ким.

— Кончил.

— Выгнали, — ответил Ким.

— У нас недавно из ФЗО тоже одного выгнали за хулиганство, — сказал Колюша, — он на Север завербовался... И я завербуюсь... Там деньги хорошие... Знаешь, — помолчав сказал он, — тут бы подзаработать... Нам начальник за сегодняшнюю смену тройной наряд обещал... Приеду домой, к Насте пойду... Уборщица у нас есть в ФЗО... Она уже старая, может, тридцать лет... Или сорок... Ребята говорят, за деньги принимает... И приснилась она мне раз. А еще в автобусе, когда народу полно, обжиматься можно... Прямо к грудям как притиснет...

Колюша поднял кверху подбородок, зубы его поскрипывали, губы шевелились, тонкая цыплячья шея вздрагивала. Наверное, ему не было еще и шестнадцати, лицо его удивительно сочетало в себе порочность с чистотой ребенка. Сквозь пятна руды на щеках просвечивала розовая кожа, а с раздувшимися ноздрями, искаженными манящей щекочущей страстью, словно боролись по-детски голубые, прикрытые длинными ресницами глаза.

Лаз осветился, видно, вернулся начальник. Вскоре показались ноги, потом он вылез и присел на корточки. Лицо его было густо усеяно каплями пота.

— Бери блок, — не вытирая лица и делая длинные передышки между словами, сказал ему начальник.

— Тормозные ленты менять надо, — сказал Колюша. — Разве ж на такой лебедке работать можно? Пацан надрывается... Опытный скреперист и то работать не сможет...

— Ладно, — устало сморщился начальник, — ты не вякай... Ты ж дежурный слесарь... Смени, пока мы за блоком ходить будем...

— Нарядик дополнительный, начальник, — подмигнул Колюша.

— Я тебе помигаю, — так же устало сказал начальник, — огрызок собачий... Говнюк... — Он обернулся к Киму. — Давай бери блок... Уставился... Один ты у меня, что ли... Возись с тобой...

Ругался он без прежней злобы, скорей устало, нехотя, с каким-то клекотом, часто отхаркивая мокроту и сплевывая.

— Это я для друга делаю, — сказал Колюша, начав отвинчивать болты на тормозных лентах, — по доброй воле... Это незаконно без наряда...

Он подмигнул Киму и, отодвинувшись назад, вновь выставил начальнику в спину непристойный жест.

Ким пошел в глубину забоя и поднял блок вместе с крюком. Вначале вес показался ему не очень большим,

но постепенно, где-то на второй лестнице лаза, он почувствовал тяжесть, даже жилы на ногах напряглись, он ощутил это сквозь портянки, сквозь резиновые сапоги. Лаз, или, как его тут называли, гезенок, был ходом сообщения между забоями и откаточной выработкой. Он состоял из железных лазеек — лестниц, прибитых к деревянным горизонтальным стойкам, и некогда был освещен электрическими лампами. Однако теперь здесь была крошечная тьма, лазейки поржавели и шатались, а предохранительные полки, прибитые через каждые 8-10 метров, давно сгнили, лишь кое-где сохранились доски, угрожающе провисавшие и ненадежные. Карбидную лампу Ким укрепил привинченным к ней крюком за петлю спецовки, и приходилось взбираться осторожно, нащупывая ногами скользкие мокрые прутья лестниц, потому что от толчка лампа могла повернуться, опалить подбородок, поджечь ткань спецовки, а то и потухнуть. Начальник давно исчез, даже звук от постукивающих за ним лазеек перестал доноситься сверху, и Ким с дрожью думал о том, что лампа может потухнуть, и он останется в темноте. Правда, в кармане его лежали спички, но они наверняка отсырели, да и руки были заняты блоком. Лампа освещала узкую ломаную полосу, красные, неровно вырубленные стены со склизким черноватым налетом, однообразно выплывающие навстречу прутья лестниц и руку, то левую, то правую, в зависимости от того, какую он в данный момент выделял цепляться за прутья, а какой прижимал к груди тяжелый блок. Он слышал хлюпанье воды, мимо плеча пролетело несколько камешков, и он прижался к кисловатому железу, втянув голову. Камешки ударились об остаток ближнего досчатого полка, брызнули в лицо грязью со стен, унеслись дальше, гулко затихая. Ким поднялся выше на несколько прутьев, к полку, сравнительно сохранившемуся, две доски плотно упирались в стенки, а снизу их поддерживало горизонтальное бревно. Он положил

блок на доски, с хрустом выпрямил руки, разминаясь. Карбидная лампа освещала несколько метров вверх, бросала отблеск вниз; и участок этот, где Ким провел минуты три, как бы пожил здесь, в то время как мимо других участков он просто пролез, показался ему родным, он привык к сырому пятну справа на скале, по форме оно отличалось от других пятен, и к нагретому ладонями лестничному пруту, слегка провисшему, с двумя капельками смолы, неизвестно как сюда попавшими, и к доскам полка, на одной сохранились остатки коры, на второй была аккуратная дырочка от выпавшего сучка. Ким знал, что запомнит всё это, у него была привычка запоминать случайные куски пейзажа, что ли, и потом думать о них, представлять, что там делается в данную минуту. Например, он запомнил уголок районной чайной, где обедал несколько лет назад. Это воспоминание было уже неясно, без четких контуров, скорей мираж, совершенно ненужный, и все-таки мираж этот существовал, всплывая время от времени. Ким поднял с полка блок и полез дальше. Он решил достичь конца гезенка, ни разу не остановившись более, лез, опустив голову. Все ж ему пришлось часто останавливаться, перекладывать вес, чаще он держал теперь блок в левой, потому что правую вовсе ссадил и она ослабела. Раза два он отдыхал, но не оглядываясь по сторонам, прикрыв глаза. Наконец он увидел сверху свет, услышал грохот проезжавших вагонеток. Последняя лестница оканчивалась метра за два от выхода, Ким с тоской посмотрел наверх, виден был кусок бетонированного свода откаточной выработки, затем поднял блок, вытянув кверху руки, от усталости он уже не совсем контролировал свои действия и лишь в последнее мгновение спохватился, не разжал пальцы. Оказывается, он хотел выбросить блок в отверстие, будто волейбольный мяч, и, похолодев, представил себе, как блок обрушивается, недолетев, назад и он с раскрытым черепом падает

вдоль всего семидесятиметрового гезенка, ударяясь о полки.

— Гу, — сказали сверху, и Ким узнал глядевшее в отверстие лицо начальника. — Ты что, рыбку удил? Давай сюда.

Начальник опустил в отверстие жилистые руки. Ким положил в них блок, и тяжесть, скользнув, исчезла в отверстии. После этого Ким ухватился за горизонтальное бревно у самого выхода, подтянулся, как на турнике, при этом под кожей живота у него собрались сгустки, судорожно давившие. Руки его подламывались в локтях, но он все подтягивался и подтягивался, пока голова его не поднялась над бревном. Тогда он уперся в бревно плечами, скользнул по нему и, перевалившись, упал лицом вниз на щебеночный грунт штрека, оцарапав подбородок и едва не ударившись головой о рельсы.

— Ты что, — крикнул начальник. — А если б электровоз... Отвечай за тебя...

Ким поднялся, сел, в горле у него запершило, он посмотрел на начальника и тоже крикнул со злобой:

— По технике безопасности полагается лестница до самого конца... Бардак у вас тут творится... Я в рудоуправление пойду... Сволочи...

И вдруг всхлипнул. Как это случилось, он сам не понял и сразу, опомнившись, задышал, делая вид, что просто тяжело выдыхает воздух, однако сквозь вдохи время от времени прорывались всхлипы, сотрясая грудную клетку. Не отдыхая, Ким вскочил, поднял блок, прижал его к груди и пошел на мягких ногах, но всхлипы продолжались, и блок судорожно подбрасывало.

— Эй, не в тот семафор поехал, — сказал начальник, — поменяй направление.

Обернувшись, Ким увидел, что начальник смеется, впалые щеки его разъехались, зеленоватые зубы, впаянные в бескровные десны, обнажились, а у глаз со-

брались морщинки. Ким повернулся и пошел вслед за начальником, глядя на его худой, поросший седым волосом затылок, и поскольку всхлипы в груди продолжались, а хрящеватые твердые уши начальника в такт этим всхлипам вздрагивали, начальник, конечно, смеялся, то Ким испытал приступ такой ненависти к ушам этим и затылку, что его обдало жаром, он придержал блок одной рукой, а вторую опустил и сильно сжал пальцы, шевеля ими, словно размалывая что-то, впившись ногтями в кожу. Вдруг возникла, представилась картина: начальник смеется, издевается над ним. Он отвечает начальнику. Начальник психует, хватается за ворот, размахивается, но, ловко увернувшись, Ким бьет начальника в челюсть, а когда тот падает, он с наслаждением топчет начальника ногами.

Ким слышит свое частое дыхание, чувствует гудящие в голове пульсы и останавливается. Ему становится до тошноты мерзко. Постепенно сердцебиение утихает. Начальник безразлично шагает впереди, худые лопатки шевелятся под его спецовкой.

2

В камере подземного вентилятора пахнет непросохшим бетоном и жареным салом. Вентилятор гудит за решеткой ограждения, мелькают спицы маховика. Здесь уютно и чисто. На стене портрет Сталина, почтовые открытки, пучки бумажных цветов и липучие ленты-мухоморы.

— Напускают в шахту мух с крепежным лесом, — говорит машинист вентилятора, прикасаясь острием ножа к потрескивающему на электроплитке салу.

Ким садится в углу, прямо на теплый бетонированный пол. Шипенье сала напоминает ему шум дождя.

— Уже кимарит, — сердито говорит начальник, — давай блок меняй назад... Пахом, открывай кладовку.

— Ключ у Верки, — отвечает машинист, — она сейчас подойдет... Посиди, забегался... И пацанов загонял...

Он выставляет из тумбочки бутылку.

— Мне нельзя, — говорит начальник, выпивая полстакана и закусывая тюлькой. Движения его становятся более размашистыми. — Слышал, хозяин первого по радио выступает... Московский корреспондент приезжает... Новогодние успехи... Значит такое, сякое, шахта перевыполнила план... Успехи значит... — Он взял еще одну тюльку за хвостик, но не откусил, а облизал ее, как леденец. — А какие же успехи.. Синьку-то сожрали... отэка руду не принимает... Качество, говорят, низкое... Кварцит, говорят, возите, сволочи...

— Ну ты б на их месте что, — сказал машинист, пробуя с острия ножа сало, — они ж на свою шею брать должны... У нас, выходит, на шахте план есть, а у них на обогатительной фабрике нет... Это ж уголовщина... Где ж руда девалась... Завод у них твой кварцит примет, да?

Начальник сидел уже скособочившись, просунув для устойчивости ступню за планку табуретки. Он хитро посмотрел на машиниста, опустил руку в карман спецовки, вытащил оттуда что-то, зажатое в кулаке, торжественно и плавно пронес руку по дуге к самому носу машиниста и разжал пальцы. Кучка мягкого рудного порошка, отливающая синим вороненым блеском, лежала на его ладони. Тонкие струйки текли меж пальцев, аккуратные металлические кристаллики, казалось, позванивают. Лицо машиниста расплылось, глаза увлажнились.

— Вот она, кормилица, — с умилением пролепетал он, впрочем, несколько запинаясь от хмелька, — вот она, синечка... да в нее ж можно пельмени макать... — он вдруг наклонился и лизнул руду языком.

— Хозяин меня вызвал, — сказал начальник. — Совещание у них было... Ученые разные, с образованием, формулы разные пишут... Первого в Москве выступление по радио, успехи, значит, 1953-й год встречаем, а тут план тухнет... То есть копер... На копре звезда... Я ему говорю, знаешь, Иваныч... Мы наедине по-простому... Ты, конечно, меня с главного снял, горбоносых назначил... французов, понимаешь... А вот это видал...

Он высыпал руду на стол и вытащил, вернее, как-то резко и размашисто выдернул из бокового кармана газету, начал читать, тыча пальцем и запинаясь: «Ничем иным, как ротозейством, нельзя объяснить такое положение, когда в ленинградской Академии на протяжении ряда лет кафедрой руководил некто Ханович И. Г., не заслуживающий политического доверия, преклоняющийся перед иностранцами...»

Начальник отложил газету, взял все ту же обсоленную тюльку, густо посолил ее и проглотил, поморщившись.

— Девяносто восемь процентов, — сказал он, — что ты... Хуже всего... Горим на двух процентах... Иваныч кричит: «Да попросите ребят, они вам два процента в шапках вынесут»... А откуда нести? Где черпать? У тещи под юбкой... — начальник дернул губами, кожа на его щеках поползла, уши шевельнулись. — Я говорю, не надо мне шахтеров... Дай мне полдюжины говнюков... фезеушников... Пойдем на сороковый горизонт...

— Врешь, — сказал машинист. — На сороковом всю давно завалено.

— Завалено, — ухмыльнулся начальник, — пойди узнай, сколько я сегодня вагонеток на опрокид отправил, — он ткнул пальцем в синюю поблескивающую кучку...

— Загубишь пацанов, — сказал вдруг машинист

уверенно и тоскливо. Челюсть его по-пьяному отвисла, глаза стали щелочками.

— Ты лучше за вентилятором следи, назюзюкался, — сказал начальник.

— У меня Верка следит, — сказал машинист. — А ты пацанов загубишь... Гад ты, шкура... Перед начальством на цирлах ходишь...

— Поменьше варнякай, — сказал со злобой начальник и прикрикнул, — где ключ от кладовки?

— Сейчас Верка придет, — ответил тихо машинист, утирая катящиеся по щекам пьяные слезы.

Ким чувствовал спиной горячую бетонную стенку, сидел, высоко подняв колени, слова долетали к нему издали как звуки, ничего не значащие, просто производящие шум. Он заснул и во сне увидел чердак, метался под раскаленной солнцем жестяной крышей в пыли среди ветоши, требовал у тетки адрес матери, кричал: родной сестры адрес не знаешь! У тетки испуганное лицо, она перебирает письма, груды пахнувшей мышиным пометом бумаги. На каком-то белом клочке проступает карандашный оттиск, но разобрать нельзя. Он разглядывает этот оттиск до боли в глазах, стараясь определить, угадать адрес, хотя бы по контурам, однако усилия его безнадежны, и он начинает кричать совсем громко, так что першит горло, ругается, даже угрожает тетке. Тетка испуганно суетится и плачет.

Проснувшись, Ким моментально сам себе сказал шепотом: «Адрес — тот свет», — и усмехнулся. Некоторое время он сидит тихий, опустошенный, не понимая происходящего. Перед ним топчутся ноги в резиновых, измазанных бетоном и рудой сапогах.

— Аптечка, — говорит кто-то, — положено на вентиляторе иметь аптечку.

Красноватая капля падает на пол. Ким поднимает глаза и видит парня в проходческой резиновой шляпе, какие носят под каской в мокрых забоях.

Спецовка парня перехвачена широким брезентовым поясом с предохранительной цепью, лицо густо залито брызгами, блестят только белки, а на весу он держит окровавленную кисть согнув руку в локте. Рядом с парнем стоит медбрат, худосочный, в каске, напыленной поверх грязной курортной тюбетейки.

— Я акт составлю, — кричит медбрат, — в ящике аптечки пивные бутылки держите...

— А у тебя медпункт есть, — говорит машинист, — веди его в медпункт.

— У него заражение будет, пока дойдем, — кричит медбрат, — я акт составлю...

— Не преувеличивай, — говорит начальник, — Вася, чего он кричит... Дай ему в ухо второй рукой...

Парень улыбается, пробует что-то сказать, пошутить, но вдруг наклоняется, хватая себя зубами выше окровавленной кисти, словно хочет перекусить руку и отбросить рану. Медбрат берет парня за плечо, и они уходят.

— Смена сегодня проклятая, — говорит начальник. — Спешит народ перед новым годом, — он обращивается к машинисту. — Ты Верку ищи, ключ давай.

— Бери, — говорит машинист, — и выкладывает на стол ключ, — я пацана пожалел, пусть отдыхает... Мы тут привыкшие...

— Ничего, — говорит начальник, — пусть вкалывает... Имя у него чудное: Ким... Это что, еврейское... или армянское?

— Это в честь Интернационала, — говорит Ким.

Он поднимается, идет вслед за начальником в кладовую, берет новый блок, поблескивающий, густо смазанный.

— Ничего, — говорит начальник, — я тебя не обижу... За смену тройной наряд выпишу... Кончишь, прямо в город езжай... Петушка там тебе зажарят...

Полный отгул, три дня можешь на шахту не являться... Дорогу в забой найдешь?

— Найду, — сказал Ким и, прижав блок к груди, вышел. Он пошел навстречу тянушему по штреку ветерку. У поворота сидели на корточках трое и курили.

— Эй, — крикнул один курец. — Стрелку переведи, партия сзади...

Ким оглянулся и увидел приближающийся электровоз. Он положил блок, подбежал, присел возле путевой стрелки, схватился за рукоять. Стрелка не поддавалась, рукоять была словно наглухо приварена, а электровоз уже наезжал. Тугая воздушная волна, запахи горячего промасленного металла и жженой резины обдали Кима, охватили его голову, и на мгновение вновь возникло ощущение бездны, какая-то сладковатая слюна наполнила рот, дрожь прошла по телу, он откинулся назад, не выпуская рукоять, стрелка оглушительно хлопнула, и у самого его уха, прижатого к липкой шпале, понеслись, застучали колеса вагонеток. Когда Ким приподнялся, стал на колени, к нему уже подбегал низкорослый усач с гаечным ключом в руке. Усач взмахнул ключом, затем перебросил ключ в другую руку и хлопнул Кима ладонью по каске так, что в голове зазвенело. Ким опять присел, потом начал вяло подниматься, потряхивая головой, воспринимая все происходящее сквозь легкую дымку и колокольный звон.

— А мне тюрьма, — горячился усач, очевидно, это был машинист электровоза, — мне детей кормить...

— Он же новый, — говорит кто-то рядом, — пацан... Я издали думал, шахтер идет... На стрелке ж противовес надо перекидывать, пацан...

Ким понимающе кивнул, поднял блок, пошел дальше, все еще потряхивая головой, пытаюсь сбросить звон, впрочем, несколько притихший, и очень быстро нашел отверстие гезенка, уселся по-татарски,

принялся разжигать, или, как здесь говорят, рассифонивать карбидную лампу. Карбидная лампа по форме напоминает небольшой кофейник: в нижнее отделение накладывают куски карбида, в верхнее заливается вода, поступающая к карбиду небольшими порциями. Образующийся газ по изогнутому носику поднимается к горелке. В рудных шахтах, по крайней мере в начале пятидесятих годов, карбидным лампам отдавали предпочтение перед электрическими. Они проще, надежнее и горят ярче. Ким вынул кусочек телефонного провода, одной из тонких проволочек, торчащих метелочкой на конце, проколол горелку, приоткрыл клапан, услышал, как захлюпала, потекла к карбиду вода, чиркнул спичкой, и длинный язычок пламени вырвался из носика лампы. Вскоре пламя оторвалось от горелки, это было интересное зрелище, образовался зазор, горела как бы полоска воздуха в сантиметре от горелки. Ким улыбнулся и повесил карбидную лампу крючком на плечо, взял блок и опустил ноги в гезенок, нащупал первые горизонтальные бревна. Вниз лезть было легче, упираясь для равновесия плечами в стенку, он быстро достиг лестниц и здесь, в полном одиночестве, почувствовал себя вдруг увереннее и спокойнее. Он постоял некоторое время у двух досок предохранительного полка, вглядываясь в знакомое пятно и держась за прогнувшийся прут с капельками смолы. Правда, через десяток метров он вновь увидал такой же полк и пятно, и прогнувшийся прут со смолой, теперь трудно было определить, какой же из полков тот самый, а может, оба были не те, однако он постоял и у второго полка. Он прыгнул на грунт своей выработки совсем не уставший, и она встретила его знакомым потрескиванием и знакомым, только ей присущим запахом. Ким погладил стойку, понюхал белый грибковый нарост и пошел в глубину забоя, пригнувшись с блоком, он привык к нависающим глыбам, и они привыкли к нему, лишь слегка царапали, скреблись о

каску. Забой был очищен, глыбы отброшены к дальнему углу, видно, Колюша работал здесь некоторое время. Поднатужившись, Ким всадил крюк блока в отверстие, заправил трос, пошел назад и включил лебедку. Вдоль кожуха лебедки Колюша накопил карбидной лампой: «С тебя поллитра».

Ким тронул рычаги, тормозные ленты сейчас плотно охватывали барабаны, скребок легко пополз, приволок порцию синей мелкой руды, ссыпал ее в отверстие решетки и пополз назад. Ким ощутил вдруг власть над лебедкой, она слушала каждое его движение, тыльной стенкой скребка отталкивала глыбы, волокла руду без толчков, не рассеивая ее, не теряя по пути вдоль выработки, интуитивно, без всякого счета замирала в темноте перед самой стенкой забоя, погружаясь в мягкую рудную кучу. Ким похлопал лебедку ладонью по теплой крышке.

— Ах ты, Машка, — сказал он ласково, — давай, давай, Машенька, давай, милая...

Он работал так долго, возможно, несколько часов. Когда рвался трос, лебедка замирала, пока он исколотыми руками вязал узел.

Увлечшись работой, он вначале не обратил внимания на легкое прикосновение. Словно кто-то на цыпочках подошел сзади и кончиками пальцев пощекотал спину. Ким отстранился, подавшись вперед, ибо как раз подтягивал к решетке скребок, полный руды. Тогда сзади придавили посильней, уже чем-то острым, Ким оглянулся и перед лицом своим увидал громадную, вставшую на дыбы глыбу. Нижний конец ее упирался в грунт, а верхний плавно плыл по воздуху. Не сознавая еще, что делает, Ким вытянул руки, уперся ладонями в мокрый кварцит, но тот надавил уже бесшумно, всем весом, и Кима отбросило, опрокинуло через троса. Лежа на спине, слезящимися глазами, он смотрел, как глыба терзает лебедку, расшатывает ее, потрошит, выдавливая шестерни. Теперь все глыбы,

ранее присмирившие, двинулись, зашевелились, и из глубины забоя, из камеры опять послышался шепот и сладковатый запах серы. Ким быстро перевернулся на живот и, чувствуя свое тело гибким и мягким, как у ящерицы, пополз от настигающих глыб, прогибая позвоночник. Где-то посередине выработки он начал повизгивать. Его стошнило, однако он продолжал двигаться, очень быстро перебирая руками и ногами и лавируя мягким резиновым телом меж ухающих глыб. Карбидная лампа осталась под глыбами, он полз в крошечной тьме, и, возможно, в этом было спасение, он полз по самому краю пятидесятиметровой пропасти, время от времени то рука его, то нога соскальзывала с бревен в пустоту, он выдергивал их, словно пустота была небольшим углублением, и полз дальше. Будь у него в эти мгновения хоть крупница обычного человеческого воображения, пустота увлекла б его, притянула, однако он был ящерицей с гибким телом и всё полз и полз, изгибаясь. Повизгивание, исходящее из нутра его, прекратилось, возможно, это повизгивание было последней данью разуму, сразу в полном объеме понявшему ужас происшедшего. Он полз успокоившийся, он почувствовал, что в текущие доли секунды ничего ему не угрожает, а он жил сейчас долями секунды, не умея соединять их воедино. Наконец он свалился в какую-то щель, проехался животом по колючим камням, отделавшись, однако, несколькими легкими царапинами, благодаря ловкому лавированию телом, ногами и удивительному для него самого удачному вращению шеей. Наконец он оказался в полной тишине, распростертый на чем-то гладком и плоском. Невдалеке приятно хлюпала вода, запахи гниющего дерева носились у лица вместе с ветерком. Прижавшись грудью к влажному грунту, он протянул руки в стороны. Левая рука наткнулась на склизкую деревянную крепь, правая нащупала железный рельс. Он лежал в старой откаточной выработке. Ким встал.

Позвоночник, отвыкший от вертикального положения, ныл и похрустывал, мышцы на ногах стягивало судорогой и приходилось мять их пальцами. Он пошел, вытянув руки вперед, как слепец, ступнями ощущая рельсы. Постепенно начало мутить от прокисших запахов, в скреперной выработке его стошнило прямо на спецовку, но лишь сейчас, когда первые шоковые минуты прошли, он начал это ощущать. Ким пригнулся, поднял камушек, провел им по воротнику спецовки и отбросил. Он поднял целую пригоршню камушков и соскребывал ими подсыхающее месиво. Почувствовав ногами лужу, он лег, смочил губы, сделал глоток, затем намочил липкие борта спецовки. Ким шел долго, стараясь держаться по ходу свежей струи, дующей навстречу. Он увидал впереди силуэт. Ржавый электро-воз и вагонетка, прикипевшие к ржавым рельсам, были освещены слабым боковым светом, проникавшим неизвестно откуда. Ким услышал шум, кто-то засмеялся рядом над головой. На мгновение суставы напряглись, легкие раздулись, прижали ребра, и мокрый от пота, стуча зубами, он опустился у вагонетки. Он понимал, что нужно быстрее, пока люди не ушли, подняться наверх по лазу, отверстие которого он уже заметил. Однако он понимал также, что слишком слаб для этого, хоть лаз, судя по ясности доносящихся звуков, был короткий. Он сидел, и мечтал, и молил судьбу, или Бога, или собственную удачу, в общем, молил неизвестно кого, чтоб лаз этот оказался оборудованным лестницами, пусть даже старыми и расшатанными, потому что, подтягиваясь по горизонтальным бревнам, ему не пролезть теперь и пяти-десяти метров. Он попробовал, сидя на рельсах, потренироваться, подтянуться, охватив пальцами край вагонетки, но руки его подламывало, и пальцы соскальзывали вниз. Ким встал, опираясь о вагонетку спиной, подошел к отверстию, прикрыв глаза, сунул туда голову и постепенно, с колотящимся сердцем, расплющил, приот-

крыл левый глаз. Гезенок был короткий, не более восьми метров и к тому же освещен опущенной в него на гибком кабеле электролампой, но лестницы в нем отсутствовали. Какой смысл был оборудовать лестницами короткий лаз? Ким лишь теперь понял всю нелепость своих надежд. Ему надо было крикнуть, пока люди рядом, но он забыл о такой возможности. Впрочем, когда это наконец пришло ему в голову, из груди вырвались лишь кричающие короткие всхлипы, недостаточно громкие, чтоб слышать их даже за восемь метров. Да и сверху наступила тишина, видно, люди ушли. Ким обнял руками один конец бревна, подбросил тело и охватил второй конец бревна ногами. Теперь он висел горизонтально под бревном, и приходилось напрягать мышцы шеи, иначе голова опускалась вниз, наливалась кровью, лишала тело подвижности.

Раскачиваясь все сильнее и сильнее, он, улучив момент, рванулся вверх, чтобы оседлать бревно, однако не сумел удержаться и, сделав полный оборот, вновь оказался в первоначальном положении. Над ним проходили люди, он слышал их голоса, несколько размытые гулким лазом, видел кусок освещенного бетонированного свода выработки, всё это было рядом и делало подобное обезьянье положение особенно нелепым. Постепенно Киму стало попросту смешно и по скулам закапали слезы. Они текли не к подбородку, как обычно, а к бровям, смачивали волосы, выбившиеся из-под каски, потому что мышцы не выдержали и голова опустилась. Мимо него тянул наверх воздух, в узком лазе струя сжималась и довольно сильно обдувала лицо, словно освежала из брандсбойта. Собрав силы, подождал, пока отольет кровь, и с коротким всхлипом взлетел, сел на бревно верхом. Он растянул пояс, вытащил из брюк, бросил к верхнему бревну, как аркан, подтянулся, стал балансировать. Неожиданно он довольно легко преодолел остальные бревна, правда, ценой ушибов, царапин и побелев-

ших, ободренных пальцев, с запекшейся под ногтями кровью.

— Всё, — сказал он, спрыгивая на щебеночный грунт бетонированной выработки. В выработке, хорошо освещенной, было холодно, чувствовалась близость вентиляционного ствола, висящие на гибком кабеле лампы покачивало ветром. Ким был весь распорошен, растянут, его сразу пронзило до костей. Он запахнул полы спецовки, разорванные в нескольких местах, ту же обмотал вокруг шеи шарф, чудом не потерявшийся. Прошрое, от которого он был отделен несколькими минутами, складывалось в нелепые картины, всплывало фантастическими видениями.

Из-за поворота, вначале плавно изогнувшись в воздухе, затем по мере приближения все тверже ступая, хлюпая сапогами по лужам, вышел Колюша. Он старался поставить ногу так, чтобы обрызгать идущего сзади мальчишку. Лицо мальчишки обросло редкими вьющимися волосами, видно, мальчишка не брил еще щеки, а подрезал волосы на них ножницами. Меж Колюшей и мальчишкой на палке, которую они держали, висело несколько смазанных блочков и шестеренок. Заметив Кима, Колюша крикнул:

— Друг, беги, пока трамваи ходят... Тут начальник...

В это время мальчишка с кучерявыми щеками плюнул Колюше на каску.

— Ах ты, зараза, — захохотал Колюша, поднял по-собачьи ногу, постоял так с вытаращенными глазами, потом вдруг обернулся, захватил с шестеренки горсть черной тягучей смазки и прилепил ее к носу мальчишки. Хохоча и пинаясь, они побежали, исчезли в боковой выработке. Ким продолжал стоять неподвижно, морща лоб, изредка лишь ослабляя то левую, то правую ногу. Потом из-за поворота вышел начальник.

— Ты как здесь? — крикнул начальник. — Смыться хочешь через вентиляционную...

— Выработку завалило! — словно выбив кляп, заорал Ким, чувствуя надувшиеся вдоль шеи вены, — выработку завалило! — продолжал он орать, хоть начальник стоял рядом и отлично слышал.

— Молчи! — просипел начальник. Зеленоватые зубы его приблизились вплотную к горлу Кима.

— Смену мне сорвать хочешь, — двигались зубы, обдавая запахами, возможно, смоловшие еще одну луковицу.

Киму стало противно, он просунул ладони в узкий прозор между своей и начальника грудью, толкнул эту чужую грудь от себя.

— Я в управление пойду, — крикнул Ким, — я писать буду... Я в газету... В «Правду»... Нельзя ребят в такие выработки... Там обрушено все... Угробит ребят...

— Ты эти ерусалимские штучки брось, — подошел, размахивая руками начальник, — эти армянские выкрутасы... Не нравится, иди шнурками торговать... Паникер...

— Я не армянин, — чувствуя тошноту и отвращение к себе и к каждому своему слову, но все-таки продолжая говорить, произнес Ким, — и не еврей... Я паспорт могу показать...

Ким и начальник стояли друг против друга, громко дыша.

— Ладно, — сказал начальник, — покричали и ладно... Это бывает... Меня ранило когда на фронте, в госпиталь привезли... Мертвец... Списали уже вчистую... А доктор Соломон Моисеевич вытащил... Осколок прямо под сердцем давил... Думал, задавит... Среди них тоже люди попадают, ты не думай... Но, с другой стороны, ерусалимские казаки... Вы ж газеты читаете, — обратился почему-то начальник к Киму

на «вы», — в Ленинграде Ханович И. Г., например, продал всю Академию... А вы действительно ободраны... Вам отдохнуть надо... Я сначала не разглядел. Три дня пожируете, — начальник хохотнул и обнял Кима за плечи, ласково похлопывая ладонью. — Пойдемте, я провожу вас к вентиляционному стволу.

Ким подался телом вперед, ему хотелось сбросить руку начальника, но он не решался это сделать.

— Испуг, — говорил начальник, — испуг... Помню после войны случай... Шурф разведочный проходили... И приехали двое из треста на обследование... Не знаю, какой они нации были... Обследовали они, обследовали... Пора наверх подниматься, на поверхность... Сели они в подъемную бадью... Вдруг баламут какой-то как крикнет: «Бадья оборвалась!» Смотрим — один уполномоченный кувырк и голову закинул... Побелел... Думали — обморок, смотрим, на губах пена... Помер... А бадья ж на грунте еще стояла, только лебедку включили, трос натянулся... С испугу помер... Сердце лопнуло...

Начальник говорил, приблизив голову вплотную, и Ким задира подбородок, чтоб дыхание начальника приходилось пониже рта, хотя б на шею. Это ему удавалось, но не всегда, они шли теперь через прорубленные в кварците выработки без крепления, скорее похожие на лаз, узкие и низкие, лишь кое-где освещенные лампами в забрызганных грязью стеклянных колпаках. Ветер дул в спину с такой силой, что приходилось напрягать мышцы ног, придерживать руками каски. Время от времени их притискивало, кидало друг на друга, и тогда начальник, словно наперстывая упущенное, торопливо посылал Киму в лицо порцию за порцией утробного воздуха, несколько раз попав прямо в открытый рот, потому что, забывшись, Ким пытался глотнуть свежего ветра. Ким ушел вперед, однако, ударившись каской и коленями о кварцит, вернулся. Он был без лампы, а начальник освещал темные про-

межутки своей электронадзоркой. Под напором ветра теперь приходилось бежать согнувшись, красноватые лужи пенились и бурлили.

— Ничего, — крикнул начальник, — со мной не пропадешь... Мы этой сменой, может, три дня план держать будем... Качественная, что ты... Семьдесят процентов железа... А краснухи, дерьма разного под руками сколько угодно. Вот и будем давать партию краснухи, к ней пару вагонеток синей... Вместе смешается в опрокиде, имеешь норму, предусмотренную разнарядкой... Что ты... Это ж дело государственное... Перед новым годом план потухнет... Ты ж учился, понимаешь... А какое ж настроение у людей будет? Опять же Иваныч первого числа по московскому радио выступает...

Ким вращал шеей, прикрывался ладонью. К счастью, порывы ветра, все усиливающиеся по мере сужения выработки, срывали дыханье начальника прямо с его губ и уносили, часть же, достигшая лица, была сильно разжижена, почти утратив утробный запах.

— Держись, — неожиданно крикнул начальник. — Сейчас понесет.

Впереди выработка переходила в узкий лаз, высотой не более метра. Ким нырнул туда, и его поволокло, казалось, он тонет, подбородком касаясь колен, с болью в позвоночнике, с открытым ртом, с вытянутыми книзу руками, царапавшими пальцами щебенку. Наконец его выбросило, и он полежал некоторое время забывшись, пока рядом не выбросило начальника, сразу начавшего отплеиваться и ругать почему-то торговых работников. Ким встал, огляделся. Они находились в околоствольном дворе вентиляционной шахты. Перед клетьевой частью ствола стояли на ржавых рельсах три оставленные здесь с незапамятных времен вагонетки, маленькие, ржавые, старого образца, наполненные превратившейся в жидкую грязь низкосортной рудой. Слева виднелись остатки диспет-

черской, торчали доски и куски жести. Посреди двора валялась погнутая буровая штанга, оторванная штанина проходческого резинового комбинезона, а на сыром бетоне сохранилось накопченное карбидной лампой ругательство.

— Здесь когда-то работа кипела, — сказал начальник, — шум, треск... Теперь руду вычерпали, главный ствол в центре залежи пробили... Только для вентиляции пользуемся... Сороковый горизонт с тех времен и стоял... Обрушение началось, руду бросили... А там же качество... Вызвал меня Иваныч, я и вспомнил... Ничего, смену выдержит... Это ты просто внизу был, вот и поехало... Да и ты начерпал неплохо, не обижу... Полежай, полежай...

Он вновь обнял Кима за плечи, подвел его к ходовой части ствола, оборудованной лестницами и хорошо освещенной.

— Вы долго здесь? — спросил Ким, подсознательно чувствуя, что начальник хочет быстрее избавиться, так как ему приходится напрягаться, чтоб говорить ласково, подавляя неприязнь.

— Сейчас кончаем, — ответил начальник, — пойду ребят выводить... Ладно, желаю тебе... Может, что не так, не обижайся... Шахта, сам понимаешь...

Лицо начальника было теперь неподвижным, под глазами мешки, кожа на щеках с синеватым оттенком, прорезанная множеством красных жилок. Он выглядел совсем стариком, хоть наверное ему еще не исполнилось и пятидесяти.

— Желаю и вам, — сказал Ким, испытывая вдруг прилив жалости и сам удивляясь этому приливу, очевидно, вызванному причинами чисто внешними, попросту усталым человеческим лицом, на долю секунды утратившим конкретную принадлежность. Так даже осужденный, очнувшись после пытки, видит желтое от бессонницы, лихорадочное лицо палача и может испытать мгновенный укол жалости к нему.

Ветер, утихший в околоствольном пространстве, вновь начал выть и гудеть, попадая в вентиляционный ствол. Преодолев первые метры, Ким глянул сквозь решетку. Начальник стоял, запрокинув голову, усмехаясь. Возможно, Ким был действительно смешон, распластанный на вертикальной лестнице, в раздутой пузыряем от ветра спецовке. Ему казалось, начальник тычет кому-то пальцем вверх и хихикает. Приступ стыда и злобы заставил Кима зажмурить глаза, и он полез наощупь, изо всех сил, а когда остановился задыхаясь и огляделся, вокруг была только бетонная крепь, поблескивающая от изморози под красноватым светом электроламп, и в клетьевом отделении ствола пошатывало на ветру оледеневший трос противовеса. Лезть теперь приходилось осторожно, потому что прутья лазеек тоже были покрыты коркой льда, подошвы скользили, а ладони коченели. Отовсюду, с бетонной крепи, с двутавровых балок клетьевого отделения, даже с гибкого кабеля свисали глыбы льда всевозможных форм и размеров, на двутаврах они были желтоватые от ржавчины. Тяжело вздыхая, Ким чувствовал ледяные капельки, покалывающие кожу. Наконец порывы ветра достигли небывалой силы, и Ким покатился вниз по ледяной лазейке, ломая ногти, однако, не успев испугаться, почувствовал под ногами прочный предохранительный полук. Он вновь полез, его приподняло, мокрые от пота концы шарфа вырвались из воротника и, мгновенно оледенев, начали больно хлестать по лицу, клевать, словно нарочно пытаясь попасть в глаза, Ким отмахивался от них, как от хищной птицы. Ветер оборвался внезапно, и Ким понял, что пролез мимо вытяжного канала вентилятора. Чем выше он поднимался, тем тише и теплее становилось. Сосульки висели изредка и были тонкими, такие свисают с крыш в мартовскую оттепель. Потом сосульки вовсе исчезли. Путь под ногами стали мокрыми, слышалось хлюпанье воды, текущей вдоль стен. Ким увидел над

собой досчатый люк, уперся в него каской, поднял и вылез наружу. Он находился в бетонированном помещении, довольно просторном, освещенном двумя электролампами. Посреди, огражденная решетками, стояла клеть. Ким прошелся по помещению, потрогал пустое ведро, опустил руку в ящик с противопожарным песком, все не решаясь подойти ни к двери, ни к окну, будто опасаясь, что за ними откроется бездна, пахнувшая серой. Окно было зарешечено, сквозь толстое зеленоватое стекло с впаянной проволочной сеткой Ким смутно разглядел какие-то покачивающиеся очертания, кажется, дерева, и от этого сердце его вдруг защемило, а глаза потеплели от слез. Он несмело подошел к двери, тронул ее, вспомнил, что дверь подпирает наружный воздух, так как воздух в герметически закупоренном помещении разрежен. Он отошел назад, разбежался и ударил в дверь ногой. Затем разбежался опять. Злоба душила его, каждая секунда, которую он проводил здесь, в бетонном герметическом склепе, казалась невосполнимой, отнятой навек. Ким поднял стоящую в углу скамью и, держа ее перед собой как таран, помчался, расшиб об дверь. Когда он пробежал со скамьей наперевес мимо окна, мгновение рядом бежало отображение, он заметил его краем глаза и испугался своего дикого, словно у безумца, лица. Ким отбросил остатки скамьи, сел на землю, прикрыв глаза ладонями, в темноте его повело в сторону. Вскоре, однако, он снова бежал на дверь, пригнув голову. Ким понял, что слишком рано выставляет ногу, от этого теряется сила удара, толчок недостаточно резок. Он начал наносить удары повыше, хоть это стоило ему дополнительных усилий. Несколько раз появлялась щель, однако недостаточно широкая, и дверь притискивало вновь. Наконец ему удалось метнуться, вонзить свое тело в щель меж дверью и дверным проемом. Грудную клетку его прижало, однако он, стиснув зубы, давил, проталкивал

руками, словно захватил горло врага, и дверь медленно поддалась, распахнулась. Не веря еще, он стоял на пороге, дрожа от недавней борьбы, ослепленными глазами глядя перед собой, зубами отрывая громадные ломти ночного морозного воздуха, заглатывая, давясь, чувствуя эти свежие ломти ползущими в своем судорожно раздутом горле, жадно набивая ими голодные вибрирующие легкие. Он услышал за спиной щелчок, захлопнулась дверь и отсекала что-то, казавшееся ему уже нереальным и никогда не существовавшим. Густой снег валил вокруг, было не более двух-трех градусов. Где-то пыхтел паровик, лаяли собаки. Ким осторожно опустился, лег на спину и, запрокинув голову, начал созерцать бесшумно падающий снег. Удивительная, никогда не испытанная еще тихая радость овладела им, радость, порожденная не умом, а просто существованием, и потому первородная, доступная всему живому. Иногда возникал легкий ветер, хлопья, падавшие ранее отвесно, начинали кружиться, и тени их сновали по снегу в разных направлениях, точно муравьи. Невдалеке, очевидно, на обогатительной фабрике, дважды коротко замычал гудок...

3

Ким встал, пошел, дрожа от щекочущих ощущений, глядя с восторгом на нетронутую белую землю. Снегопад несколько поутих, показались звезды. Три домика, возникшие перед ним внезапно из снегопада, заваленные сугробами, вызвали слезы умиления. Домики были действительно аккуратные, сложенные из плоского сланца, в самом дальнем горел свет, оттуда слышалось мерное гуденье.

Ким понял вдруг, что гудящий домик — это ведь здание вентилятора, а от ближнего домика ведет цепочка его собственных следов. Однако мысль эта

недолго занимала, и разочарования он не испытал, потому что вообще не мог сосредоточиться продолжительное время на чем-либо, взгляд его перескакивал с предмета на предмет. То он с удивлением разглядывал белые ветвистые изваяния, но как только понимал, что это деревья, забывал о них, поворачивал голову, вглядываясь в несущиеся по ночному воздуху желтенькие одинаковые квадратики, пока он не осознавал, что это поезд. Ким шел тропинкой, ранее протоптанной, однако заваленной свежим снегом. Слева изредка возникали огоньки скрытого за бугром поселка, справа темнел карьер. Ким увидел глыбы кварцита, вывезенные из шахты и сброшенные в отвал. Здесь, среди снега и воздуха, они казались ослепшими и беспомощными.

— Что, издохли?! — крикнул Ким, пнул ногой одну глыбу и торжествующе засмеялся. Так, смеясь, он побежал вдоль тропинки, скатился с горы и долго, визжа от удовольствия, барахтался в сугробе. Наконец он вышел к шахте, ставшей совсем маленькой, непохожей. Копер втрое уменьшился, а длинные надшахтные здания, по которым Ким всегда блуждал, вовсе исчезли, вместо них были небольшие бараки. Хромой старик в ушанке водил вдоль двора двух лошадей-тяжеловозов. Лошади хрипели, бока их судорожно раздувались, морды были оскалены, желтоватая пена дымясь падала на снег.

— Это «Центральная»? — спросил Ким.

— Через вентиляционную вылез, — усмехнулся старик, — это «Пионерка».

Ближняя лошадь вдруг заржала, рванулась, мотнув мордой.

— Лучше электровоза тянут, — сказал старик, — на что нам электровоз, мы уже отрабатываемся, скоро закроют, — старик подмигнул, — по графику дышать выводим, — он провел ладонью, счищая с лошадиных спин снег, — ты влево иди, попадешь к «Центральной».

Ким пошел налево, однако оказался на тихой темной улице, среди одноэтажных домиков, окруженных сложенными из сланца заборами, высотой не более полуметра. Разговор со стариком несколько приглушил его волнение и восторги, он даже устыдился их. Но постепенно, то ли внимание его опять рассеялось, то ли пустая улица действительно красиво осветилась выкатившейся луной, он опять задышал часто, по-детски радостно и несколько раз переходил на бег. Когда за заборами начинали лаять собаки, он останавливался, смотрел удивленно, прислушиваясь к лаю, шел дальше, пока вновь не забывался. У поселкового базарчика он посидел под навесом, отдыхая, положив голову на край одного из длинных досчатых столов. Потом Ким пошел переулками в направлении доносившейся музыки и вышел на главную улицу поселка, откуда знал уже дорогу к своей шахте. Улица была асфальтирована, освещена фонарями, и перекрестки ее дополнительно освещались электрочасами. Застроена она была двухэтажными зданиями с одинаковыми выступами, одинаково раскрашенными в серый и розовый цвет. На фронтонах зданий были вылеплены из гипса звезды и скрещенные молотки. В самом конце улицы, упираясь в небо, высился шахтный копер с красноватой горящей точкой у вершины. Музыка слышалась из Дома культуры, примыкающего к поселковому парку, знаменитому далеко за пределами поселка, существующему еще с дореволюционных времен. Верхушки парковых деревьев, красиво заснеженных, шевелились над забором, и вороны, потревоженные музыкой, перелетали, роняя снег с ветвей. В Доме культуры, трехэтажном, с колоннами и статуями, был предновогодний бал. На ступенях его стояли кучкой молодые парни в пиджаках и курили.

— Что это он тут в робе ходит, — сказал кто-то, — больной Алеша... Эй, Алеша вырви глаз! — сзади засмеялись; Ким тоже улыбнулся, ребята показались ему симпатичными шутниками, а острота смешной.

Он ускорил шаг потому, что ему захотелось поскорей помыться, переодеться и, может быть, даже прийти в Дом культуры. Он абсолютно не испытывал усталости, пока не вышел к железнодорожным путям, над которыми нависали бункера обогатительной фабрики. Снег здесь был нечистым, красным от рудной пыли, маневровые паровозы заталкивали вагоны под люки бункеров, грохотали, и вот тут Ким сразу вдруг ощутил горячий прилив крови к затылку, с каждым шагом тело его делалось тяжелей, а когда он вошел в душную продолговатую раздевалку, где на полках лежали десятки пропитанных потом и рудой спецовок, сел на бурую скамью, тело начало зудеть и ныть так сильно, что он даже застонал. Ким принялся вяло раздеваться, стащил сапоги и высыпал из каждого по кучке синеватой руды, смешанной с мелкими камушками. Пальцы ног его были бескровными и гладкими, похожими на отростки, которые выбрасывает гниющая в погребе картошка, правое колено распухло, похрустывало в суставе, а когда, сняв брезентовую спецовку, он начал стаскивать через голову слипшиеся воедино свитер и две рубашки, на спине и груди его раздался скрип, липкое подергивание рвущейся кожи, потому что рубцы пропитали кровью обе рубашки и свитер насквозь.

— Ты что, — спросила, показываясь в приемном окне, дежурная, — ты ремонтник?

Ким кивнул, чтоб не вступать в объяснения. Дежурная была женщина лет сорока, с грязными полосами вдоль щек и шеи, в грязной от рудных пятен цветастой кофточке, сильно оттопыривающейся на высокой груди. Киму стыдно было стоять перед ней голым, он прикрылся левой ладонью, а правой захватил свернутый узел, с трудом приподнял его, положил на прилавок и показал свой номер, вытащив его из кармана спецовки. Дежурная рассмеялась, отодвинула узел и внимательно посмотрела на Кима, даже приподнялась на цыпочки, упирався локтями, круглыми и красивы-

ми, о прилавок. Ким махнул рукой, он чувствовал себя слишком слабым, чтоб говорить, несколько раз его прошибло холодным потом.

— В бане все равно вода холодная, — сказала дежурная, — как ты мыться будешь? Ледяная вода... Хозяин запретил горячую воду до конца смены пускать, чтоб раньше времени рабочие не кидали...

Ким ничего не ответил, пошел к мокрым полуоткрытым дверям, где слышалось хлюпанье и, поджав непослушные пальцы ног, ступил на холодный цемент. В душевой стоял сырой холодный туман, крашенные в белый цвет двутавровые балки вдоль потолка были густо усеяны каплями, мыльная вода скопилась у засорившихся сточных решеток. Дрожа, Ким положил жестяной номер на подоконник, нагнулся, поднял с пола размокший обмылок, подошел к крану, повернул и отшатнулся, тело обдало ледяным воздухом, сопровождавшим по сторонам сильные струи ледяной воды. Кожа затвердела, была стянута цветной коркой красно-бурых пятен руды и черной смазки, застывшие холодные струйки пота вьелись в рубцы. Время от времени Ким не выдерживал, прикасался к липким рубцам пальцами, начинал почесывать вокруг них, а у поясницы даже сорвал присохшие струпья, теперь там сильно щемило, кровоточило, и это было единственным теплым местом на теле. В углу душевой был сколочен железный ящик метра в два длиной для мытья ног. Ким подошел, уперся в ржавые борта, окунул руки. Вода здесь была грязной, покрытой мазутными жирными пятнами, но все ж тепловатой. Ким обрызгал ею тело, принялся натирать обмылком грудь, шею...

— Ты чего, — сказала дежурная, — она стояла в дверях, — тут же ноги мыли, а ты лицо... Под душ иди...

— Холодно, — ответил Ким, стуча зубами.

— Сейчас горячая польет, — сказала дежурная, — я договорилась с котельной.

И действительно, душевая начала наполняться паром, стало теплей. Дежурная не уходила, стояла, смотрела насмешливо. Ким, чтоб не поворачиваться к ней лицом, начал продвигаться к душе боком. Вдруг ему вспомнились рассказы старшекурсников о женщинах рудников и геолого-разведочных партий. Был на втором курсе некто Жигарев. Лицо его всегда покрывали прыщи, но периодами они высыпали удивительно густо и становились уже не красными, а синими, так что лицо напоминало гнилой кусок мяса. Вот тогда Жигарев не ходил гулять, а обмотав щеки полотенцем, приходил к ним в комнату, садился на койку и начинал рассказывать. Иногда он говорил о женщинах, а иногда «по политическим вопросам». «Конечно, Яков Свердлов был еврей, — но учтите также Фаню Каплан... Конечно, и у нас был Николай Второй... Но учтите также спекулянтов...» И тогда, когда он говорил «по вопросам», и тогда, когда он говорил о женщинах, якобы являвшихся к нему прямо в забой, перед ним ставили теплый чайник. Чайник этот он частично выпивал без сахара, частично же смачивал им полотенце, а вообще был он парень не злой, просто переживал сильно из-за своей внешности, пудрил прыщи и связывал свои беды со спекулянтами, которые похищают витамины, нужные для обмена веществ. Вот некоторые рассказы этого Жигарева и вспомнил Ким, двигаясь боком к душе, невольно бросая взгляд на высокую грудь дежурной. Окунувшись под теплые струи, он сразу ослабел, притих, закрыв глаза, а очнувшись, увидел дежурную совсем рядом.

— Разве так руду отмоешь, — сказала дежурная, — три раза мылиться надо... Возьми, — она протянула ему кусок мыла и мочалку, — из пенькового каната, — добавила она, — все сдерет...

Ким начал мылить мочалку, но пальцы у него были вялые, и мыло выскользнуло.

— Ох ты Господи, — вздохнула дежурная, подняла мыло, взяла мочалку. Вскоре вокруг ладоней ее образовалась целая гора мыльной пены, тогда она подошла к Киму и провела теплой пеной ему по спине. Прикосновения рук ее были твердыми, но ласковыми, и Кимом вдруг овладела усталость, он почувствовал себя беспомощным ребенком, и эти руки нужны были ему, он покорно подчинялся каждому их требованию. Дежурная намылила спину, повернула к себе и начала мылить живот, осторожно обтирая рубцы. Несколько раз она касалась тела своей мягкой мокрой грудью.

— Падлы, — сказала она, — суют мальчишек в пекло... Сына своего он тоже так сунет...

Она ушла, вернулась с бутылочкой иода и смазала рубцы.

— Давай отмывайся, — сказала она, — становись под душ... Ты сам откуда?

— Издали, — тихо ответил Ким.

Теплые струи воды текли по его распаренному, хорошо протертому телу, он как бы заново рождался, грязная пена сползала, капала по ногам, обнажая чистую кожу, помимо рубцов густо покрытую синяками, ставшими теперь заметными. Он промыл волосы, сполоснулся, взял с подоконника жестяной номер, через дверь в противоположном конце душевой пошел в чистое отделение бани. Воздух здесь был посвежее, лампы поярче, пахло стиранным бельем. Из приемного окна выглянула старуха, пожевала губами и захлопнула, опустив деревянный щит. Ким постучал.

— Не велено, — крикнула старуха из-за щита, — хозяин до гудка запретил выдавать... Смотался, прохлаждайся голяком...

— Митрофановна, — заглядывая, позвала дежурная, — выдай ему... Ему разрешили...

— Хахали, — ворчала старуха, — всем твоим хахалем нарушай приказ...

Но щит подняла, Ким показал номер, и старуха выбросила одежду. Одежда связывала его с прежней жизнью и прикосновения к ней были радостны. Одевшись, он почувствовал себя увереннее, потерся подбородком о сукно куртки, пересек коридор, взял у старичка свое пальто и ушанку, спустился по лестнице, ступени которой были припорошены красноватой пылью, и вышел из быткомбината надшахтного здания, но не к бункерам, а с противоположной стороны, к заснеженным портретам стахановцев и бюстам Маркса и Сталина на гранитных столбах.

— Хорошо как, — сказал Ким вполголоса.

Ему захотелось вдруг пойти в Дом культуры и потанцевать с девушкой-татаркой, которую он встречал в рудничной столовой и на которую поглядывал издали. Небо было чистым и звездным, лишь кое-где смутно угадывались в темноте мелкие облака. Становилось весело, хотелось подурачиться. У него бывали такие припадки необъяснимого веселья, освежавшие, приносящие наслаждение. В мозгу появилось и начало расти смешное слово, он понял, что сейчас выкрикнет его. Порей! — громко крикнул Ким в темноту. — Порей! — и захохотал, однако одновременно с тревогой прислушиваясь к странным попискиваниям, предшествующим каждому звуку. Он положил ладонь на горло, и попискивания прекратились, тревога рассеялась, ничто больше не омрачало радости. Впереди был железнодорожный переезд, и возле него стояло двое парней: один в короткой меховой куртке и шерстяной лыжной шапке, второй в черной шинели и фуражке с инженерской кокардой.

— Ребята, — сказал Ким, — как пройти к Дому культуры?

— Мы сами туда, — сказал парень в меховой куртке, — двинули вместе...

Они пересекли железнодорожные пути и спустились с пригорка на темную улицу, освещенную лишь в конце отблеском фонарей.

— Слушай, друг, — сказал парень в меховой куртке, — займи червонец, выручи.

— Вот, — сказал Ким, вынимая пачку денег, — разменять надо.

— Слушай, друг, давай по-честному, — сказала меховая куртка, — половину тебе, половину мне...

— Давай, — обрадовался почему-то Ким.

Меховая куртка взяла деньги и начала делить.

— А часов у тебя нет? — деловито спросил парень с инженерской кокардой.

— Есть, — весело сказал Ким, — вот на ноге. Он приподнял штанину, глянул на парней. Лица у них были серьезные. Парень с кокардой взял Кима за левую кисть, пощупал.

— Ладно, — сказала меховая куртка, — ты, друг, сейчас налево сверни, два шага и Дом культуры.

Пачка денег из рук его исчезла.

— Всего, — сказал Ким.

— Ты по тропинке иди, — крикнула вслед меховая куртка, — там сбоку проволока колючая, не напорись.

Ким пошел, испытывая некоторое недоумение, во рту горчило, однако, действительно очень быстро увидав Дом культуры, рассеялся, подумал про три свободных новогодних дня, совершенно еще не траченных, и подумал, что, когда они будут на исходе, он, наверно, с завистью будет вспоминать эту минуту. На ступенях по-прежнему стояли в пиджаках и курили. Ким хотел войти, дернул дверь, тяжелую, окованную медными скрещенными молотками, однако навстречу ему вывалился кто-то долговязый, обнял, дыхнув коньяком.

— Зон, — узнал Ким, — с Новым тебя, Зон...

Зон работал в техотделе рудоуправления. Познакомились они в рудничной библиотеке.

— Пойдем, — сказал Зон, — здесь скучно... Поехали ко мне. Меня такси дожидаются...

У обочины стояли две «победы». Зон подошел к задней, снял с себя шляпу, положил на сиденье, захлопнул дверцу.

— А мы с тобой в переднюю, — сказал Зон, — так до самого города еду... От ресторана... Два такси... В переднем я, в заднем моя шляпа... Премию пропиваем... Последнюю... Смотри, — он повернулся в сторону копра, — горит, — удивленно сказал он, — потушить забыли... Перед Новым годом на мель... Это называется технически безграмотное ведение работ... Жрали, что под рукой лежало... Ставили рекорды...

Они ехали вдоль улицы, застроенной новыми одинаковыми домами. Шофер поглядывал на Зона, посмеивался. Большеносая, патлатая голова Зона моталась, глаза были подпухшими и усталыми.

— Тебе приходилось когда-нибудь унижаться, — тихо спросил Зон, — чувствовать, как изгибается твой позвоночник... — Зон поднял руку, рукав его сдвинулся, обнажив тонкое запястье с золотыми часами на золотом браслете. — Хотели уволить, хозяин не утвердил... Я ему нужен... Я оклад получаю... Я премии... — Зон вдруг сморщился, сжал виски так сильно, что переносица и пальцы его побелели.

— Зон, — сказал Ким, испытывая чувство вины перед этим человеком, которому плохо, в то время как ему, Киму, так сейчас хорошо, удобно ехать, опираясь на мягкое сиденье, весело от предстоящего трехдневного отдыха, новых знакомств. — Зон, все уладится... Хочешь, я приглашу тебя к своим городским знакомым... Я останавливался у них, когда приехал сюда оформляться... Мне товарищ в университете

адрес дал... Мать и дочь... Дочь красивая, сам увидишь...

— За что тебя выперли? — спросил Зон.

— За Ломоносова, — сказал Ким, — это нелепая история, смешно просто... Я делал доклад в студенческом научном обществе и сказал, что Ломоносов ошибся, считая источником подземного жара горение серы... Это написано в старом учебнике... Всякий ученый может ошибиться... А один преподаватель придрался... Он собственно не геофизик, он политэкономии преподает... Прицепился... Слово за слово... Я тоже психанул... Обвиняет меня в космополитизме... Какой же я космополит... Я сам разных космополитов ненавижу...

— Бедный мальчик, — сказал Зон, — у тебя даже нет возможности нанять два такси, чтоб в заднем специально ехала твоя шляпа... Почувствовать собственное я...

Машину мягко покачивало, Ким сидел, вытянув ноги, чувствуя блаженную тяжесть в суставах.

— Чего это у тебя лицо поцарапано? — спросил Зон.

— Я со смены, — ответил Ким, — работал. — Он сладко зевнул, притих.

Зон жил на улице, расположенной вдоль шоссе. Ким увидал шоссе очень ярко, до боли в глазах освещенным. Потом они вошли в подъезд. Лестницы были словно полами, звук, высеченный из них подошвами, убаюкивал, возникали и исчезали за спиной на поворотах двери.

— Ты на участке работал? — спрашивал Зон.

— Да, — кивал Ким, стараясь не произносить длинных фраз, чтоб не выскочить из убаюкивающего ритма шагов. Он вошел в дверной проем, распахнувшийся плавно, и исчез, возник лишь ненадолго, чтоб потереться щекой о подушку. Затем он лежал под досчатым настилом, и давно забытый соученик стоял,

упираясь в него коленями. Это был первый, короткий сон, приснившийся перед самым пробуждением. Вздрыгнув, Ким открыл глаза. Он лежал в полумраке на широкой кровати, среди темного подмерзшего окна расплывалось красное пятнышко. «Копер, — понял Ким, — вытянули план... Как вчера смешно было... Впрочем, о чем это я?..» Он повернулся к стене, теперь ему снилось много снов, легких и спокойных, которые сразу забывались.

Ким проснулся окончательно уже утром, и пятнышко на стекле поблекло, стало розовым. Помимо крытой никелем дорогой кровати с гнутой спинкой и шишечками, в комнате Зона стоял на табурете приемник «ВЭФ», в углу другой табурет, чертежная доска, вешалка с одеждой и вместо стола подоконник, до отказа забитый банками, промасленными свертками, невымытыми стаканами. Одежда Кима была сложена на расстеленной по полу газете. Рядом с приемником лежала записка. Ким протянул руку, прочел: «Дверь захлопни. Будешь в городе, позвони», и указывался номер телефона. Ким включил приемник. Послышался треск, музыка, церковные молитвы, заговорил московский диктор: «Советские люди трудовыми успехами, энтузиазмом встретили 1953-й год, еще один год Сталинской эпохи», — говорил диктор.

Ким лежал, морща лоб, соображая. Он вылез из шахты в ночь с тридцатого на тридцать первое, а сейчас, судя по всему, было утро первого января.

— Проспал встречу, — сказал он, потянулся, однако сразу же вздрогнул, сморщился: не подживший на поясице рубец лопнул, кожа потеплела, и он торопливо поднялся, чтоб не вымазать Зону простыней кровью.

«В беседе с нашим корреспондентом, — неожиданно сказал диктор, — начальник шахты «Центральная» товарищ Макоев сообщил: гордо горит на подъемном копре шахты яркая звезда, символ трудовой

доблести, которой коллектив отвечает на отеческую заботу Иосифа Виссарионовича, на счастье жить и трудиться в великую Сталинскую эпоху».

Ким встал во весь рост. Грудь его распирало, плечи раздвинулись. Его приподняло, понесло, он захлебывался от восторга. По приемнику передавали ритмичные, будоражащие кровь марши, Ким одевался, насвистывая их, время от времени он от полноты чувств начинал тереть ладонь о ладонь с такой силой, что кожа разогревалась, бесчисленные царапины зудели, кое-где даже проступили капли крови. Ким тряхнул головой, зажмурил глаза, посидел с колотящимся сердцем. Потом он оделся, выключил приемник, вышел, захлопнув дверь, спустился по лестнице.

«Сейчас в город, — подумал он, — постригусь, найду к знакомым, там видно будет... Новый год проспал, фу, как глупо».

Город напоминал комету. Вдоль хвоста — сорокакилометрового шоссе — тянулись рудничные поселки, которые в основном отличались друг от друга расположением шахты. Иногда шахтные копры, бункера, породные отвалы подступали к самому шоссе, а крыша Дома культуры виднелась за одинаковыми домами с лепными эмблемами, иногда наоборот, в глубь поселка отступала шахта, а Дом культуры — близнец, трехэтажный, с колоннами и статуями, располагался у шоссе. Казалось бы, кто-то все время перемешивает один и тот же поселок, переставляет, словно шахматные фигуры, если б пейзаж не оживлялся то речушкой, то рощицей, то оврагом. Ким вылез из автобуса, обогнувшего заснеженную клумбу и хоровод заснеженных елочек вокруг нее. Центр города был застроен в основном старыми домами, лишь против клумбы высилось пятиэтажное розовое здание железорудного треста, увенчанное шпилем со звездой, да в глубине улицы виднелась лепная башенка нового гортеатра. Ким пошел, вглядываясь в вывески. На ступенях гостиницы

«Руда» стоял пьяный в телогрейке и ругал в бога мать космополитов. Милиционер лениво сталкивал ругателя вниз, пьяный скрипел зубами и кричал:

— Эх, все вы им продались! На Иудины деньги жируете!

Ким прошел мимо, потянул тяжелые двери, вошел в вестибюль, отделанный под мрамор, разделся и, поднявшись на второй этаж по широкой, клепанной медными пластинками лестнице, увидел за бархатными малиновыми портьерами парикмахерскую. Час был ранний и посетителей было мало. Двое парикмахеров, белобрысый мальчишка и горбоносый старик, играли в шашки цветными одеколонными пробками, двигали их по рисованной самодельной доске, за перегородкой в дамском зале трещала машина, делающая перманент, и виднелась в зеркале курносыя дама с двойным подбородком. Голова ее, отягощенная металлическими детальками, была запрокинута. Гремело радио, передавали какую-то залихватскую казачью песню с присвистом.

— Пожалуйста, — сказал Киму появившийся сбоку парикмахер. Парикмахер был в крахмальном до синевы халате, с короткой раздвоенной бородкой, очки его в золотой оправе и лысина поблескивали. Ким уселся в удобное кресло, мысленно насвистывая мелодию казачьей песни. Щекочущие прикосновения парикмахера были приятны, хотелось сидеть так подольше.

— Бокс? — спросил парикмахер, обволакивая пахучей хрустящей салфеткой.

— Конечно, — сказал Ким, жадно вдыхая свежий запах стираного полотна и радостно сжимая опущенные, прикрытые коленями кулаки. Его радовали звякающие флакончики, банка, наполненная чистой ватой, блестящая белоснежная раковина с никелированными краниками. Зашелкала машинка, холодя кожу. Потом шелканье прекратилось. Парикмахер куда-то отошел... Ким поерзал, сел удобней, блаженная истома

сковала тело. Сквозь опущенные веки на глаза легли розовые пятна, разделенные темной полосой, он сидел, запрокинув голову, и над ним горела лампа, теплоту которой он ощущал. Парикмахер вернулся, вновь защелкала машинка, изредка замирая. Парикмахер бормотал или, может напевал, наконец, парикмахер что-то спросил.

— Да, конечно, — ответил Ким, не слыша вопроса.

— Странно, — сказал парикмахер, — ну-ка, поднимите голову, откройте глаза...

Ким глянул в зеркало. Парикмахер поднес сзади другое зеркальце, овальное, и в нем отражался затылок. Выстриженные участки были покрыты словно бурыми лишаями, кое-где виднелись въевшиеся в кожу пятна смазки.

— Вот это голова, — засмеялся белобрысый мальчишка-парикмахер. Множество лиц появились, толпились над Кимом в зеркале. Горбоносый старик обнажал десны, из дамского отделения появилась дама с металлическими детальками в волосах. Теснились и другие лица, пришедшие после Кима. Киму сразу стало жарко, крахмальная салфетка намокла, прилипла к шее.

— Хватит, расходитесь, — сказал парикмахер в очках, сжимая губы, сдерживая улыбку, — парень работает в шахте... Ты ведь работаешь в шахте? — наклонившись, дыхнув мятными конфетами, спросил парикмахер.

— В шахте, — хотел ответить Ким, но из слепшейся глотки вырвалось кряхтенье, прерываемое короткими спазмами.

— Ты заплатишь? — спросил парикмахер, — я голову помою...

Ким помедлил с ответом, он боялся, что из глотки его опять вырвутся шипящие звуки, веселившие лица за спиной, поэтому глубоко вдохнул, сосредото-

чился и лишь после этого произнес: Да, — произнес ясно, твердо, отчего несколько успокоился и кровь постепенно начала отливать, голова холодела, горели по-прежнему лишь кончики ушей.

— Вот и порядок, — весело сказал парикмахер, — расходитесь, не мешайте обслуживать клиента... Клиент — шахтер...

— Шахтеры обычно говорят: грязный как машинист, — сказал какой-то шутник сзади, — а машинисты: грязный как шахтер...

Засмеялись. Машинка защелкала торопливо, несколько раз прищемив кожу. Потом парикмахер прижал ладонью затылок, Ким наклонился, упер подбородок в холодный край раковины. Парикмахер намылil голову, сполоснул теплой водой. Бурые капли дрожали на бортах раковины, окрашенные рудой струи текли по белоснежной эмали, и терпкий шахтный запах смешивался с одеколонными благовониями.

— Всё, — сказал парикмахер, — поздравляю... Вылез из шахты... Начинается твоя новая жизнь...

Ким сунул руку в карман. Плотной пачки не оказалось, он в недоумении наморщился, затем вспомнил, сунул руку в другой карман, где, к счастью, осталось несколько бумажек, расплатился, глядя в сторону, споткнулся о дорожку, вновь споткнулся на лестнице, оделся торопливо, несколько кварталов он почти бежал в расстегнутом пальто и с шарфом в кармане, как-то боком напялив ушанку. Наконец он остановился у решетки городского сада, прижался щекой.

— Ну всё, — сказал он, — ну хватит... Ты никогда больше не увидишь этих людей... И плевать... А голову надо трижды покрывать мыльной пеной... Спешил, болван собачий... Ну и плевать... Сейчас взгляну к Кате... Нет, немножко погуляю, чтоб успокоиться... Надо было б торт... Так получилось... Куплю с аванса... И плевать...

Он вынул шарф, обернул вокруг шеи, постоял, вдруг от нахлынувшего стыда его передернуло, однако, быстро успокоившись, он застегнул пальто, поправил ушанку, вынул деньги, пересчитал. Решетку сада красиво покрывал снег. Слышались крики детворы. Мимо прошла женщина в пуховой шапочке. Правой рукой она толкала перед собой коляску, а левой волочила позади себя санки, на которых лежал лицом кверху карапуз лет трех, запрокинутая головка его в меховой шапке свешивалась с санок, тянула по снегу борозду. Карапуз улыбался, глядя в небо, очевидно радуясь, что мать не замечает баловства. Ким подмигнул карапузу, приложил палец к губам и тоже улыбнулся. Он увидел почту, вошел и написал поздравительные открытки: тетке и товарищу в университет. На открытках изображался подтянутый дед-мороз, в упор указывающий пальцем, и надпись: «Ты соблюдаешь правила противопожарной безопасности при устройстве елок?» Ким давно уже чувствовал: внутри бурлило, потягивало живот. Он пошел в столовую. Столовая помещалась в полуподвале. Нижняя часть окон заслонена была кирпичной кладкой, в верхней мелькали ноги прохожих. Рядом с Кимом сидел бледный мужчина и ел гречневую кашу. Против мужчины мордатый парень читал по складам газету, шевеля губами. Время от времени он поверх газеты пристально, долго смотрел на мужчину.

— Ты какой наци будешь? — спросил вдруг мордатый.

— Поляк, — ответил мужчина, низко склонившись над газетой.

— Вот вы поляки, а есть еще казаки, это что, разных наци?

— По-видимому, разных, — ответил мужчина, торопливо прожевывая кашу.

За соседним столиком сидел гражданин в вышитой украинской рубаше, упитанный, с животиком, и

такая же упитанная гражданка в очках. Гражданин и гражданка поглядывали то на бледного мужчину, то на парня, переглядывались меж собой и громко хохотали. На обед Ким потратил час. Это был нормальный срок, он даже не огорчился. Борщ прокис, несмотря на голод Ким выловил лишь несколько картофелин и пососал кость, обглаживая кусочки мяса и хряща. Котлета с мучными рожками была полита каким-то белым жиром, от которого сразу обложило небо и гортань. Дожидаясь компота, он тщетно пытался слизать вязкую пленку языком. И все ж после обеда Ким почувствовал себя лучше, урчание в животе прекратилось. Он купил в «Гастрономе» кекс, дешевый, но в красивой коробке, и пошел к Кате, придумывая на ходу первую фразу, которую произнесет, когда откроется дверь. Вернее, придумать надо было две фразы, так как дверь могла открыть и Лидия Кирилловна. Ким снова оказался на главной улице, однако, не доходя гостиницы «Руда», свернул в переулки. Адреса Кати он не помнил, знал путь лишь по приметам. Ему надо было добраться к гортеатру, служащему ориентиром, но гостиница «Руда» отрезала дорогу, и Ким никак не мог ее обойти. Сколько ни петлял, он все равно выходил к гостинице то сбоку, то со двора, то прямо упирался в фасад. Вначале это казалось ему забавным, но постепенно он начал уставать, струйки пота текли под одеждой, поднявшийся ветер и усилившийся мороз обжигали лицо. Он сделал громадный круг, обошел вокруг гортеатра, потемневшего уже и притихшего, потому что начало смеркаться. За садом был обрыв к белой ото льда и снега реке, которая сливалась с пологим противоположным берегом, таким же белым. На противоположном берегу начиналось уже поле и дрожали огоньки деревень. Среди снежного поля кто-то жег костры, усиливающие тоску. Ким зашагал резко беря вправо, теперь, проделав несколько лишних километров, он рассчитывал оста-

вить гостиницу далеко позади. И все ж он уперся прямо в широкие ступени «Руды». Тогда Ким поднял воротник, побежал мимо, боясь поднять голову, однако, не выдержав, глянул мельком, увидел множество прижавшихся к стеклам, хохочущих над ним лиц. Наконец он оказался перед гортеатром, свернул и не более, чем через пять минут, шел уже по знакомому уютному переулку, мощенному булыжником, с тротуарами, выложенными из тертой плитки. Ким узнал двухэтажный дом из серого кирпича с фигурными балконами и вздохнул облегченно, повеселел. Катя жила на втором этаже. Дверь ее с аккуратным замочком на жестяном почтовом ящике показалась до того родной, что Ким оглянулся и, ощущая свои набухающие грудь и глаза, прикоснулся губами к прохладному замочку. Лишь в это мгновение, вспомнив одиночество на берегу, перед дальними кострами, Ким по-настоящему почувствовал, как хочется ему быть счастливым. Он наморщил лоб, лихорадочно сочиняя первую фразу, в висках стучало и слегка знобило. Постояв так с минуту, ничего не придумав, волнуясь необыкновенно, с сумбуром в голове, он нажал кнопку звонка.

4

Дверь открыла Лидия Кирилловна. В передней горела синяя лампочка, и Лидия Кирилловна несколько мгновений удивленно вглядывалась, не узнавая, потом узнала, улыбнулась, но, как показалось Киму, без особого восторга.

— Вот это гость, — сказала она, — заходи, ноги вытирай...

— Я мимо шел, — стуча ботинками на лестничной площадке, говорил Ким, — решил посетить... Я, конечно, устроен уже... Общежитие получил... Рабо-

таю... Вот кекс, — он протянул коробку, — с Новым вас...

— Спасибо, — сказала Лидия Кирилловна, — тебя также... Зачем ты тратился... У нас гости... Раздевайся, посидишь.

Ким снял пальто, ушанку, одернул куртку и пошел следом за Лидией Кирилловной через переднюю, где было много вещей, которые обычно наслаиваются с годами и придают дому прочность, устойчивость, в отличие от предметов, недавно купленных, не оставивших еще даже следов на полу и стенах. Стоял резной шкаф красного дерева с вывалившейся дверцей и прислоненный к шкафу футляр настенных часов, тоже красного дерева. На том и другом были одинаковые вензеля, видно, работы одного мастера. Кованый сундук в углу отделял пространство, где валялись галоши и зонтики, там царил полумрак, и у Кима вдруг мелькнула мысль, конечно, нелепая, что хорошо б забраться туда, лежать в тишине, среди уютного потрескивания. Он вошел в комнату, резко освещенную, абажур был несколько приподнят, обнажив лампу. Катя сидела за столом рядом с мужчиной в железнодорожном кителе с серебряными майорскими погонами. Другой мужчина был в форме Министерства финансов, весь покрыт кантами и с литыми гербовыми пуговицами вдоль мундира. Катя была в шерстяном платье с плечиками и рукавом три четверти.

— Вот, — сказала Лидия Кирилловна, — мальчик пришел... У нас в доме всегда было полно ребят... Катенькины соученики... Покойный муж даже ругался... Знаете, ответственная работа...

— Хватит, мама, — сердито сказала Катя, лицо ее было раздражено, хоть глаза и поблескивали от выпитого вина, — откуда ты? — спросила она Кима, — я думала, ты уехал...

— Нет, я работаю в шахте, — сказал Ким, — я мимо шел...

— Молодец, — оборачиваясь, сказал мужчина с литыми пуговицами, — таких люблю...

Лицо его было красным, а на лбу большие белые залысины.

— Садись, — сказал он, крепко пожал Киму руку и усадил рядом, — выпьем, — и налил водки.

Ким выпил, закусил селедкой, сняв с нее прилипший к коже волос. Железнодорожник подмигнул ему из-за Катиной спины. Оба гостя уже казались Киму замечательными людьми, и он испытывал благодарность каждый раз, когда мужчина с литыми пуговицами то подвигал вкусный печеночный паштет, то наливал тягучие наливки.

— Не надо ему мешать водку с наливкой, — издали сказала Катя. Голос ее слышался точно через стену.

— Ничего, — сказал мужчина с литыми пуговицами, — он шахтер... Между прочим, слышали, арестовали Вадима Синявского... Этого футбольного радиокomentатора... Оказывается, он связан с сионистами... Допустим, ведет он футбольный репортаж... Бобров прорывается по правому краю... Допустим... А в действительности это код... Шифер, если сказать по-простому... Его там за рубежом принимают... Бобров, допустим, обозначает военный завод... А правый край место расположения... Тамбовская область, допустим... Хитро... — Мужчина отодвинул стопку, вылил из граненого стакана лимонад в пепельницу, налил в стакан водки так, что переливалась через край, густо посыпал водку перцем, потряхивая перечницей, хлебнул, пригнувшись, прикасаясь губами к стоящему на столе стакану, чтоб не расплескать, затем поднял стакан, выпил залпом и щелкнул пальцами. — Хорошо, — сказал он.

Железнодорожник отбросил корпус назад и вправо, так что оказался за спиной Кати и кивнул на нее, скорчил гримасу, вытянув губы трубочкой. Мужчина прыснул.

— Хорошо, — повторил он, — или, допустим, некоторые думают, — продолжил мужчина, размахивая ножом, кусочки паштета срывались с лезвия и падали на скатерть, — вернее, бытуют демобилизующие настроения, что космополиты — это просто мирные граждане, определенной, так сказать, национальности, — мужчина подмигнул Киму, — в действительности же, они просто готовили вооруженный путч...

— Попробуйте торт, — появившись сзади, сказала Лидия Кирилловна и, отодвинув полные обедов тарелки, поставила круглое блюдо с тортом. Крем сверху подрумянился. Кое-где светло-коричневая корочка лопнула и вязкая сладкая масса выползла наружу.

— Ах ты, мое золотце, — сказал мужчина и обнял Лидию Кирилловну. Рука его поехала по сдобному плечу Лидии Кирилловны, зацепила грудь. Лидия Кирилловна зарделась, поправила перманент. Лицо ее было напудрено, а губы ярко подмазаны.

— Мама, — со злобой сказала Катя и поднялась.

Железнодорожник взял Катю за локоть, усадил, зашептал что-то, отрезал кусок торта, налил наливки.

— А вы напрасно, — перегнувшись через стол, сказал Кате мужчина, — напрасно мать не уважаете... А еще замуж хотите...

Катя вновь поднялась, и железнодорожник вновь усадил ее за локоть, зашептал.

— Пошли мальчишку купить папирос, — сказал железнодорожник, обернувшись к мужчине.

— Сходи, брат-шахтер, — сказал мужчина, — вот те деньги...

Ким скомкал деньги в кулаке и пошел к дверям, неуклюже влез в пальто. На лестничной площадке его кто-то окликнул. Ким обернулся, увидел железнодорожника.

— Слушай, — сказал железнодорожник, — возьми еще червонец. И папиросы себе возьми... Походи немного... Зайди и пригласи Катю на вечер... Скажи,

встретил ребят... Придумай что-нибудь. Мы можем просто уйти, но неудобно... Я в одной системе с ее отцом работал... Катя ведь тебе нравится...

— Нравится, — тихо сказал Ким, — только денег не надо...

Ким пошел по лестнице, высоко подбрасывая ноги, вывалился из парадного и побежал зачем-то к трамвайной остановке в конец переулка, плавно падая. Он постоял у трамвайной остановки, потолкался, затем свернул к магазину, ярко освещенному, там тоже была толчея, все спешили, поглядывали на часы, и захваченный веселым потоком Ким тоже спешил, глядел на пустое запястье левой руки. Он купил пачку папирос, плитку шоколада, это уже на свои деньги, у него теперь осталась мелочь со сдачи да две грязные, смятые бумажки. Ким выудил их из бокового кармана, где они были затерты среди пуговиц и разной шелухи, отряхнул, аккуратно сложил вчетверо и воткнул в маленький брючный карманчик спереди. Потом он побрел назад, вглядываясь в подъезды, так как дорогу знал лишь с другого конца переулка. Наконец он нашел свой подъезд, поднялся по лестнице и остановился в нерешительности перед дверьми, потому что оттуда слышались плач и крики. Потоптавшись, Ким все ж прикоснулся к звонку, погладил его, нажал. Крики сразу оборвались, послышались шаги, и дверь открыла Лидия Кирилловна, растрепанная и заплаканная.

— Вот и ты, — сказала она, на этот раз искренне обрадовавшись, — пойдем быстрее, — и сильно взяв за руку, потащила в комнату. Гостей уже не было. Катя сидела перед столом, тоже заплаканная, растрепанная, шерстяное платье ее было расстегнуто у горла.

— Катенька, Ким пришел, — сказала Лидия Кирилловна. — Сейчас мы будем пить чай.

Лидия Кирилловна подошла к Кате, несмело протянула руку, пригладила Катины волосы, убрала их

со лба, но Катя вдруг ударила мать по руке, оттолкнула и начала кричать, всхлипывая:

— Ты издеваешься надо мной... Ты меня продать хочешь... Ты приводишь мужчин, и они меня разглядывают. Нравится, не нравится... Это унижает, это в грязь... Но тебе наплевать... Окончу техникум и не буду... Не буду с тобой жить...

— Катенька, я хотела как лучше, — растерянно сказала Лидия Кирилловна, — он работает в управлении дороги... Оклад, машина... Прекрасный семьянин... Жена его от рака померла... Помнишь, в прошлом году зимой были похороны и из Грузии самолетом привезли живые цветы... Об этом все говорили... Если б он разошелся или что подобное, я б его никогда не пригласила.

— Он перекидывал меня, — крикнула Катя, — думаешь, я не видела... За спиной показывал, какая я пучеглазая... Какие у меня вытянутые губы...

— Он шутил, — сказала Лидия Кирилловна, — и выпил немного. Напрасно ты его обозвала... Зачем этот скандал... второй, действительно, неприятный тип, я его впервые вижу...

— Ах, неприятный, — крикнула Катя так громко, что изо рта ее брызнула слюна. — А зачем ты с ним флиртowała... Ты нарочно, нарочно, — уже в иступлении бормотала Катя, — ты нарочно приглашаешь ко мне мужчин, чтоб флиртовать самой... Вот... — выпалила она.

Лидия Кирилловна осторожно опустилась на краешек стула, сложив руки на коленях. Голова ее запрокинулась, лицо побелело, и губы от этого стали особенно ярко-красными, словно две сочащиеся красные полосы на мраморе.

— Чего ты стоишь, — визгливо крикнула Катя застрявшему в растерянности у дверей Киму, — воды... воды... Скорей воды... На кухне, на кухне...

Ким повернулся, неловко ударился грудью о дверной косяк и побежал через переднюю. Кухня вся была забита грязной посудой, ни одного чистого стакана. Ким растерянно метался, прислушиваясь к всхлипам, голосам из комнаты, опрокинул примус, разбил чашку, наконец сорвал со стены алюминиевую поварешку, наполнил ее водой и понес. Лидия Кирилловна и Катя сидели обнявшись, всхлипывая и что-то шепотом говорили друг другу. Лицо Лидии Кирилловны уже порозовело. Увидав Кима с поварешкой, обе рассмеялись.

— Мама, попей, — сказала Катя.

— Чтоб Кимушкины труды не пропали даром, — улыбнулась Лидия Кирилловна, — спасибо, миленький, — она взяла поварешку, глотнула. Катя осторожно принялась массировать ей виски.

— Ничего, — сказала Лидия Кирилловна, — мне хорошо... Сейчас будет чай...

Катя проворно убрала со стола, сбросила объедки в газету. Лидия Кирилловна принесла свежую, хрустящую скатерть и посреди поставила маленькую елочку с тремя серебряными шарами.

— Раздевайся, — сказала Лидия Кирилловна. — Чего ты в пальто... Будь как дома... Где ты встречал Новый год?

— В одной компании, — сказал Ким. — У нас на руднике есть хорошая компания...

Он снял пальто в передней, присел к столу, достал шоколад и протянул Кате.

— Спасибо, — сказала Катя, — какой ты заботливый... У тебя волосы торчат на макушке, как смешно, — она улыбнулась. Щеки ее сразу округлились, носик приподнялся, нежные мочки ушек стали прозрачными, наполнились красноватым светом.

— Он и кекс купил, — радостно сказала Лидия Кирилловна, — ох, я ж его кекс в передней забыла...

Кимушка, ты кем на руднике работаешь? Где ты так лицо поцарапал... И руки?

— Я занимаю инженерскую должность, — сказал Ким, — случайно поцарапался... Не заметил проволоку... Я через год снова в университет поеду... В пятьдесят четвертом.

— Молодец, — сказала Лидия Кирилловна, — вот, Катя, тебе и кавалер... А мы ищем...

— Мама, оставь, — вновь раздражаясь, сказала Катя.

— Не буду, не буду, — торопливо замахала руками Лидия Кирилловна и ушла на кухню.

— Ким, — позвала Катя, усаживаясь против него, положив подбородок на ладони.

— Что, — тихо спросил Ким, чувствуя до сладости приятные толчки пониже сердца.

— Здравствуй, — сказала Катя.

— Здравствуй, Катя, — ответил Ким.

Лидия Кирилловна внесла электрический чайник, разрезанный торт и тоже разрезанный купленный Кимом кекс. Она поставила вазочку варенья, очень вкусного, пахучего, маленькие, размером с вишню яблочки плавали в густом бордовом желе. От чая стало жарко, Ким расстегнул было куртку, но, вспомнив о несвежей рубашке и штопаном свитере, торопливо застегнулся опять.

— Может по рюмашечке, — спросила Лидия Кирилловна. Она достала из буфета три стопки и до половины опорожненный графинчик темно-вишневой наливки. — За вас, дети, — разлив и подняв стопку, сказала Лидия Кирилловна, — мы уже отжили свое, хорошо ли, плохо... А вы только начинаете жить...

Чокнулись, выпили. Побегав на морозе, Ким полностью протрезвел от выпитых им ранее стопок водки, однако теперь наливка сразу ударила в голову, всё приятно закружилось, и он начал плохо слышать, что являлось верным признаком опьянения. Лидия Кирил-

ловна куда-то исчезла, они сидели с Катей друг против друга и смотрели в глаза, кто пересмотрит. Потом Катя рассмеялась, замигала, взяла шоколад и принялась разворачивать, разрывая серебристую обертку длинными пальцами. Она отломилась две дольки, положила их себе в рот, затем отломилась сбоку продолговатую полоску и протянула Киму через стол, зажав один конец пальцами. Ким вытянул шею, надкусил. Ким откусывал кусочки и засовывал под язык, где они приятно таяли. С каждым разом ему приходилось все дальше и дальше вытягивать шею, потом даже приподняться, полоска исчезла, и Ким прикоснулся губами к Катиным пальцам, поцеловал их измазанные шоколадом кончики.

— Противный, — сказала Катя, — у меня под ногтями полно твоего противного шоколада... — Она сложила вдвое бумажную салфетку и принялась уголкем вычищать шоколад из-под ногтей.

Чувствуя дрожь в груди и ногах, Ким обошел вокруг стола и сел рядом с Катей. В том месте, где их бедра сливались, становилось все жарче и жарче. Тело его, затянутое в суконную куртку, изнемогало от жары, от жажды, и в полубредовом состоянии он жадно припал к тугим синим жилкам у Катиной ключицы. Прохладный солоноватый привкус девичьей кожи не утолил жажду, а удесятерил ее, в воздухе завертелись фиолетовые спирали.

— Тише, тише, — сказала Катя, довольно больно толкнув в грудь локтем. — Разбаловался юноша...

Катя встала и сразу же, точно дежуря у двери и ожидая этого мгновения, в комнату вошла Лидия Кирилловна.

— Кимушка, — сказала она, — я тебе на тахте постелю... Ты ведь у нас ночуешь.

— У вас, — слабым голосом ответил Ким. Перед глазами его по-прежнему кружили спирали, постепенно затихая и меняя окраску.

Тахта была застлана большим ковром. Ковер спускался по стене, переламывался, и конец его бахромой касался пола. Лидия Кирилловна подтянула ковер, так что у стены образовалась складка, сверху она положила ватный матрац, застлала простыней, принесла стеганое одеяло и большую подушку. В комнату заглянула Катя уже в халате.

— Спокойной тебе ночи, — сказала Катя и,глянув на него, по-прежнему сидящего у стола, почему-то прыснула.

Лидия Кирилловна вышла. Тогда Катя приблизилась, похохатывая, сжала пальцами его нос. Ким дернул головой, вырвался, схватил Катину руку и принялся жадно целовать, подтягивая Катю к себе, забираясь все выше: вначале он целовал запястье, потом добрался к локтевому сгибу, потом, отодвинув лбом рукав, полез к плечу. Катя не сопротивлялась, даже сама придерживала рукав пальцами левой руки, приподнимала ткань, обнажая свою полную правую руку с оспинками на предплечье. Когда Ким жадно припал губами к оспинкам, Катя вдруг вырвалась, щелкнула Кима в лоб, отбежала на середину комнаты и вновь, точно стоя у дверей и ожидая этого, вошла Лидия Кирилловна с маленькой подушечкой.

— Я тебе подушечку под бок положу, — сказала Лидия Кирилловна, — чтоб ребра не давили, — она склонилась над постелью, выпрямилась, — ну, приятных тебе снов... Пойдем, Катя...

Они ушли, закрыв дверь. Ким по-прежнему сидел у стола, слушая, как в соседней комнате шуршит одежда, шлепают босые ноги, раздаются приглушенные голоса. Наконец, там погас свет, заскрипели пружины, громко вздохнула Лидия Кирилловна. Ким встал, начал расшнуровывать ботинки, широко искусственно зевая, чтоб сдержатъ дрожь и подавить возбуждение. Он разделся, лег, иссеченное тело его нежилось от прикосновений свежей постели. Он закрыл глаза, улыбнул-

ся, однако улыбка эта, вместо ожидаемого покоя, пробудила в нем лихорадку, усиливающуюся с каждым мгновением, и он понял, что жаждет счастья немедленного, каждая клетка, каждый кусочек тела был полон позыва, ожидал ласки. Он обхватил себя руками, сжимая все сильнее, так что пальцы правой руки упирались в левую лопатку, а пальцы левой в правую. Дыхание его стало частым, сердце сильно билось под локтем. Вдруг ему захотелось сейчас же увидеть лицо Кати. От мысли этой он сел, посидел немного, испуганно вздрагивая, собрал силы и, до боли сжав руками плечи, опрокинул себя на спину. Однако именно в это мгновение, прижатый спиной к постели, он понял, что обязательно встанет и пойдет смотреть Катю, хоть отчетливо, как никогда ясно, понимал всю нелепость, весь ужас подобного поступка. Ким сбросил одеяло, опустил ступни, сделал несколько шагов, вытянул руки. В темноте поблескивало зеркало, слышался перестук часов, глушивший удары сердца. Он обошел комнату, словно тренируясь, привыкая различать в темноте предметы, осторожно прикоснулся концами пальцев к двери, она поддалась, поплыла мягко, без скрипа. Развернувшись перед ним черное пространство было подобно бездне, пятидесятиметровой камере, над которой он лежал в шахте. Бездна эта пугала и манила. Голова его закружилась, он отшатнулся, попятился, добрался к постели, лег, закутался в одеяло. Ему казалось, он засыпает, однако уже через несколько мгновений он вновь стоял среди комнаты, глядя на серебристое зеркало, безжалостно поблескивающее. Ким подошел к открытой двери, глянул в темноту. Его слегка тошнило, он открыл рот, набрал побольше воздуха, чтобы охладить внутренности и перебороть сладковатые спазмы. Вдруг в глубине черной бездны мелькнула рука, очень яркая, золотистая, описала полукруг и опустилась. В то же мгновение Ким метнулся, переступил порог. Колено его скользнуло по углу

стула, он застыл с пересохшей гортанью, наморщил влажный холодный лоб, представил себе грохот упавшего стула, шагнул он на миллиметр дальше. Глаза его привыкли, темнота посветлела. Лидия Кирилловна лежала справа на широкой красного дерева кровати. Голова ее в бигуди была обвязана платком. Она спала, полуобернувшись к стене, посапывая и причмокивая. Обе руки ее покоились поверх одеяла. Катя спала на узком диванчике возле окна. Лунные полосы переламывались, опускаясь на нее со стены. Катино лицо и плечико, перетянутое шелковой шлейкой, обнаженное сбившимся одеялом, были нежно-золотистого цвета.

«Как это прекрасно, — подумал Ким, — как это великолепно, что существуют такие люди, такие девушки... Такая красота... И эта красота моя... Я гладил ее, целовал... Она моя, моя...»

Возбуждение исчезло, тихая радость существования, подобная радости от первых глотков чистого воздуха на поверхности земли, владела им. Он забыл свое нелепое, свое бесстыдное положение ночью среди чужой комнаты. Просто стоял и созерцал прекрасное, залитое лунным светом девичье тело. Катя заворочалась, повернулась, рука ее вновь поплыла по воздуху, осветилась бликами луны и опустилась на другой конец подушки, в полумрак. Ким осторожно пошел назад, добрался к своей тахте, лег, улыбнулся.

«Милая, — шепнул он, — славненькая, родненькая моя».

Он был счастлив, как никогда, он был богат, он был щедр. Он вспомнил Зона и подумал, что обязательно должен сделать для этого человека что-нибудь хорошее. Вспомнился начальник с зелеными зубами. Захотелось с ним поговорить по душам, купить бутылку вина, слушать начальника, степенно покачивая головой. В радостном возбуждении Ким сбросил одеяло, поднялся, чтобы прикрыть двери, однако вновь переступил порог, его потянуло еще раз увидеть Катино

лицо и плечико, перетянутое шелковой шлейкой. Лидия Кирилловна лежала в той же позе. Лунные полосы выросли, концы их коснулись выглядывавших из-под платка бигуди, которые поблескивали. Катя повернулась на спину, одеяло ее было натянуто под самое горло, плечико со шлейкой исчезло, зато обнажилась щека, ранее прижатая к подушке, кожа была слегка примята и несколько растрепавшихся волосиков, легких и мягких даже на взгляд, прилипли к ушку. Ким осторожно приблизился, улыбаясь, и вдруг кто-то в упор сказал ему твердо, хоть и негромко.

— Сволочь паршивая.

Ким оторопел, застыл, потом голова его дернулась, как от удара в подбородок. Он тихо, словно призрак, повернулся через правое плечо и пошел назад, понимая, что Катя проснулась и заподозрила его в мерзости. Он вошел в свою комнату, прикрыв дверь, и его начало трясти, с каждой секундой сильнее и сильнее.

«Катя права, — подумал он, — конечно, мерзость... Как ужасно... И всегда была мерзость, каждое мгновение только мерзость, а все эти мысли о красоте, о радости я придумал, чтоб отвлечь себя... Ужасно, ужасно... Жить дальше невозможно...»

Он сел на тахту. Ноги его, согнутые в коленях, даже не дрожали, а вибрировали, он просунул руки между ними, придерживая, охватив изнутри чашечки ладонями, чтоб смягчить удары, так как боялся, что стук костяных чашечек друг о друга может разбудить Лидию Кирилловну.

«Я был пьян, — подумал он, пытаясь себя успокоить, — я и сейчас пьян... Голова кружится... В этом причина... Всё в порядке... Я извинюсь... Всё в порядке... Скорей бы наступил рассвет...»

Ссадины на теле его ныли все сильнее, вокруг рубцов почесывало.

«Надо мной смеялись в парикмахерской, — подумал он, — а те двое... Та меховая куртка... Они меня ведь ограбили...»

Рассвет долго не наступал. Ким пытался задуматься или забыться, глядя на одеяло, чтоб потом, подняв голову, увидеть посветлевшее окно. Однако, то ли он слишком часто смотрел, то ли еще была глубокая ночь, окно не менялось, а свет, на который он вначале возлагал надежды, был попросту отблеском уличного фонаря. Так, поднимая и опуская голову, он просидел несколько часов, уже не пытаясь унять лихорадочную дрожь, к которой привык и без которой, как ему теперь казалось, положение его стало бы особенно ужасно. Заснул Ким неожиданно. Голова его скользнула по ковру, одна нога выпрямилась, вторая, согнувшись, прижала живот коленом.

Ему частенько снилась война, и сейчас тоже приснился лагерь смерти. Сон был сочетанием необычайной конкретности, просто натуральной подробности, с условностью, не вызывавшей ни малейшего удивления. Он, живой и голый, лежал в огромном котле, наполненном штабелями голых людей. В котел заглядывали фигуры в касках, и он пробовал притвориться мертвым, сдерживал дыхание, хоть чувствовал, что освещен пронизывающим беспощадным светом, от которого нельзя укрыться. Наступала полная безысходность, приносящая даже какое-то успокоение. Но вдруг ему начинает казаться: стоит выползти, надеть туфли, пойти, и всё будет в порядке. Охваченный лихорадочной дрожью, растирая мускулы ног, сжатые от возбуждения судорогами, он выползает, надевает туфли, но не свои, а какие-то рваные босоножки и сильно этим огорчен. Он одет в странную форму, неизвестно откуда взявшуюся. Его догоняют. Он делает вид, что крики к нему не относятся. На улице полно прохожих, однако все сторонятся, уходят толпами в боковые улицы, очищают пространство вокруг него,

выглядывают из-за углов. Некоторые машут руками, зовут, но свернуть он не может, движется только по прямой. Погоня уже близко. Он оборачивается ей навстречу и стреляет из кулака, согнув указательный палец, как стреляют дети во время игры. Это не удивляет никого, но и не пугает. Вновь возникает чувство абсолютной безысходности. Он представляет, как будут сжигать его тело, и в этот момент, так всегда бывает в подобных снах, просыпается на грани смерти. Первые мгновения Ким видит лишь освещенные солнцем обои, пылинки тихо струятся, текут в косом луче. Короткая сильная судорога пронзает его, прилив бездумной радости, спасения, прочной жизни, которой ничто не грозит. Потом Ким ощущает колючую ткань, трущую лицо, он лежит под сорвавшимся ковром.

События ночи вспоминаются во всех подробностях, особенно стыдно сейчас, на ярком солнечном свете. За спиной голоса, позвякивание посуды. Ким осторожно, стараясь не привлекать внимания, поворачивает голову. У стола сидели Лидия Кирилловна и Катя, завтракали. Волосы Кати подхвачены розовой лентой, лицо мятое от сна. Лидия Кирилловна по-прежнему в бигуди.

«Проспал рассвет, болван, — думает Ким, — надо было уйти... на рассвете... Нет, ночью... Нет, подумали бы, что сбежал... Особенно ночью... Пусть думают... Ох, что делать... Теперь надо притворяться спящим, пока они не позавтракают... Ковер сорвал...»

Ким вспомнил как тщательно приглаживала Лидия Кирилловна ковер, подтягивала, поправляла... Ему было особенно неудобно, что люди из-за него едят в ночном застоявшемся воздухе, который ощущался, несмотря на открытую форточку. Вдруг он почувствовал прохладу на ступне своей левой ноги и открылся испариной от мысли, что лежал так все время, выставив ногу. Забывшись, он дернул ногу, убрал ее под одеяло чересчур поспешно, и Лидия Кирилловна

покосилась, правда, не переставая жевать бутерброд с яичницей.

«Сказала или не сказала ей Катя, — подумал Ким. — Знает Лидия Кирилловна или не знает про ночные мерзости... А может, она тоже видала... Боже мой, никогда мне еще не было так плохо...»

Он уткнул лицо в складки ковра, тяжелые, пахнущие нафталином. Чтоб отвлечься, он решил понаблюдать за своим телом. Оно зудело, ныло, чесалось. Как только он начал наблюдать, оно зачесалось еще больше, зудящие точки возникали торопливо в разных концах, вначале начало пощипывать даже приятно, словно изнутри, из-под кожи, но потом Ким почувствовал, что не может более лежать неподвижно, к тому ж в животе бурлило, под горлом подташнивало, и он вынужден был ладонями начать массировать живот и сердце, а также почесывать особенно зудящие места, хоть движением локтей рисковал привлечь внимание. Наконец послышалось звяканье собираемых тарелок, к которому он прислушивался с колотящимся сердцем и большой надеждой, так как окончание завтрака, возможно, облегчило бы его муки. И действительно, шаги удалились, стало тихо. Чтоб не привлечь внимания, Ким протянул щеку, не отрывая от подушки, ощутив губами прелый вкус застиранной наволочки. Предосторожности оказались излишними, он был один в комнате. Ким полежал еще некоторое время, словно парализованный, затем вскочил, ругая себя мысленно за потерянные драгоценные секунды, и начал торопливо одеваться, с беспокойством поглядывая на дверь кухни, откуда слышалось звяканье посуды и плеск воды. Белье на нем было давно не стиранное, скользкое и лопнувшее на коленях. Он надел две рубашки: под низ — шелковую, когда-то выходную, а теперь обтрепанную, неумело зашитую у воротника и на спине, сверху — плотную, еще довольно новую и приличную. Брюки у него были тоже приличные, куп-

ленные на последнюю университетскую стипендию. Застегнув брюки, он поставил голые ступни на ботинки и начал вытряхивать из носков обрывки газетной бумаги, которой оборачивал ноги от мороза. Ким осторожно потер пальцы ног ладонями, прикосновения были приятны, под набрякшей кожей появлялись белые пятна, которые медленно розовели, потом вновь заплывали воспаленной краснотой. Он послушно вынул воспаленные места, вынул из брючного кармана свежую газету, специально припасенную, начал оборачивать ею ступни и вдруг опомнился, посмотрел на дверь кухни, где плеск воды уже прекратился.

Он лихорадочно сунул назад в карман газету, собрал ладонями с пола кучку старых газетных обрывков и также высыпал их в карман, натянул носки, свитер, ботинки. Куртка его вместе с пальто и шапкой висели в передней, Ким осторожно пошел туда, ступая с носка на пятку, он вычитал где-то: так бесшумно ходят следопыты.

«Только б не увидела, — мысленно шептал он, — Бог, милый Бог... То есть, тьфу, о чем я... Впрочем, никто не слышит... В детской книжке, в забытой сказке так молится принцесса... Ой, какая ерунда... Только б оказаться на улице...»

Он прижался к старому шкафу, постоял, вдыхая запах прелых вещей и кошачьего помета, шагнул к вешалке. Лидия Кирилловна стояла в дверном проеме кухни.

— Здравствуйте, — сказал Ким удивительно спокойным голосом.

— Здравствуй, — сказала Лидия Кирилловна, — уходишь?.. Катя в библиотеке...

«Не знает, — подумал Ким, — не сказала...»

Он сорвал шапку, куртку, пальто, забыв попрощаться, рванул дверь, выскочил, побежал, прыгая через ступеньки и торопливо пошел, оглядываясь на дом с фигурными балконами, ибо твердо знал, что никогда

больше не появится в этом переулке. День был солнечный, но морозный. Ступни, не обернутые газетой, быстро ооченели. К тому же шнурки ботинок густо покрывали узлы, обычно, шнуруя их, Ким старался затягивать так, чтоб узлы не давили жилы, однако сейчас, впопыхах, он придавил этими узлами жилы в нескольких местах. Вокруг торопливо шагали люди, выдыхая пар, освещенные морозным солнцем.

«Куда деваться, — подумал Ким, — поеду на рудник, полежу в общежитии, знобит».

Он захотел есть, вошел в досчатый павильон, надеясь выпить горячего кофе с пончиками, однако буфетчица в белой куртке поверх шубы торговала лишь мороженым. Ким купил двести грамм в костяной чашечке, он подолгу держал во рту каждый комок, согревая и после этого проглатывая сладковатую жижу. Рядом с павильоном располагался такой же досчатый кинотеатр. Очевидно, ранее это был летний кинотеатр, теперь же его перекрыли, утеплили, сделали круглогодичным. Зал был тускло освещен, на оштукатуренных стенах поблескивал иней. В углу уборщица в валенках топила большую железную печь. Когда погас свет, слышались свистки сидящих в первых рядах мальчишек, по потолку замелькали лучи карманных фонариков. Показывали хронику военных лет. Стреляли «катюши», грохотали танки. Мальчишки были от восторга.

— Тихо! — неожиданно выкрикнул пожилой гражданин, сидящий слева от Кима, и зааплодировал. Аплодисменты раздались во всех концах зала. К трибуне шел Сталин. Показывали первомайскую демонстрацию. Раскаленной от солнца Красной площадью двигались по-летнему одетые люди, счастливо улыбаясь. Озноб исчез, Киму стало жарко, он выпрямился. Едва на экране вновь появился Сталин, он зааплодировал так сильно, что толкнул несколько раз локтем пожилого соседа. Вернее, локти их, вибрирующие в

неистовом восторге, несколько раз больно сталкивались. Вправо от Кима узколицый парень безмолвно шевелил губами, полный радостного благоговения. Сталин был в мундире генералиссимуса, фуражка его, отороченная вензелями, была несколько сбита набок. Ким еще никогда не видал в хронике Сталина, которого бы показывали так долго, подробно, и именно потому, что Сталин существовал всегда, с тех пор как Ким себя помнил, и облик его был знаком в основном по грудь из-за поясных портретов и бюстов, которых было большинство, Ким будто впервые разглядел это привычное поясное изображение, передвигавшееся теперь на удивительно маленьких ногах, менее привычных, лишенных величия, невзирая на лампасы, и невольно заставлявших обнаруживать и в верхней, знакомой половине новые черты, почему-то пугавшие. Сталин оказался значительно ниже ростом, чем Ким предполагал, лицо покрывали морщины, старческие складки висели на подбородке, под глазами набрякли мешки, и вдруг, на очень короткое мгновение, Киму показалось, что Сталин исчез, а на трибуне стоит усталый незнакомый старик. Мысль эта была так ужасна, что Ким схватился за голову, огляделся.

«Все из-за ночи, — подумал Ким, — я устал, я измучен и, может, болен».

На экране продолжалась демонстрация. Крупно показывали парня, очень похожего на узколицего соседа. Парень шел, повернув голову к трибуне, подобно слепому задрав подбородок, полукрив рот, вытянув губы. Лицо его окаменело, ни восторга, ни радости не было на нем, вообще с него исчезли все обычные человеческие чувства. Скорее это был смиренный экстаз перед чудом. Возможно, так пещерные люди впервые смотрели на падающий метеорит. На груди у парня висел аккордеон, о котором он, по-видимому, забыл. Сталин тоже заметил парня, улыбнулся, согнул руки в локтях, сжал кулаки и несколько раз дви-

нул их навстречу друг другу, имитируя игру на аккордеоне. Парень спохватился, растянул меха, и Сталин рассмеялся, зааплодировал. Зал кинотеатра неистовствовал. Веселый смех, аплодисменты, шутки слышались отовсюду.

— Вот это парняга, — повторял восторженно Ким, — какой Иосиф Виссарионович веселый парняга. — Вдруг он испуганно огляделся, не слышал ли кто, как он назвал Сталина парнягой, но каждый смотрел только на экран, у пожилого соседа умильно трясся обросший седой щетинкой подбородок.

После сеанса зрители вывалили толпой в боковой двор, а оттуда через ворота на улицу. Несколько минут они шли вместе, отличаясь от согнутых морозом, торопливо бегущих прохожих. Зрители одинаково шурились, понимали друг друга с полуслова, улыбаясь общим мыслям и напевая бравурные марши. Потом зрители начали рассасываться, исчезать. Ким пошел с узколицим соседом. Сосед достал коробку «казбека», протянул толстую папиросу, Ким взял, хоть и не курил, начал неумело прикуривать, тыкаться папиросой в огонек списки, который узколиций прикрыл ладонями.

— Ты табак разомни, — сказал узколиций.

Ким помял хрустящий кончик папиросы пальцами, затянулся, сплюнул.

— Старенький уже Иосиф Виссарионович, — сказал он вдруг.

— Да, — ответил узколиций, — я и сам заметил... А если...

— Не надо! — крикнул Ким и так сильно взмахнул руками, что папироса выпала и, шипя, погасла в сугробе, — не надо даже об этом думать... мне кажется, тогда все кончится... Я не представляю себе... Я в шахте работаю... Когда руду вырабатывают, камеры остаются... Сто метров ширина, пятьдесят глу-

бина... Сплошной мрак... Думать об этом, понимаешь, словно в такую камеру заглядывать...

— Ничего, — обнадеживающе сказал узколицый, — еще лет тридцать проживет... А то и сто... Теперь возле него отечественная медицина дежурит... Отравителей скоро расстреляют, так что беспокоиться нечего... Отечественная медицина, это брат ты мой... У нее приоритет... Вон артистке Орловой омоложение сделали... Так это ж артистке, а он вождь... Пересадят сердце молодого, легкие там, селезенку всякую... Любой отдаст... Я отдам, ты отдашь...

— Конечно, отдам! — крикнул Ким с жаром, даже несколько испуганно, точно боясь, что узколицый заподозрит его в нежелании отдать свое сердце.

Они шли по замерзшему бульвару, на спинках занесенных снегом скамеек сидели вороны. Бульвар был огражден железной решеткой, точно такой же, как и городской сад, видно, изготовленной по одному заказу, но оканчивался старыми гранитными столбиками, меж которыми провисали очень красиво цепи. У столбиков узколицый протянул Киму еще одну папиросу, дал прикурить, кивнул, пересек мостовую и вскоре исчез в переулке. Ким постоял некоторое время, сбивая снег с цепей ботинком. Возбуждение улеглось, и он почувствовал мороз, ступни оковенели, он попробовал поджать пальцы ног в ботинках, чтобы разогреть их. Вдруг прилив стыда необычайной силы возник и опрокинул его грудью на гранитный столб. Он лежал так, зарываясь лицом в снеговую шапку, покрывающую столбик сверху, словно пытаясь спрятаться от видений ночи. Потом, обессиленный, он долго рылся в карманах, не совсем ясно сознавая, что именно ищет, пока не ощупал единственную бумажку.

«Достать денег, — с облегчением подумал Ким, — Зон обещал... Уеду сейчас, полежу в общежитии на койке, посплю...»

Прямо перед ним виднелось знакомое розовое здание железорудного треста, возле которого должны быть телефонные будки.

И действительно, Ким очень скоро нашел такую будку, промерзшую насквозь, заперся там, достал записку с телефоном и, отогревая во рту коченеющие пальцы, набрал номер, ужасно волнуясь. К телефону долго не подходили, наконец кто-то снял трубку.

— Зон, — крикнул Ким, — Зон, это ты?

— Вам кого, — удивленно спросил мужской голос.

— Мне Зона... То есть Сению, — торопливо выпалил Ким имя, Бог весть откуда выплывшее, — черненький такой...

— Сейчас он подойдет, — сказал мужчина.

— Алло, — сказал Зон.

— Здравствуй, — крикнул Ким, — это я... Узнаешь.

— Узнаю... Дверь захлопнул?

— Захлопнул... Как у тебя?

— Все в порядке... Знаешь, я поговорил с Федей... Это помощник начальника участка... Сейчас ему должны дать участок... Новый горизонт нарезаем... Он тебя возьмет... Заработки там хорошие...

— Спасибо, Зон, — сказал Ким.

— Ну, звони... Приедешь на рудник, заходи...

— Зон, — сказал Ким, — мне надо тебя видеть...

— Хорошо, заходи утром...

— Нет, Зон, мне надо сейчас...

В трубке молча дышали.

— Зон... Мне обязательно... Я... Я тебе потом объясню...

— Хорошо, — сказал Зон. — Приходи...

Трубка шелкнула.

— Зон, — завопил Ким, — подожди.

— Зачем ты так кричишь, — спросил Зон. — Что случилось?

— Ничего, я думал, ты положил трубку... Скажи адрес...

— Это возле городского сада, — добавил Зон.

— Знаю, — обрадовался Ким. — Я знаю, где городской сад.

Ким опустил трубку, аккуратно вдел в рычажок, перебежал через дорогу, чтоб идти по противоположной от гостиницы «Руда» стороне и, несмотря на усталость, пошел так быстро, что вскоре оказался у городского сада с розовым от солнца снегом. Но криков детворы теперь слышно не было, очевидно, из-за мороза. Какой-то закутанный башлыком прохожий показал ему улицу. Дом был двухэтажный, однако, в отличие от Катиного, довольно ветхий. Нижний этаж каменный, верхний — деревянный, надстройка. Ким вошел в подъезд, спросил квартиру у женщины, трущей на лестнице снегом ковер.

— Это во двор надо, — сказала женщина, — второй этаж имеет отдельный вход.

Ким свернул во двор, поднялся наружной деревянной лестницей к галерее, оттуда вышел в коридор, где пахло мыльной водой и разваренной картошкой, с трудом разглядывая в темноте двери, так как свет проникал лишь в конце окна, кажется, прикрытого ставнями. Наконец он нашел нужную дверь, у самого окна, которое было не прикрыто ставнями, а просто забито фанерой, кусок грязного стекла вставлен был только в верхнюю часть рамы. Ким поискал глазами звонок, не нашел его и постучал в дверь, вначале костяшками пальцев, затем кулаком. Он прислушался, хотел ударить кулаком еще раз, уже посильнее, но за дверью послышались шаги.

Зон был в дорогом бостоновом костюме, темно-синем, и шелковой полосатой рубашке. Он сразу схватил Кима об руку, сжал локоть так больно, точно боялся, что Ким вырвется, и поволок в коридор. Ким успел лишь заметить оклеенную газетами переднюю комнату или кухню, где что-то жарилось на примусе. Зон подвел Кима к заколоченному окну, спросил, по-прежнему сжимая локоть:

— Что?

— Мне нужны деньги, — сказал Ким, — я отдам с аванса... Ты извини... Я, может, не вовремя.

— Что ты, что ты, — сказал Зон и выпустил локоть Кима. — Что ты... Ко мне в любой момент... Ночуй, пей... А здесь обстановка... Больной человек...

Из двери выглянула женщина.

— Сеня, — позвала женщина, — он ест и успокоился... Это не припадок, он просто был голоден... С кем это ты?

— Ко мне пришел товарищ по работе, — ответил Зон.

Женщина подошла ближе. Она была курносой и голубоглазой, чем-то напоминала Катю, только сильно постаревшую и перенесшую болезнь. Впечатление перенесенной болезни создавалось коротко стриженными, спрятанными под косынку волосами да провисшими пористыми складками кожи, которые остаются после отеков лица. Губы ее тоже были с молочным, болезненным оттенком, особенно по краям, и слегка подкрашены помадой, зато шея длинная, нежных плавных линий, совсем молодая. Одета женщина была бедно: нитяная кофточка, юбка, прикрывающая колени. Ноги у женщины были красивыми, продолговатыми, с крепкими аккуратными икрами, обтянутыми шелковыми чулками, единственной дорогой частью туалета.

— Пригласи товарища зайти, — кивнув Киму, сказала женщина, — Матвей ест... Я-то его изучила, припадок это или просто от голода... Он ссорится с моим братом, — обернулась вдруг женщина к Киму, — мой брат несчастный человек... Шизофреник... Говорит глупости... А он с ним спорит... Обижается... Конечно, это ужасно... Но в психиатричку я его не отдам... Он там погибнет... Тем более, припадки у него изредка...

— Майя, — сказал сердито Зон, — зачем ты говоришь лишнее...

— Да, — сказала Майя, — я выпила... У нас ведь гулянка... Пойдемте, даже шампанское еще есть...

Она взяла Кима за руку и потащила к дверям. Ручка у нее была маленькая, мягкая, как у Кати. В оклеенной газетами передней, которая одновременно служила и кухней, Ким разделся. Примус уже был погашен и жареная рыба сложена в эмалированную мисочку. Следующая комната оказалась довольно просторной, в двух углах стояли ширмы, очевидно, скрывающие постели. За длинным раздвижным столом расположились гости, человек шесть, но что особенно поразило Кима, в комнате было очень тихо, друг с другом гости не общались, молча жевали, бесшумно двигая челюстями. Иногда кто-либо наливал себе водки и выпивал в одиночку, не чокаясь.

— Почему они молчат, — шепотом спросил у Майи Ким.

— Здесь, была неловкая сцена, — тоже шепотом ответила Майя, — незадолго до вашего прихода... Мой брат шизофреник. Он плюнул Сене в лицо... Он не попал, — тотчас же испуганно, торопливо пояснила она, — он оплевал себе грудь... Я говорю лишнее... Давайте выпьем...

Ким несколько оторопело уселся рядом с Майей и неожиданно жадно выпил полный граненый стакан водки, от которого сразу опьянел, но не весело, с при-

ятным головокружением, как у Кати, а тяжело и нехорошо. Может, этому способствовала и закуска, в основном, по-видимому, остатки от новогодней встречи: затвердевшие ломтики сыра, подернутая несвежей пленкой колбаса, резанная не сегодня, искромсанный студень, возможно, даже были ранее недоеденные куски, собранные с тарелок назад в блюдо. Кусок, который Майя положила Киму, был с угла измазан пеплом папиросы.

— У меня ведь день рождения, — сказала Майя, — конечно, отметили его вместе с Новым годом... Но сегодня тоже решили... круглая дата... Кроме того, брат... Он у меня впервые на дне рождения... После длительного перерыва... Вы почему не закусываете?

— Пепел, — сказал Ким, — студень измазан пеплом...

— Ах, извините, — Майя покраснела, отодвинула тарелку со студнем, ушла и принесла, поставила перед Кимом две жареные свежие рыбешки, приятно пахнущие, которые Ким начал обглаживать, особенно лакомясь сладковатой кожицей, снаружи похрустывающей, а изнутри влажной, смоченной вязким соком.

— Зон, — позвал Ким.

— Что ты хотел, — спросил Зон, появляясь откуда-то сбоку.

— Я хочу рассказать Майе о своем отце.

— Ну, расскажи, — ответил Зон.

— Ты одобряешь?

— Дело твое, — ответил Зон, исчезая.

— Понимаешь, Майя, — сказал Ким, — во время войны готовилась крупная операция... Отец командовал крупным соединением, — Ким хитро прищурился, — неважно каким... Энским... Начало операции должны были возвестить ракеты... В определенном порядке, определенного цвета... Однако гестапо подослало шпионов... и пользуясь ротозейством начальника

штаба... И вот... И отец тоже пострадал... — Киму стало ужасно горько, тяжело в груди, хоть он знал, что популярно рассказывает брошюрку из «Библиотеки приключений». Ким подвинул к себе вновь тарелку со студнем и надкусил почему-то нарочно в том месте, где застывший белый жир был измазан пеплом.

— Проклятый изменник, — сказал он вдруг незнакомым голосом, твердо произнося буквы, — предатель родины... Я с ним давно ничего общего... Он и матери изменял... Он... Он... — голос Кима сорвался, перешел на торопливое шипящее бормотанье. — Мы с ним и раньше не жили... Я... У меня вообще, может, другой отец...

И тут он заметил, что один за столом. Вернее, он и раньше видел, что Майя слушает невнимательно, а затем и вовсе ушла, еще с самого начала, когда он лишь начинал передавать содержание недавно прочитанной брошюрки из серии «Библиотека приключений». Однако он продолжал говорить сам себе, словно играя с собой в прятки, не замечая одиночества, и от этого ему сейчас стало особенно плохо, потому что если б его слушала Майя или пусть даже кто другой, тогда всё, что он говорил, имело б хоть какое-нибудь объяснение или оправдание, ибо теперь совершенная им пакость становилась бескорыстной, а потому особенно невыносимой. Неожиданно Ким услышал поскрипывание лодочных уключин, что явно свидетельствовало о болезненном состоянии, но безликие гости тоже встревожились, значит, поскрипывание нельзя было отнести ни за счет головной боли, ни за счет опьянения.

Гости торопливо уходили, толпясь в дверном проеме, слишком узком сразу для шестерых. Ким встал, отвалился от стола, припал к стене и увидел странного человека, выезжающего из-за ширмы в кресле на колесиках, которые и издавали поскрипывание. Человек как раз поворачивал, придерживая одной рукой левое

колесико и усиленно вращая второй рукой правое. Кресло скорее напоминало высокий стульчик для годовалых детей, только увеличенного размера. Концы подлокотников были соединены полочкой, мешающей выпасть из кресла вперед, другая полочка располагалась внизу, служила опорой ног. Человек был в военной гимнастерке, старой и застиранной, но чистой, аккуратно разглаженной, с ослепительно белым подворотничком. Гимнастерку перехватывал командирский ремень с портупеей. На человеке были синие галифе, заправленные в блестящие от гуталина сапоги. Он был такой же голубоглазый, курносый, как и Майя, редкие русые волосы слиплись на лбу, наверно, передвижение и особенно поворот потребовали значительных усилий.

— Матвей, — торопливо становясь меж креслом и Зоном, сказала Майя, — опять, опять... Ты ведь обещал мне...

— Подожди, — сказал Матвей, — я хочу извиниться... Сеня, милый, прости мне этот плевок... Ты достоин настоящего мужского удара... Не женской пощечины, а настоящего, кулаком в зубы... Мы б подрались, потом, может, стали б друзьями... Мой лучший друг... Покойник... Мы с ним тоже... Но я парализован... Ты сам это видишь, и потому плюнул... от бессилия... А не потому, что ты гадина, достойная лишь плевка.

— Что он говорит, — сердито крикнул Майе Зон, — увези его за ширму...

Матвей вдруг улыбнулся.

— Ты похож на литовского министра, — сказал он.

— Какого литовского министра, — крикнул Зон, — у него начинается припадок...

— Министра Литвы, — улыбаясь, повторил Матвей, — мы вместе работали... Человек он дрянной, ты все-таки намного лучше. Склонный, злой и землекоп

никудашный... Но умница... Мы с ним сходились, толковали в свободное время... Буржуазной Литвы министр... Он Древним Римом занимался раньше... Я тоже, когда студентом был... До армии... Интересное дело, — Матвей сжал ладонями щеки. — Ты заметил, режим тирании возникал чаще всего от усталости, от стремления человека получить счастье наиболее простым, легким путем... Ты только не спорь... Я вижу, ты опять волнуешься... Дело не в спорах... Я над этим долго думал. Преклонение перед властью, если только оно искренне, чисто и бездумно, приносит наслаждение необычайно сильное и значительно превышающее наслаждение властью, которое никогда не может достигнуть той полноты, того самозабвения... Искренний раб всегда счастливей своего господина, и одной из причин, толкающих тирана на репрессии и жестокости, причин подспудных, в которых он сам себе не признается, является его зависть к своим до глубины души счастливым обожателям... Тиран всегда глубоко несчастен...

Матвей говорил теперь, сосредоточенно морща лоб, изредка он прикасался пальцами к прилипшим прядям волос, точно хотел убрать их, но забывал об этом, вновь опускал руки на полочку перед собой.

— Матвей Павлович, — сказал Зон, — я понимаю вас... Но поймите и меня... Поймите свою измученную сестру... Вы лицо безответственное... Но судьба вашей сестры для меня далеко не безразлична...

— Оставь, Сеня, — сказала Майя, — ты волнуешься, и вы опять поссоритесь...

— Нет, подожди, — крикнул Зон, — советская власть сделала меня инженером... И что б там ни было... мне эти березки... в общем Россия... я готов копать землю, если потребуется... И я презираю тех, кто плюет в сторону, откуда он получает хлеб и сало.

— Да, — тихо сказал Матвей, — я знаю, что без тебя мы б с сестрой голодали... Сестра кладовщик в

детсаду... Копейки, конечно... Я знаю... Думаешь, я не догадываюсь... Допустим, ты это делаешь не ради меня, ради сестры... Допустим... Но наши родственники... Они все отвернулись... И в Москве, и где угодно... А ты помогаешь...

— Матвей Павлович, — сказал торопливо Зон, — поверьте, я не намекал... Я говорил абстрактно... В основном о себе... У меня иногда тоже возникает подобная мысль... Когда я пьян или расстроен... Поэтому мне особенно неприятно слышать со стороны...

— Милый Сеня, — медленно сказал Матвей, — какой бы ты был замечательный человек, если б у тебя для этого была малейшая возможность...

— Матвей, хочешь чаю, — спросила Майя.

— Вина, — сказал Матвей, — хоть полрюмки... Я хочу выпить за ваше счастье... А кто это? — заметил он вдруг прилипшего к стене Кима.

— Это мой товарищ по работе, — сказал Зон.

Матвей пристально посмотрел, протянул вперед руку с подрагивающими растопыренными пальцами и сказал с дрожью в голосе.

— Юноша, дай мне свою руку...

— Перестань, Матвей, — сказала Майя, — это у него на нервной почве... Он у всех просит руку... У каждого нового человека... К нам редко ходят... Гости сегодня пришли, я их предупредила, чтобы они не обращали внимания... А с водопроводчиком получился скандал. Я была на кухне...

— Да, — сказал Матвей, — он думал, я прошу папиросы, протянул пачку, а когда я хотел поддержать его руку, вырвался и начал материться... Ты ведь тоже, Сеня... Я в тебя плюнул из-за руки... Я понимаю, тут не презрение... Просто прихоть сумасшедшего унижает тебя... Прихоть слабого унижает... Юноша, — повернулся Матвей опять к Киму, — я давно не держал молодой ладони... Мы с сестрой сидим иногда

вдвоем, я держу ее ладонь... Но я хочу чувствовать и другие ладони... У меня парализованы ноги...

— Не обращайтесь внимания, — сказала Киму Майя, однако Ким оторвался от стены, подошел, протянул руку, и Матвей Павлович жадно схватил ее сухими дрожащими пальцами, глядя, ощупывая. Лицо его покраснело, оживилось.

— Давайте выпьем, — радостно сказал он.

Майя налила четыре рюмки, вино было вкусным, холодноватым. Матвей Павлович выпил свою, не выпуская ладони Кима, поставил пустую рюмку на полочку перед собой. Глаза его блеснули...

— Молодость, — мечтательно сказал Матвей Павлович, — но пасаран! — неожиданно крикнул он удивительно молодым голосом, — они не пройдут... Это по-испански, — он перехватил ладонь Кима левой рукой, а правую согнул в локте, сжав пальцы в кулак, тощий до прозрачности. — Смерть фашизму! — крикнул Матвей Павлович. — Испания, — счастливо смеясь повторял он, — какие ребята... Интербригада... Танки горели, как солома, — выкрикивал он так громко, что на столе что-то звякнуло, покатилося, — но пасаран! Знаешь, юноша, как летели головы... На тебя «хеншель» пикирует, а ты стоишь и хрен ему в глотку...

— Не надо было давать вина, — сказал Зон, — это начинается припадок... Я вижу по пятнам на лице...

— Матвей, — сказала Майя, — пойдем спать... Уже пора, — она пыталась разжать его пальцы, чтоб освободить ладонь Кима, но Матвей Павлович вцепился мертвой хваткой, сжал так, что Ким вздрогнул от боли.

— Подожди, — сказал Матвей Павлович, — я сейчас сам отпущу, — и вдруг запел какую-то иностранную песню, очевидно, испанскую. Первый куплет он пропел довольно мелодично, хоть и сорванным голосом, а потом начал хрипеть, однако лицо его

по-прежнему улыбалось и было полно вдохновения. Подошел Зон, и они вдвоем с Майей высвободили ладонь Кима. Потом Майя увезла продолжавшего хрипеть и улыбаться Матвея Павловича за ширму. Ким постоял, разминая слипшиеся пальцы, особенно сильно ноющие в суставах, покрутил шеей, чтоб хоть немного унять разламывающуюся от боли голову, болело полосами, тянущимися от затылка через череп к бровям.

— Зон, — сказал он, едва шевеля губами, уставая от каждого слова, — Зон, никогда мой отец не изменял матери... Какая подлая выдумка...

— О чем ты, — удивленно спросил Зон, — ложись спать, тебе сейчас на раскладушке постелят... Если хочешь, можешь выйти, помыться и так далее... В переднюю и налево дверца...

Ким вошел в переднюю, а оттуда в умывальник. Он долго стоял с закрытыми глазами, уткнувшись в раковину, не без некоторого удовольствия чувствуя, как из него вытекают последние остатки сил. Вдруг ему представилась чайная в районном городке, где он был мимоходом несколько лет назад, та самая чайная, о которой он иногда почему-то вспоминал без видимой причины. В данную минуту чайная, конечно, закрыта, столы сдвинуты, царит покой и полумрак. Он грыз холодные твердые яблоки, хоть они и отвлекали. Два чувства боролись в нем: наслаждение покоем и возбуждающее наслаждение терпким яблочным соком. Кусочек яблока попал ему в дупло зуба, он принялсяковыряться во рту пальцами и проснулся. Он спал стоя, согнув колени, прислонившись к умывальнику. Зуб действительно побаливал. Ким сплюнул клейкую слюну, сполоснул лицо, вытерся носовым платком и вернулся в комнату. Свет был погашен, горела лишь стоящая на полу, подключенная к розетке настольная лампа. Тихо шипела патефонная пластинка, Зон и Майя танцевали на цыпочках, чтобы не производить

шума. Майя положила Зону голову на грудь, лицо ее посвежело, может оттого, что при тусклом свете не видны были следы отеков. Зон осторожно ласкал пальцами Майину шею, иногда он наклонялся и прикасался губами то к Майиному носику, то к виску, где курчавились русые, отрастающие волосы. Увидав Кима, Майя кивнула на угол, на появившуюся еще одну ширму. Сквозь ситцевую ширму Ким некоторое время видел две ритмично движущиеся прислоненные друг к другу тени, потом он заснул, время от времени ощущая себя во сне, наверно, из-за непроходящей головной боли и подергивания зуба. Проснулся он также с головной болью, правда, приглушенной, зуб же вовсе не болел. Было уже утро, судя по густо замерзшему окну, очень холодное.

Ким начал одеваться, прислушиваясь к непонятному плеску воды из-за ширмы. Ступни ног он обернул газетой, сверху натянул носки. Газета топорщилась и покалывала, но он знал, что минут через двадцать она притрется, уляжется по ноге. В комнате было очень чисто прибрано, стол сдвинут и застлан желтой скатертью. У противоположной стены сидел в своем кресле Матвей Павлович, командирский ремень и портупей висели на спинке кресла, рукава гимнастерки, аккуратно подвернутые, обнажали мускулистые руки. Перед Матвеем Павловичем стояла на табурете миска, полная мыльной воды, и он стирал в ней, довольно умело и ловко, белье. Рядом на стуле, покрытом клеенкой, лежала горка уже выстиранных подворотничков, майка-тельняшка и женский бюстгальтер.

— Здравствуйте, — сказал Ким.

— Здравствуй, — ответил Матвей Павлович, торопливо прикрывая бюстгальтер тельняшкой, — тебе Сеня деньги оставил... Возьми на столе... его вызвали часа два назад, он уехал.

Ким взял деньги, попрощался и подумал, что и сюда он, пожалуй, больше не придет. В коридоре у

некоторых дверей прямо на полу шипели примуса, клокотало варево. Ким быстро пошел, огибая городской сад, чугунная ограда побелела от мороза. Ресторану гостиницы «Руда» привезли мясо, синие громадные куски, которые от мороза стучали как деревянные. Рабочие вваливали их на спину и несли к служебной двери, отталкивая ногами собак. Ким остановился, перебежал на противоположную от гостиницы сторону и пошел к железнодорожному тресту, возле которого останавливался автобус. Он поехал, однако поездки этой не заметил, как бы глубоко спал наяву, потеряв себя до того, что даже перестал ощущать головную боль, и вышел из оцепенения, лишь переходя железнодорожные пути под рудничными бункерами.

У Дома культуры было многолюдно, но тихо. Ким вошел в толпу, скользя мимо лиц, сплошь незнакомых и угрюмых. В вестибюле Дома культуры, тоже многолюдном, шуршали ленты новогоднего серпантина, золотистый «дождик», пересекавший ранее вестибюль от стены к стене, был сорван, свисал в углах, словно паутина. Ковровая дорожка лестницы, ведущей на второй этаж, пестрела, засыпанная кружками конфетти. Ким вошел в верхний зал, протиснувшись мимо неподвижных спин. Вереница гробов стояла среди зала на возвышенности, образованной сдвинутыми вместе, покрытыми черным бархатом столами. В первом, самом большом и полированном гробу лежал начальник, одетый в черный суконный костюм. Руки его были почему-то в перчатках, скрюченные пальцы утопали в ворохе бумажных цветов. Голова начальника была покрыта большим белоснежным платком, несколько сдвинувшимся и обнажившим часть лица, искаженного мукой, с изломанными полукруглыми губами. Рядом с начальником лежали в свежеструганых гробах мальчишки-фезеушники, одетые в форменные куртки с молоточками на петлицах.

Здесь тоже были бумажные цветы, правда, немного, и кто-то для украшения кинул на мальчиков несколько елочных серпантинных лент. На одном из мальчиков поблескивал искусственными листьями венок. Вдруг Ким узнал в мальчике, покрытом венком, кучерявого, который балуясь пинался с Колюшей. Колюша лежал от венка через одного. Лицо его было бледным, но с каким-то живым оттенком озорства, казалось, он нарочно вставил себе вместо глаз в глазницы розовые пучки ваты. Навощенный пол зала, среди которого стояли столы с гробами, тоже был густо усыпан кружками конфетти, лентами серпантина, кое-где торопливо сметенными в кучки к роялю. Неожиданно по залу прошумел ветерок.

— Хозяин, — шепнул кто-то рядом.

Коренастый человек в кожаном пальто с траурной повязкой на рукаве прошел и стал в почетный караул у изголовья начальника, скорбно склонив чуть вправо голову. Он шепнул что-то сопровождавшим его людям, один из них, лысый и низенький, кончиками пальцев натянул сбившийся платок, прикрыл лицо начальника. В то же мгновение заголосила толстая женщина в пальто с лисой-чернобуркой, очевидно, вдова начальника. Ранее отдыхавшие в углу оркестранты взяли трубы, заиграли траурную мелодию. В толпе суетился фотограф, устанавливал треногу, деловито закрепляя винты. Он снял крупно начальника, потом оттащил аппарат назад, сердито отталкивая народ, расчищая дорогу, и снял всех вместе общим планом, потом вновь двинулся вперед, повернул аппарат, снял крупно кучерявого мальчика, покрытого венком.

— Этого родители забирают, — сказала женщина в пуховом платке, — остальные детдомовские... У нас похоронят...

Вдруг Ким увидел Зона, сменившего «хозяина» в почетном карауле, и пригнулся, чтоб Зон не заметил, ибо очень боялся встретиться теперь с ним взглядом.

Из-под драпового, отлично сшитого пальто Зона виднелись бостоновые синие брюки, наспех заправленные в кирзовые сапоги. Оркестранты пошли к выходу, народ потянулся следом. Стали поднимать гробы.

— Подсоби, парень, — сказал Киму мужчина с носом, густо иссеченным у ноздрей красными и фиолетовыми жилками, — крайний отодвинуть надо, чтоб нашего вытащить.

Ким пошел за мужчиной, но какой-то администратор, быстро вращавший лысой головой в разные стороны и дававший указания одновременно подсобным рабочим, фотографу и оркестрантам, возражал мужчине, не позволял трогать гроб.

— После траурного митинга, пожалуйста, — говорил администратор, — у меня указание...

— Нам семьдесят километров ехать, — говорил мужчина, часто прикладывая к носу платок, — дорогу занесло...

— После митинга, — повторял администратор, — машину рудник вам выделяет бесплатно... Так или не так?.. Поставите еще от себя шоферу поллитра, довезет... Так или не так?..

Наконец они столковались, перейдя на шепот.

— Давай, парень, — сказал мужчина и вынул кошелек, — червонца тебе хватит?..

— Что вы, — сказал Ким, — не надо...

Мужчина молча спрятал кошелек, обошел вокруг стола, стал со стороны головы кучерявого мальчика и начал осторожно сталкивать гроб на руки Кима и усатого сероглазого старика. Ким следил, как гроб, остро и свежо пахнувший лесом, медленно сползает, все тяжелее наваливаясь, потому что старик поддерживал свой конец нетвердо.

— Глубже руки просунь, — покрикивал мужчина, — вот так держите... Я сейчас обойду и подставлю плечо.

Крайний гроб подняли и понесли, держать стало легче, так как можно было свободнее развернуть локти. Понесли и Колюшу. Ким заметил, Колюшин затылок плотно залеплен пластырем, из-под которого выглядывали клочки розовой ваты, такой же, как в глазницах.

— Взяли, — скомандовал мужчина, — вы вдвоем спереди...

Старик прихрамывал, гроб дергался, больно бил по плечу. На лестнице сорвался, хрустнул под ногами венок.

— Чёрт с ним, — сказал мужчина, — где этот шофер девался. Слушай, — окликнул он человека в полушубке, — ты шофер? Где ж ты ходишь...

— Командировку подписывал, — сказал шофер, — в путевом листе у меня перевозка грунта... Бухгалтерия цепляется... Расценку завысил... С этого и начинается всё... Рабочему человеку копейку из глотки выдирать надо...

— Вот вспомнил, — сказал мужчина, — крышку ж гробовую не взяли... Шофер, поддержи, я сбегая... Я потом администратора не поймаю...

— Ладно, — сказал сероглазый старик, — дома свою сколотим...

— Не в том дело, — ответил мужчина, — снегу насыпет...

— Брезентом прикроем, — сказал шофер, — у меня есть в кабине...

— Я тебе твоего сына, конечно, хоронить не желаю, — сказал вдруг мужчина тихо и лицо его дернулось, — советы даешь... — Он махнул рукой и пошел вверх по лестнице.

— Шкуру с них драть, — сказал шофер, глядя перед собой, — это, может, вредительство... Падлы... Я б их всех пострелял... С портфелями ходят... Ты братуха? — спросил он Кима.

— Нет, — ответил Ким, — просто вместе работали...

Появился мужчина, прижав к груди свежеструганую некрашеную крышку гроба.

— Ну, спасибо, — сказал он Киму, — мы дальше сами...

Между тем народ уже двинулся, густо облепив три грузовика, ползущие на малой скорости. Впереди заплаканные девчонки из номерной несли венки, увитые черными лентами. Время от времени оркестр исполнял траурные мелодии. Кладбище было далеко, за поселком, за огородами с истрепанными ветром пугалами, за снежным полем, истыканным вышками разведочного бурения. На кладбище народ толпой сгрудился вокруг могилы, рядом с которой поставили полированный гроб начальника и спустили на канатах обелиск черного мрамора.

Мальчиков с грузовиков не сняли, их должны были хоронить чуть подальше в выкопанных по ранжиру могилах у кладбищенской стены. Вновь суетился фотограф, расчищая обзор, укрепляя треногу в снегу. Начался траурный митинг. «Хозяин» и группа лиц, его сопровождавших, в том числе Зон, забрались на грузовик.

— Нелепый случай вырвал из наших рядов, — сказал «хозяин», выдыхая пар, комкая в руках кожаную, обшитую черным каракулем ушанку, — унес в могилу нашего хорошо потрудившегося на благо родины ветерана и эти молодые жизни... Всякий, кто работал с покойником, знает, как самоотверженно и патриотично относился он к своим обязанностям, каким замечательным товарищем и честным советским гражданином он был...

Опять заголосила толстая женщина в пальто с лисой-чернобуркой. Ее держали об руки. Рядом стоял высокий военный, наверно, сын. Он что-то говорил и вытирал женщине лицо платком. Повалил густой

мелкий снег, больно хлеставший. Грузовики с мальчиками поехали дальше, буксуя на обледеневшей кладбищенской аллее. Администратор распоряжался, прикрываясь от снега и налетавших порывов ветра, с каждой секундой крепчавших, предвещавших буран. Подсобные рабочие прямо в кузове торопливо стучали молотками, заколачивали гробовые крышки. К администратору подбежал однорукий человек в каракулевой папахе и длинной черной шинели.

— Что вы делаете, — крикнул однорукий, — фамилии, фамилии согласно списку...

— У меня не десять рук, — крикнул администратор, разозленный ветром и холодом, но тут же осекся, очевидно, ему стало неловко, и он подумал, как бы однорукий не счел это за намек.

— Я распорядился сделать надписи на крышках чернилами, но помощники мои бездействуют... Мне приходится заниматься и оркестром, и фотографом, и легковой машиной для вдовы начальника, так как она несколько раз по дороге падала в обморок, и грузовой машиной для перевозки одного гроба по месту жительства... Причем учтите праздничные дни...

Рабочие спустили борта грузовиков и начали выносить заколоченные гробы, действительно ничем друг от друга не отличавшиеся, фамилии покойников можно было установить лишь вновь вскрыв крышки, на что администратор пойти не мог.

— Тем более, — сказал администратор, — ограду мы заказали общую... И общую плиту из песчаника, полированного, между прочим, на которой будут фамилии согласно списку...

Уже бушевал настоящий снег, потемнело, несмотря на то, что было не более трех часов дня. Рабочие принялись засыпать могилы. Народ расходился, растянувшись по дороге от кладбища длинной цепочкой. Ким тоже ушел, но не в общежитие, куда б следо-

вало ему пойти, так как мороз и ветер усиливались, а к шоссе.

«У Колюши глаза из орбит выбило, — подумал Ким, — в толпе рассказывали... Ударило по затылку и глаза выпали в лужу...»

Ким вдруг представил себе голубые Колюшины глаза, плавающие в луже шахтной воды на грунте выработки, припорошенные рудной пылью, освещенные штрековыми электролампами в колпаках.

Со стороны города показался автобус, и Ким побежал к нему изо всех сил, думая, что на бегу видение рассеется. Рудник, куда он приехал, располагался километрах в десяти от рудника, где он работал. Дом культуры точно такой, как и везде, выстроенный по типовому проекту, трехэтажный, с колоннами, лепными эмблемами и статуями, был здесь ярко освещен.

В вестибюле от стены к стене под потолком протянулись нити золотистого елочного «дождика», шуршали цветные ленты серпантина.

— Сильно ты пьян, — сказал распорядитель с красной повязкой, глядя Киму в лицо, — лучше пропись... Драку устроишь...

Но за Кима вступились курцы, которые по случаю метели курили не на улице, а в вестибюле. Один курец даже оттолкнул распорядителя, заботливо помог Киму раздеться и повел вверх, откуда слышался вальс. Дорожка, устлавшая лестницу, была усыпана кружками конфетти, и это сразу насторожило Кима, как во сне настораживает мелькнувшая, незначительная деталь из другого, кошмарного сна. Ким пытался выдернуть локоть, повернуть назад, однако новый товарищ держал цепко или просто силы исчезли, тело легко несло, повинувшись малейшему нажатию спутника. Они вошли в верхний зал, очень знакомый, с навоощенным полом, черным роялем и лентами серпантина. В центре зала, в том самом месте стояла вер-

ница белых столов и мальчики в форменных курточках, с молоточками на петлицах сидели вокруг.

— Вот и наши, — крикнул спутник.

Ким повернул голову и, положив подбородок для опоры на плечо, так как чувствовал сильную слабость в шейных позвонках, начал разглядывать человека, приведшего его сюда. Спутник был совсем еще мальчиком, кучерявым, тоже в форменной курточке. Щеки спутника заросли редкими волосами, длинным и нежным пушком, который он пока не брил, а очевидно подстригал ножницами.

— Это свой, — сказал кучерявый мальчишкам, — его внизу Змей не пускал.

Мальчики раздвинулись, и Ким сел среди них, ибо понимал, что пытаться уйти или хотя бы остаться стоять в дверях за спинами бесполезно.

— Ешь, кореш, — сказал Киму голубоглазый мальчик и подвинул тарелку с салным шницелем и плавающим в жире жареным картофелем, — раз в шахте работаешь, жирное есть надо...

Перед голубоглазым мальчиком стоял стакан дымящегося какао. Голубоглазый подцепил с тарелки большой кусок масла, грамм в пятьдесят, опустил его в какао, подождал, пока оно растаяло, превратилось в желтоватую пленку, а потом надпил, облизал жир с губ.

— Когда в шахте дышишь, пыль липнет к жиру, — сказал голубоглазый, — ты ее и выплевываешь...

— Пусть вина выпьет, — посоветовал сидящий с краю мальчик, тоже с очень знакомым лицом, — легче пойдет...

Киму подали вина, он выпил, надкусил шницель и, почувствовав внезапно проснувшийся голод, начал жадно есть.

— Здорово мнешь, — сказал голубоглазый, — ты осторожней, пупок развяжется...

Он протянул руки к самому лицу Кима, и вдруг что-то оглушительно хлопнуло, больно хлестнуло Кима по верхней губе. Запахло серой.

— Нарахался, — захохотал голубоглазый мальчик, помахивая дымящейся стреляной хлопушкой. Цветные кружки конфетти осыпали шницель, плавали в жире... Мальчики вокруг захохотали, кучерявый в свою очередь выхватил хлопушку и бахнул в голубоглазого так, что у того волосы взметнулись и задымались. Неожиданно мальчики притихли, переглянулись. Мимо прошел сухощавый человек, скуластый, покрытый морщинами. Рядом шли толстая женщина в бордовом платье и девочка лет пятнадцати, курносая с нежным овалом щек и русой косой.

— Три-четыре, — шепотом сказал голубоглазый, и все мальчики разом крикнули:

— С Новым годом, товарищ начальник!

А глухо, словно из-под стола, чей-то одинокий голос добавил:

— Надя, я тебя люблю...

Начальник сердито покосился на мальчиков, толстая женщина подхватила покрасневшую девочку, и они прошли дальше, где в открытые двери виден был другой зал и тоже стояли столы.

— Это Коля животом, — повизгивая от смеха, шептал Киму в ухо кучерявый.

Ким посмотрел на голубоглазого, который корчил гримасы в спину уходящего начальника. Голова кружилась, испуг рассеялся.

— Колюша, — сказал Ким и обнял голубоглазого через стол, — я нарахался, Колюша... Я думал, тебя угрбило... Тебе глаза выбило...

— Шухарной ты кореш, — смеясь сказал Колюша, — мы еще с тобой погуляем... Я Надьке записку написал... Видал, какие у нее губки...

— Колюша, — повторял Ким, крепко держа голубоглазого, пригибая его, точно пытаюсь прижать к

себе, но этому мешал стол, — Колюша, ты живи... Ты веревочку кидать умеешь?

Колюша захохотал.

— Ее в шахте с верхнего уступа кидать надо...

— Колюша, — повторял Ким, прислушиваясь к растущим с каждой секундой попискиваниям. Их пока удавалось остановить, потерявшись шеей о предплечье. Ладони Кима были заняты Колюшиным телом, теплота которого и шевелящиеся под пальцами мальчишечьи, неразвитые еще мышцы успокаивали. Мальчики сгрудились вокруг, он хотел потрогать их лица, удостовериться, однако его повели вниз и усадили на диван, рядом с другими фигурами, которые спали, некоторые запрокинув голову, а некоторые наоборот, склонившись к самому полу.

Какое-то мгновение он видел комнату, словно освещенную молнией. В ней стояли балалайки, домры, барабаны, знамена, плакаты и макет шахтного копра. Потом молния погасла, стало темно и полил дождь. Ким вышел из дому, забыв плащ, вернулся, но не мог найти плаща, потому что все лампочки перегорели. Он ходил по комнатам, по десяткам темных комнат и щелкал выключателями. Некоторые лампочки вспыхивали вполнакала, бессильные разогнать тьму, и сразу гасли, перегорая. После каждого удара грома комнаты наполнялись сладковатым запахом серы, пугающим и манящим. Несмотря на темноту, чувствовалось: комнаты эти совершенно пусты и так громадны, что, стоит оторваться от стен, сразу потеряешься.

Кима разбудил толчок, хоть сидел он на диване один. Рядом с ним лежали пальто и шапка. Он оделся, вышел в вестибюль, перешагивая через серпантинные ленты, оказался на улице. Мороз ослаб. Тихо шел снег, большие хлопья. Ярко освещенные электрические часы показывали половину пятого. Вереница фонарей уходила вдаль, освещая одинаковые дома с лепными эмблемами. И вдруг падающие хлопья, ночной воздух,

звезды, кое-где проглядывающие, деревья, покачивающие белыми ветвями, вызвали у Кима ненависть, сильную до омерзенья, и он удивился, как жил спокойно среди всего этого, а иногда даже этим восхищался. Со слезами умиления, как вспоминаются родные места, вспомнилась темная низкая выработка, покосившаяся, обросшая грибком стойка, склизкие бревна, перекрывающие камеры. Глыбы казались незначительным препятствием, тем более, что от них можно было легко увертываться, если умело шевелить телом и вращать шей.

«Сегодня утренняя смена, — подумал Ким, — очень скоро я всё это увижу...»

Он поднял воротник, чтоб не видеть ни фонарей, ни звезд, одну лишь снежную дорогу под ногами, и пошел к автобусной остановке. Главное теперь было быстрее опуститься в шахту.

(Окончание следует)

ГОРЕНШТЕЙН Фридрих — родился в 1932 году в Киеве. Окончил Высшие сценарные курсы при Союзе кинематографистов СССР. В начале шестидесятых годов в журнале «Юность» был напечатан его рассказ «Дом с башенкой», оказавшийся первой и последней публикацией писателя на родине. Много работал в области кино. По его сценариям в Советском Союзе поставлено несколько художественных и документальных фильмов. Живет в Москве.

БУБЕНЦЫ ПАЛОМНИКА

*

уснуть
узреть
и озарить
прощальным письмам
золотых деревьев
готовых умереть
дарить конверты собственных ладоней
и петь
прошедшее безверье
наветы подступающей зимы
свечной нагар ночных агоний
сдать внаем
двойным двуличным рамам
оставленных жилищ
и нем и нищ
брести
неся запрятанное «мы»
к переплетеньям рук и корневищ
за солнцем к распускающимся храмам

*

звнящий колокольчик солнца
упал в страну глухонемых
возьми свой посох
затвори оконце
твой путь чрез ночи напрямик
песочные часы

и лунные лучи
отсчитывают расстоянья
молчанье соловья
отчаянье ручья
предъявлены по счету расставанья
пускай луна зеленым маяком
зажжет сияньем призрачным дорогу
мир уходящему
мираж пустынь знаком
лишь тем кто изменил порогу

1965

БЕГСТВО В ДЕРЕВНЮ

там — через сад, за огородами,
и через изгородь — в проём,
косыми мартовскими дорогами
мой нерастраченный заём;

прах отряхнув порогами
изнеженных издерганных хором,
уйду, переболевший городом,
как горлом изрыгнув Содом;

глаза запрятав в белизну и бром
полей, подернутых проказой,
не обернувшись, обрезав ветер лбом,

и не вернусь по первому приказу,
оставив разум соляным столбом
у городских ворот, глухих к громам и
фразам.

1966

*

спой с ветром песню
и пусти
в распахнутые окна солнце,
а если тесно —
не грусти:
стекло оконца
откроет скрытые пути,
и скрип ступеней,
словно скарб сомнений.

*

В помпейской спешке брошен в сени,
и отречение весеннее
не каждому дается.

Стынь кровь по жилам
и звени
внезапьем в заводи как омут
как Нил под илом,
а за ним
звон отпевания по дому;
и мы подобья не виним
вчерашней сказки,
и рассветы ясны,
закат исходит астмой,
и завтра — зритель несогласный
того, что было.

Встань, Лазарь, встань
и выйди
в рокошующее стойбище людей,
встань в стан,
в какой планиде

и в какой среде
предстал с тоскою по Аиде,
закрыв глаза,
не забывая жар
подземный и прижав
к глазам иссушенные волосы,
отказываясь зреть дарованный удел?

1966

ЖИГАЛОВ Анатолий — поэт, переводчик, художник. Родился в 1941 г. Закончил филологический факультет педагогического института. В СССР публиковались только его переводы. Как художник, принимал участие во всех выставках неофициальной живописи. Живет в Москве. Эта подборка — первая публикация стихов Жигалова. До сих пор они распространялись только самиздатом.

ПОД ЗНАКОМ БЛИЗНЕЦОВ

I

Их пило трое, Генка, Людка и он, в районе «Водного стадиона», и перед тем как тоска невыносимая подняла его из-за стола, за которым Генка крыл почем зря того хохла, который «МИГ» угнал к косоглазым, — в другом районе, на «Соколе», та же внезапная тоска успела рвануть с места брата Серегу, младшего на три минуты. Такая, что хоть в петлю, в пекло!.. Он не довел до конца линию и той же тушью написал услышанное сердцем: «Что-то с Митькой». Прямо поперек «Известий», подстеленных под срочную работу. Число проставил и точное время. На всякий пожарный. В дверях едва не пришиб соседа, как раз возвращавшегося из гастронома «Диета», и Лев Ильич Чреватый, заслуженный человек, персональный пенсионер на покаянии (как он сам представлялся молодежи), в субботу сказал Фирке, вернувшейся с классом из турпохода по не столь отдаленным местам революционной славы предков, что лицо у него было черное, темнее тучи, но! простим угрюмство, — разве это — сокрытый двигатель его? Все же, должно быть, немного обиделся, хотя всегда любил Серегу и, несмотря на пьяные сцены, уверял, что тот дитя добра и света, и весь свободы торжество, в чем она и убедилась на следующий же день, но в те мгновения Серегой двигало — обвальное, угрюмое предчувствие непоправимости...

И потом, на платформе, в вагоне электрички, плечом, локтем ощущая успокоительную обмякшесть Митькиного тела, облаченного им же на скорую руку, но со всей тщательностью, как по тревоге, в капитан-

ский мундир и парадный белый шарф, он все вглядывался в миновавший мрак. Это как неминуемая туча проходит над тобой, не разрядившись, надолго оставляя упорное ощущение угрозы. Самым краем прошло на этот раз, и он сгодился и успел плечо подставить — не как тогда, под тем цветистым полярным сиянием, когда, обмерзая, их рота шагала из бани, шеренга за шеренгой, треща снегом, мимо голосащего кома обочь дороги. Накрытую развалом волос, снег хватающую черной дырой рта — не признать в ней было одну из тех девчонок, хмельных и весело готовых на всё, чего кому надо, чьи упругие, до жути голоногие тела ребята из самоволки перекидывали через забор части, на наши нетерпеливые руки, и они, гася юбочки, поднимались на ноги в сомкнувшемся кругу, тут же из-за пазух доставая, как титьку, резиновые грелки со спиртягой... Свежевымытая рота косилась, оглядывалась: дубу ясно было, что оно доходит, под размахом полярного сияния, это человеческое существо — хрипящее, гребущее под себя голыми руками... Но скомандовали от головы: «Песню!» — и скоро мерзлость воздуха, глубоко вклинивающегося в легкие при вздохе, и треск дороги под сапогами, и *а для тебя, родная, есть почта полевая, прощай, труба зовет!..* выбили из сознания роты эту агонию на обочине, да только не из меня.

В красном уголке одни потом говорили, что вроде денатуратом опоили и, употребив хором, сбросили на ходу с грузовика, другие подтверждали, что точно, денатуратом, но вроде из мести за эпидемию мандавошек, охватившую старичков, все сошлись на том, что дело ясное, как дело темное, что без поллитры здесь не разберешься, «за упокой души хотя б» — и мы ржали, как кони, ожесточаясь коллективно против этой суки, сучью свою смерть законно заслужившей, но только для него — не падалью, не проблядью и не

станком ебальным. Катюшкой Краснобаевой осталась навсегда. Самой обморочной. Первой.

А лучший друг — Небесный, тезка, красноярец, уже на южной границе, куда после обморожения ступней перевели с Кольского, — там в низу державы, в ее подбрюшьи гиблом... К вышке приговорило кореша выездное образцово-показательное заседание военного трибунала, к высшей мере, несмотря на то, что он, сознавая бессилие перед чинами окружными за красным столом, превращавшими так методично живого еще Небесного Серегу в мертвого, не высидел, не вынес и возник посреди немого актового зала, противореча прокурору, хотя и сам, по сути, понимал, что все решилось для Сереги в тот — не упрежденный мной — момент, когда, опомнясь, он отпустил гашетку, сунул «Калашникова» чудом уцелевшему дежурному по части (обнаружилось потом, что тоже ранил, но легко) и бросился на колени перед своей учителькой, все еще сидящей у стены, откинувшись на спинку стула, размолотую в щепу, с кольчато сжимающимся ртом помадным, краснее крови внутри пузырящейся, и с полузакатом глаз под веки, будто в упоении последним проблеском сознания последнего бесстыдства, с семью входными дырами в пальто, с рукой повисшей, не выпустившей пуховой платочек, искрящийся снежинками... Эх, что она при жизни выделявала над Серегой!.. Это точно, со сдвигом была, и на допросе он твердил потом, пусть альбом у ней поищут на квартире, с фотками, такой в шелку, с цветочками нашитыми, — пусть глянут! Она ж нарочно разжигала Небесного, сама ему показывая *тела давно минувших дней*. Ее слова, сама их говорила! Серега пересказывал. Да всем и каждому, как на ладони, ясно станет, что такое, что на этих фотках она уделывает с *телами*, именно с телами, мужичье, как видно, стеснялось лица-то показывать, везде одно ее лицо за делом грешным смотрит в объектив — училки языка и литерату-

ры, — такое ж только, как прошлое, простить возможно. И то не каждый. Это редкий кто может, а он простил, любил ведь и хотел жениться, он матери писал в Красноярск, а эта ведь при нем же, о его серьезных намерениях зная и замуж не отказываясь, *такое же* творила точно, пока он службу нес. На пару в самоволку мы сорвались в тот вечер, когда он теплую компанию у ней застал, и убежал, не стал объяснений слушать, и мы вернулись в часть. Ну, взяли, конечно, по пути, нет, много-то не взяли, одну чернил, и думали: зальём. Серега был спокойный с виду. Серьезный только очень. А через час она явись на КПП, ну, для свиданья. А я отлить ходил, когда его позвали, и он, ее увидев, себя забыл. Так было от чего, поймите ж, а особист: «Оставим в стороне моральный облик гражданки Волкотруб», и только это их интересовало, о чем и прокурор сказал: происхождение Небесного. Что немцем был его отец, немецким оккупантом безымянным, которого постигла заслуженная кара, с которым путалась его мамаша, а о таких в народе справедливо говорили: подстилки фрицевские, и это, понимаете, в то время, как наши мужественные женщины все, как один, по зову партии, и Зоя Космодемьянская, и Лиза Чайкина... Вот, в чем причина того, что долго дремавшие бациллы зверств и злодеяний проснулись в этом отродье, а иного слова не найти, германского фашизма, поднимающего голову в милитаристской Фээргэ, плацдарме американского империализма, который, как известно, вступил в сговор с китайскими раскольниками, а они отсюда, от зала этого, на расстоянии орудийного выстрела, и что чрезвычайное это происшествие вблизи границы должно еще раз напомнить... И это все так не вязалось с живым ведь еще парнем, лучше многих, и залу ясно, как два пальца, что это она, *она*, языка и литературы, что тут любовь, и ревность, и раскаянье, а не внешняя политика, и потом: за что же его мать? Я читал ее письма, эта добрая по-

жилая женщина, такая же, как и моя мать, только моя малограмотная и ей пишут под диктовку, а слова такие же, и еще, срываясь, ощущая, как тянет ноги книзу и барахтаясь, что почему ж никто не скажет, какой он был, Сергей Небесный, добрый отзывчивый товарищ, честный человек и хороший солдат? под перешептыванием трибунала, под вынырнувшим и неподвижным, немигающим взглядом тетки, поверх polegших по залу стриженных голов, покуда сзади знакомый голос из особого отдела не оборвал: «Костюшин, сядь!» И сел, как провалился в яму. «К дружку своему захотел?» И бесчувственно выслушал про десять суток, и с ногами, плохими еще с Кольского, отбыл всю ночь за решеткой, внутри обметенного инеем цемента, откуда только к исходу следующего дня его вызволил вернувшийся старлей медслужбы, но ноги он, считай, с той ночи потерял. Комиссовали — деться им было некуда, и, вернувшись домой, на московскую окраину, на фабрику отцову, потом на завод электроаппаратуры, потом еще на один, заочно обучаясь в институте, — никогда не выбрался он из инвалидности. Он стал одним из этой отработанной, но еще коптящей небо массы людского шлака — то давали 2-ю степень, то отбирали обратно, переводя на тридцатку новых 3-й, и снова, после очередного ВТЭКа, возвращали сотню без одного рубля, ну, и диплом он защитил, и все же жизнь, а Небесный пятнадцатый год уже лежит закопанный в земле казахской (и кабы так! Кабы не заживо истлел на рудниках урановых...)

Вот из этой памяти и родился в нем, тогда еще салаге, этот чуткий и сторожкий, как у одного из тех псов специально обученных, отзыв на угрозу извне и для ближней жизни (ведь на Арбате, если бы не он с мгновенной реакцией отзыва, удар черной «Волги» пришелся бы Фирке не по окату бедра, а ровно в позвоночник, повыше крестца, — беременной-то!), и для дальней, посторонней, даже — только возможной,

ожидающейся жизни: именно так, пока в «воронок» не умяли, встал он, с трудом разогнувшись после удара, перед льдом возле спуска к станции «Площадь Ногина» и, руки расставив, объяснял выходящим про опасность. Правда, набравшись крепко был. Тем и запомнилось, что в отделении в тот раз не били, и не отправили в медвытрезвитель, а книжку инвалидную полистав, велели отвезти домой в коляске мусорной — ответственное место, поэтому, должно быть, вежливые были: одно ЦК, что партии, напротив, через площадь, другое, комсомола, у них под боком. А он упирался, упорствовал, чтобы немедленно, сейчас, песком, песком ту проледь, «там же люди», — орал, и что же? Приняли к исполнению, и сам майор, на шум пришедший, его приобнял на прощанье: «Эх, пограничник, были б все, как ты... Иди и не тревожься: граница на замке!»

И вот теперь Митька — с высокой повязкой парадного шарфа вокруг горла кадыкастого. Близнец мой, брат. Взрослей на три минуты... Теперь он навстал минуты эти. Догнал, сравнялся. По долготе отлива он понял, какая ненависть в нем поднялась на этих двух, на Генку, их старшего, с порога прямо одурело и бессмысленно потребовавшего кому-то высшей меры, и чтобы к стенке тут же, в коридоре, вот этими руками... Он оттолкнул, прошел, — но тот хоть из полета, ему простительно, а ей! Тупая баба! И со спины — тупая. Ненавидел. Из комнаты герой тот, сокол сталинский, орал свое: «А Прага? А Сайгон? Нет, врешь, слонтяй!.. И нужен нам берег турецкий, и Африка тоже нужна! Иди, говорить с тобой буду! Мужчина с мужчиной... Не хочешь со мной говорить? Люська, иди выпьем! Пусть сидит, как онанист...» А эта раком ползала под дверью, трясясь и хрюкая от смеха, водя ладонью по двери, будто ласкать ей некого, — ну, пьяные дела... Он выбил сходу и в темноте наткнулся на сидящего: Люська выключила, чтобы

скорее надоело, значит, одному. Ну, тупость! Пока она пилила, всхлипывая, тупым ножом, испачканным томатом, волокна бельевой веревки, он, приняв Митьку на грудь, мял ладонями живую наощупь тяжесть. Он до отключки пьян был, Митька, и слава Богу, поэтому не вышло, хотя тут взаперти он снаряжался долго и тщательно, импортным душистым мылом натирал веревку, чтобы скорее выдавить из горла всю тоску, выдавиться самому из подступившей пустоты. Как пропасть, открылось ему, что к Митьке ничто отношения не имеет. Никто. Эта? Имела, но куда девалась она, легконогая шустряга из общежития педвуза, на которой, как он на ее соседке Фирке, одновременно с ним, глаза залив, оплошно зарегистрировался... Погребена под жиром, как под шубой. И выцвет глаз — пустой, и валики морщин тупые, и макияж, размазанный хохотом до слез, слезами страха и стыда, что он всё это видит, и выворот век, красных от черной, едкой туши. Нет, не она, не сын заглядывающий синевой подглазьев, головенку, ежиком стриженую, тянущий в плечи... От них и потянуло Митьку, из жилплощади кооперативной, из-под звездочек своих, что по четыре на погон, — в смерть. Только из-за меня ты ее не достал. Выгнав Люську, он врезал ему, чтоб вернулся, слева, справа, и ожесточение внезапное свело ладони в кулаки: кого ты бросить здесь хотел!.. Но Митькина голова так послушно отматывалась, подставляя щеки, и так цепко его зажатые веки держали что-то увиденное там, под петлей, по ту сторону этой ёбаной жизни, и такой размыв волос вокруг двух макушек, с детства обещавших материным голосом Митьке счастье, как и мне, возник под напором струек из гибкого душа, что отнялась в нем обида, и сразу, на все голоса, заговорила, засмеялась, зарыдала в нем их с Митькой общая, удвоенная жизнь. Половина ее, на целое, на общее, поднявшая руки, эту жизнь не пересилила отчаянием своим, и

торжествующими ее глазами, и сердобольными, и жалостливыми, глядел он на свои, такие же точно, как у Митьки, отметины счастья, на волосы, извилисто стекающие водой, на углы худых и крупных лопаток под форменной рубахой — и возвращал, возвращал, испытывая сам, всем существом, напор перетекающий, как толчки воды в руке, жизнь возвращал своей половине, скользящей ладонями в блевотине из желчи и частичка в томате по выгибу эмалированного дна, изъязвленно-го кое-где преждевременной ржавью.

II

К бате — вот куда увез он Митьку, который через час пятьдесят самостоятельно двинулся по перрону, по мосту над железной дорогой, влез, спустился на землю — всё сам. Приоткрыв глаза наконец — с шаткой напряженностью походки, взбрасывая руки, но сам, сам. Парняга крепкий, н-ничего...

Они сидели в глубине навеса, ожидая автобус, рядом с шепчущейся, прыскающей со смеху в ладони, потому что в голос смеяться — не то уже время, стайкой девчонок, нагулявшихся, натанцевавшихся в столице или на соседних станциях, покрупней, чем эта, и беззвучными старухами с кошелками, стоящими на земле, промеж ног. Он глубоко вдыхал чистый, незагазованный воздух и ритмично упирался грудью в «Экстру», под куртку впихнутую привычно, в потайной карман с документами и пожарным бумажным рублем. Он безотчетно прихватил с собой лишнюю, по всему уже судя, бутылку из Митькиного дома, и с ней кусок хороший колбасы за 2.20, сейчас все это осознал едино, и был собой доволен. Хотелось прямо здесь же, в уютном полумраке, из горла, и девочек угостить, пустив водку по рукам, но сумел себя отговорить: брат еще слаб и быть с ним нужно в трезвой силе.

Китайцы это правильно понимают, что раз взял на себя спасти чью-то жизнь, то до конца своей ты за нее в ответе... Вот доставлю на место — тогда. Брат еще не совсем отошел: вскидывался, вглядывался, бормотал из-под козырька офицерской фуражки что-то вроде: «Где мы, где мы живем?...» — и поникал, отрицательно мотая головой, будто родины не признавая. Он по себе знал, какими мрачными ходами раскаяния и стыда возвращается сейчас в реальность брат: хотя бы и виниться не перед кем, хотя бы не в своем дому трезвеешь, не при своей, терпеливо поджидающей с упреками, когда же он, злодей, глаза разнимет, при посторонней, лишь случайно тебя полюбившей и принимающей в себя таким, как есть, — а все равно вина томит. Откуда бы ей взяться? И перед кем? Вот тайна. Потом проходит: после кружки пива у ларька, перед сменой, но до этого сосет ведь сердце, как змея... Что Митьке тяжело — это радовало, как верное обещание, что, может, примут еще с батей — по сто заслуженных, и Митьке нальют грамм 60, чтобы светло спалось. От мыслей таких он пришел в хорошее настроение, тем более окончательное, что ноги его слегка касалась своей, подрагивающей, еще полная задорной силы, покуривающая ладно — девчонка, почти пацанка еще, и под затяжками сигареты озарялись нежно и чистый подбородок, и ноздри трепетные, и припухлый рот, который целовать еще и целовать. Близость эта взволновала его — толчками крови, надежно подтвердившими жизнеспособность. Неведомость женщины, слабость брата, прочность стены за спиной — и глухая темень вокруг пяточка твердой земли перед навесом... Изможденно-молчаливые, обмякшие тени людей, уже дважды спустившихся с навесного моста, — над сумками, мешками стоят понуро в тусклом свечении. И хотя всё как будто нормально, ничего перед ним настораживающего, от всего этого, однако, упреждающая, волчья чуткость упругой тя-

жестью, как теплым свинцом, налила мышцы плечей, живота, рук и расставленных вольно и крепко ног. Он неторопливо курил «Беломор» и зорко оглядывал видимое пространство. Привычка. Москва, она не верит слезам, Москва — с носка бьет, а он родился и вырос на рабочей окраине Москвы, еще более скупой на жалость, еще жестче бьющей — так, чтобы с копыт и больше не поднялся. Потому, как пионер, он всегда был готов к глухой защите и атаке. В любом углу родины. И когда угодно. Это самое гиблое дело, когда застанут врасплох. Осколок бутылки внезапно сверкнул с земли — к станции сворачивал автобус.

Кое-где в Москве, может, и пропускают первым женский пол, но тут, в глухом углу, вдали от лицемерной столицы, женщины привычно и беззлобно расступаются по сторонам, уступая вход сильным. Чтобы кто из них качнул права? Ночью? Дур таких нет. Он победно погрузился в сиденье, отбитое у мужика с железными зубами, и заботливо отогнул под садящимся братом лоскут кожаменителя, скрутившийся в трубочку, — чисто взрезано, бритвой. Автобус наполнился, и шофер экономно вырубил свет. Ждали пассажиров с последней электрички. В темноте и тесноте дышали перегаром водки и лука, сопели, кашляли и молча слушали с неодобрением беззаботный щебет: девочки вчетвером уместились на сиденье перед братьями, и одна, та, от которой кровь толчками, глянула искоса, тряхнув прической, на Митьку: чего, мол, касаешься козырьком, — когда Митька взвалил локти на поручень ее заспинный и голову тяжелую положил поверх — в съехавшей на затылок фуражке. Ишь! реагирует... ласково подумал он о недотроге. Шофер прохаживался возле мотора, разминаясь. Вместо стекла у них фанерка вставлена была, и смотрел он, нагнувшись, вдыхая девичий пот, дешевые духи «Быть может», сквозь переднее, вдоль автобуса — на огонек папиросы. Три тени миновали шофера, три парня пе-

ресекли границу темноты, и первое, что в глаза ему бросилось на свету, — белые перчатки на одном. Вязанные и слишком большие, спадающие, от чего он не разжимал кулаки. Оно сентябрь, но все ж таки ночь не зябкая... Те двое с ним тоже были в перчатках. В черных. Веско, значительно, с форсом несли кисти рук, туго обтянутые кожаменителем, и шевелили тускло сияющими пальцами — затекшими будто. Который в вязаных, одет в узкое, длиннополое пальто, застегнут на все пуговицы, и повиливает долговязо на каждом шагу. Согласен: смотрятся внушительно. Разве что этот вот черных себе не достал. Дефицит. Одному против шести кулаков, шести колен и ног легко только в кино, к тому же правая нога помеха только, хорошо не отняли хоть тогда, в Мурманском госпитале: все ж таки ходит уже пятнадцать лет. Нет. Они бы мне вломили. Досталось бы им тоже, но меня бы крепко отделали. У них, понятно, есть и на себе чего-нибудь. Если не нож — свинчатка, гирька, отвертка там или шило — против бутылки моей. Ладно, там видно будет. Двое перекуривали, а длинный пошел вдоль автобуса, заглядывая в стекла, где они были. У окна, в какое и он смотрел, длинный заглянул, приподнявшись на носках, и — оскалился щербато (ему не раз клыки считали...). Перед лицом девчонки он огладил стекло: мягко так, нежность симулируя, — ладонью в вязаной белой перчатке... Та отпрянула с испугом: «Валь, глянь... Батон!» (Так, кличка редкая...). Прогудела, отправляясь, последняя электричка, утащила за собой перестук.

Битком в автобусе, но эти трое, как ножи в мясо, легко прошли от задней двери, и в свете вспыхнувшем длинный взялся обеими руками за потолочную трубу поручня — навис над девчонками. Двое по бокам. Что ближе, подвинул с притворной осторожностью локоть отключившегося, видно, Митьки и стал спиной. Эти

мордovorоты потрудней будут длинного — кряжистые, коротконогие, устойчивые.

Физиономия этого Батона и точно, какая-то мягкая, как тесто, и сырая, только мякоть щек расцвечена багровыми гнойниками и ввевшимися среди них синюшными рытвинами перенесенного фурункулеза. Глубинка, ясно: авитаминоз, обмен веществ нарушен. Дитя родного Подмосkовья. Пустые, плоские глаза. Как всё знакомо было, сотни раз и видано, и перенесено, а морды всё одни и те же, хоть и меняются... Наблюдая исподлобья, он почувствовал под напором бутылки сильные, отдельные удары сердца и сказал ему про себя: «Спокойней, спокойней...»

— Устали, девчата? — дружелюбно начал Батон, когда последние огни поселка оборвались за стеклами. — Где же вы так устали? Это ин-тэ-ресно... Плясали, да? В Новом Иерусалиме? Точно? А какие танцы? Современные, небось, такие, да? — Он показал телодвижениями. — Туда-сюда? «О, бэби, бэби, бала-бала, я-йа-а просил — ты не давала-а-а!» — рванул на весь автобус. — Так ведь, да? Или скажешь, нет, а, Валь?.. Это надо проверить, почему наших девчат не держат ноги. Бабулек ведь держат, а, Чопа? — Х-хы, — вырвалось у смешливого, должно быть, мордovорота, но не такого бойкого на язык.

Девочки с напряжением смотрели в стекло, в лица отражающиеся людей, — четыре испуганных головки, четыре розовых ушка, и только одно без висюльки, у моей, с непроколотой мочкой — одно.

Как на турнике, подтянувшись над толпой, Батон крикнул назад:

— Бабуль! Иди посиди, место уступают. Скорей, бабуль, а то сам сяду!

— И садись с Богом, — откликнулся устало старушечий голос.

— Это ты верно, бабуль, про Бога. Он всегда при мне. Гот мит унс! Как я не по-нашему уделал,

а, ребята? «По выжженной долине,
за метром метр,
идут по Украине
солдаты Группы «Центр», —

беспрепятственно орал он, выкатывая челюстишку и мертвея глазами, подражая магнитофонному хрипу Высоцкого:

«На первый-второй рассчитайсь!
Первый!
Второй!»

Ты, Чопа, третьим будешь! Дивизия СС «Мертвая голова», понял? Эй, бабуль! Гот мит унс, ферштейн?

— Отцепись, Христа ради...

— Поллитру-то везешь своему? Который на печке? А то ведь на порог не пустит.

— Привязался, герой... Везу, не бойсь.

— Во, ребята! При крепостном праве родилась, а все сознаёт. Правильно везешь, бабка! Без кайфа нет лайфа! Вот и девчата это понимают, верно? Ловили кайф в Новом Иерусалиме? Чопа, будь другом, а то руки заняты: вон у той покажи мне горлышко, а то мне или кажется чего-то нехорошее... Тихо только, защитничка не обидь. Пусть поспит, пока служба идет, — и скалился мне в лицо, угадывая состояние... Мордоворот ухватил за лицо одну, черными перчатками, запрокинул голову... — Не, эту знаю, и больше нэ интэресно... Ты, голубка, только не ревнуй, ладно? Как тебя там?... — Выпущенная девчонка тряхнула стрижкой и вниз уставилась, показывая ложбинку подбритой шеи. Мужской голос из-за спин их попросился потесниться, если можно: — Ваше дело молодое, а мне б сойти, а? Остановка моя.

— Валяй, отец! — Батон тиснулся меж спинкой и коленками девчонок и повалился на крайнюю под одобрителный смех жлобов. Поелозил, поудобней

устраиваясь... — Мягко, — похвалил. — Тяжело, голубка? Привыкай, тёлочка, тяжелей будет, — и, незаметно пропустив руку сзади, схватил за волосы соседнюю девчонку. Мою. И скосил при этом фуражку на Мите. — Т-ты! — только и сказал я сквозь зубы. Вырвалось само собой. Я не хотел.

— Мужик, ехай тихо, — негромко сказал мне в лицо Батон, обдавая чистым дыханием здорового чрева. — Не возникай. Очень буду тебя просить... А то встречаются тут промеж нами разные-всякие, да? — Головка рванулась, но рука в белой перчатке держала цепко... — В наши сугубо личные чувства свой нос суют... Ну, здравствуй, Валёк. Встретил тебя все ж таки, дождался. И кореша со мной, чтобы нам не так скушно было одним кайф ловить... Сиди! Певунья ненаглядная... Строит из себя — тоже мне!.. И вот, что я тебе скажу, усеки хорошо. Не обижай их. Когда знакомиться будем. А то уж очень они обидчивые. Особенно который Чопа. Он, понимаешь, Валёк, несогласный со мной: первым ознакомиться хочет. Я говорю, что мы с ней в одну семилетку ходили, а он не верит. Ты уже кончила, ту семилеточку, а, Валёк? «Давно мы косы сбросили, давно мы стали взрослые...»

— Волосы пусти, — сдавленно шепчет моя недотрога.

— Это можно, и даже, — не выпуская головы, Батон глянул в стекло, — нужно... Ну, всё, пост ГАИ, кажись, проехали. За мной, Валюшка!

И отпустил, поднялся с девичьих коленей, дурачась, подол за собой ей оправил. Похлопал по щеке: «Привыкай, писюшка», — и, не оглядываясь, переталкивая вольно плечами, пошел по свободному уже проходу к передней двери.

— Валька, спятила? Что матери-то сказать? — подруги хватили ее за юбку, но она рванулась, выбралась в проход, вся белая, с губой закушенной, и пошла

за Батоном, а следом эти двое, отставив руки и шевеля черными пальцами.

Следующая остановка, пионерлагерь «Крутые Горки», еще была не скоро, и длинный надавил над выходом кнопку «по требованию». Автобус затормозил послушно, разжал дверцы в ночь. И все четверо вышли, один за другим.

Алый отсвет боковых огней на ее лице, казалось, искал по стеклам, из кольца теней сомкнувшихся... Кого же, как не меня? Кого еще?

Тронулись. Оставшийся народ постепенно разговорился — которые не в одиночку ехали, и толк напоследок перед домом содержание дня, проведенного либо в Москве, в очередях за мясо-колбасными изделиями, либо на разного рода поздних женских работах, рублишек на шестьдесят, на семьдесят, в районе двух, трех, пяти близлежащих станций, а одна пожилая пара, судя по разговору за спиной, и к культуре приобщилась, побывав во всемирно известном театре кукол Образцова, что на кольце Садовом, и возвращалась очень довольная представлением.

От обочины шли, скользя в сырой, по звуку, траве, и у калитки дачного участка, ухватясь за жерди стоячие, Митька зашептал ему в лицо, истово так:

— Валюшку-то как... А? — и ударился лицом о жерди.

Окончательно пришел в себя, раз так, думал он успокоенно, и отрывал то сильные, то слабые попеременно пальцы крупных и жилистых, как от прадедов дано Костюшиным, и горячечных братниных рук.

III

Было рано и хорошо. Со двора доносилось буханье... «Раностав», — материным словом подумалось о бате. В приливе подступившей спросонья мощи

он до отказа выкатил шары бицепсов, крепко заломив руки, хрустко выгнулся. Подтянулся на локтях повыше и стоямя устроил подушку, чтобы смотреть на яблоньку. Она была то яркая до слепящего сияния, то тусклая. Зеленая еще. Раскурил дымно забычкованный с ночи на утро окуроч, глянул на брата: накрывшись с головкой, тот сон еще давил на высокой, когда-то родительской кровати, с которой еще пацанами они по-свинтили все шары никелированные, и так удобно их было начинать порохом и спичечной серой, эти шары. А со стены над Митькой выпукло и тепло, как живой, смотрелся в солнечном луче кентавр, несущий хрупкую женщину с девочкой, — его шедевр, одно время он увлекся чеканкой по меди... Фирка отказала кентавру обитать дома, мол, земную сущность отобразил в нем очень уж натуралистично: вдруг кто из родительского комитета заглянет?

Костюшины, они ценили силу в мужиках.

И никогда такого согласия между ними, братьями, не было, ни до, ни после, когда вот этот особняк фамильный под крышу гнали. Вкалывали до седьмого пота по выходным, трое здоровых битюгов. Это теперь они здесь груши околачивают, наезжая, а тогда!..

Три счастья было на его памяти в семье. Одно — когда в хрущобу из барака переехали. Другое — когда «Юпитер» выиграли с коляской и хорошо толкнули тот билет одному узбеку, крутившемуся в сберкассе. И третье, главное, — когда бате, считай полвека оттрубившему на фабрике, дали разрешение на земельный участок. Как ветерану производства. Единственный работяга был, такое разрешение получивший. За душой, конечно, ни копы, не то что у соседей: многие из них и к фабрике-то отношение имели, как палец к Но это ладно. В порядке вещей. Потому-то из всех здешних дач, на зависть стройных, по два этажа, крытых и жостью, и шифером, их, Костюшиных, самая невидная. И что особенно обидно: кособокая по-

чему-то. Где-то они просчитались... Так уж получилось, не архитекторы. Злые языки поговаривали, что портит общий вид, но это — нет: как бы смущаясь себя, дачка далеко вглубь надела отступала. Потом и вовсе скрылась за приземистыми яблоньками. Жить можно.

Особенно мать была счастлива. Отчаявшийся хлебопашец, дед еще девочкой привез ее из Тульской губернии на фабрику, всю жизнь при фабрике и провела, но под старость разгорелось в матери — зажить общиной. Хотя на лето собирать вокруг себя всех Костюшиных, кончая внуками. Наезжали, конечно... Только никому это не было в радость: не в пример бате, семейная жизнь сыновьям не удалась. Вот как земля, мильён лет единая, внезапно раскрывается надвое, зияя чернотой, так и у них по семьям трещины пошли, — а почему? Бог весть. Время такое. Все семьи нынче так — врозь. И ничего, существуют. Короче, из мечты той материной ничего не вышло, и только батя обитал здесь постоянно. Как заедет под Первомай, так и сидит, покуда вымораживать не станет из тощих стен. Пашет, сеет, урожай снимает — по паре ведер. Колотит, мастерит чего-то. Короче, натуральное хозяйство. Чего-то и его, гегемона, земля под старость притянула.

Он тщательно загасил окурок, поднялся, ногами потопал: держат ли еще? И наскоро оделся, грея душу теплым сиянием кентавра...

Батя разогнулся, не выпуская молотка, в подобии улыбки приоткрыл сталь зубов... — Серёня? Здорово.

— Бог помощь, батя, — шутливо сказал он. — Чего колотишь?

Батя повел озабоченным взглядом. — Во здесь надо пристроечку поставить. Вплотную чтоб к забору. И с уборной вместе под навес их взять. Что ли, галерейкой такой. Не мокнуть в дождь-то, когда по нужде выходишь.

— Эх, батя-батя, — только и выдохнул он на эти доводы. И обратно возник в нем страх — уже обычный при встречах их редких. Что так и сойдет на нет здесь за тупой работой и не оставит по себе иной памяти, как только о возне пожизненной с железом, деревом, землей. Упорной, бессловесной. А так хотелось слов, что ли, каких-то важных от него услышать, чтобы остались... Не тех, от каких в нем, сыне, мимовольно взвивалось что-то протестующее: «Надо делать... Делать надо». С такой обреченностью всегда их батя выговаривал, как будто сверху кто ему наказал. Как каторжнику, к тачке прикованному.

Смущенный, отец спешил оправдать свой замысел и труд: что, дескать, нынешнее лето сырое было. Да и следующее — навряд ли задастся. Космосом, что ли, сгубили они погоду? — Так, а чего ж тогда зря мокнуть, идючи по нужде? — И стал отсылать сына, столбом ставшего, — как на производстве ли, дома ли всю жизнь отделялся под любым предлогом от стороннего наблюдателя, отнимающего на себя внутренние силы размышляюще делать, в молчании и забытье о мире... — Ты иди, иди. Лицо-то ополосни. Там осталось в рукомойнике.

— Воды, что ль, принести?

— Ну, сам смотри. Позавчера ходил, так малость есть еще.

— Схожу.

— Не тяжко одному? А то Митьку побуди. Чего с ним, не знаешь случаем?

— А чего?

— Праздник какой, может?.. Давеча является, как с парада. Шарфом обмотался.

— Какой праздник, ты чего? Осень! Первое ж сентября прошло. Тебя давно не видел, вот и приоделся.

— Во как! — крикнул батя... — Я ж без календаря живу: может, думаю, праздник какой новый... Так ве-

сельный бы приехал, а то... Ладно. Пусть отоспится, а? Специальность ведь у него какая. Всё в уме держит. Чтоб голова отдохнула у его... А? Пускай. Это ему хорошо.

— Так я пошел, — сказал он, разминая плечи и позевывая.

— Давай. Ты только это, ведро бери мое, оно поёмче покупного будет.

И вслед, конечно, глянул — взял ли.

Он выбрал дальний колодец, за околицей. Вода вкусней в нем, из родников, которые питают истою холодную их реку.

На высоком месте, на самом распахе окрестностей остановился, оглушенный... Бог ты мой, чего они творят... Давно он не был здесь, да помнила душа простор без края. Вошел он в душу, когда еще пацаном приезжал сюда, в пионерлагерь. И поразило настолько, что простенок в новой квартире, от пола до потолка, перед тем, как призвали на срочную в ряды, он расписал простором этим, чтобы родители его не забывали, — и погубил, понятно, и всегда губил потом, отображая и в карандаше, и акварелью, и маслом живописным. Одно мучение. Душа не принимала копий, подробно помня в яви простор и глубину, и посверк той церквушечки на горизонте, упорно посылающей ему свой лучик золотой, — оттуда, из-за полоски леса, из-за дальних, заливных, не хоженных им никогда лугов левобережья. И стоило закрыть глаза и внутрь ими глянуть, как изнутри, с простором этим окоёмным и лучиком прерывистым, приливно подступало счастье... И вот открыл глаза незрячие наружу. И не признал.

Где зелено на склонах было — угрюмые открылись дыры земляных карьеров. Изрыто все, изъезжено. Неслышно копошатся самосвалы, экскаваторы, бульдозеры. И уж до половины дотянулась насыпь железнодорожной двухколейки: запретной зоне, лесá

кругом колючей проволокой от людей отгородившей, понадобился, значит, выход в мир. Ну, ясно! Такие темпы под силу только родному Министерству обороны... Разрублен мой простор. Вот как полюбишь что-нибудь живое... Какую-нибудь женщину хорошую, а то и просто — место на земле. Туда и саданут по рукоять. Откроется любовь другая, со шрамом рядом, едва зажившим... И ту, другую, вынут из-под сердца. «Душа моя, как пор-р-рванные струны!..» — откликнулась перебором семиструнки своя же песня, сочиненная от нечего делать еще в армии, — то ли на вышке пограничной, у стереотрубы пустой, то ль на губе. И до сих пор слова те пробирали, недаром вся рота их переписала. И ведь не ведал ничегошеньки, салага, тоске-кручине наперед мотивчик подбирая, как в воду, в будущее глядя. Впрок.

«А ничего! — глядел, отвердевая... — Живучий я русак. Так просто не возьмете, хер!»

И с ходу набирая скорость, чтоб ноги сами вынесли на взгорье, где колодец, гремя ведром, рванулся под откос.

С пустым-то ничего, а вот обратно!.. Н-ну, батя, батя. Плотски ожесточаясь против избыточной тяжести, тянущей книзу меняющиеся плечи, «оно, как пить дать, всё и всех переживет на этом свете, точно», думал он. Когда-то, когда их было не купить и не достать нигде, а с последнего в дому все латки поотваливались, сварил тогда собственноручно из заветного листа нержавеющей стали — да не ведро: бадью!.. Понятно, мать с тех пор без устали клянет его шедевр, а батя молча злобится на это. А потому — что матерьял извел. Его словцо. Матерьяла ему, сколько помнится, всегда не доставало. Сотворит что-либо и в тоску впадает тут же — от недолговечности вещей, из-под рук им выпущенных в мир. «Эх, матерьялу бы!.. А так — дерьмо», — и ручищей отмахнет, открешиваясь от сотворенного. На ведро же это загубил

он лист металла, которым впору танки крыть со лба. Бронебойным не возьмешь, ей-Богу! И главное, следит же, пень, чтобы употребляли в хозяйстве. Килу нажить же можно, таскаячи...

Допер-таки. Обрушил на скамеечку под окном, в котором батя с плеча вгоняет гвозди, насупив брови. Остриями из крепко стиснутого рта вразлет торчат гвоздишки. Имел такую он особенность — зубами их держать, чтоб были под рукой. А всё одно — железо, бывало, скажет. Чего жалеть, пусть дело делают... Прежде чем крышкой накрыть, он черпанул из батиной бадьи и, запрокинув голову, медленными глотками опорожнил мятый алюминиевый ковшик пронзительной, до лопы во лбу, колодезной воды. Вкуснее, чем из покупного, верно. Зачерпнул еще и с живой тяжестью в ковшике вошел к близнецу.

Митька уже смолил, в окно глядел с подушки.

Он дернулся ковшу навстречу и взглядывал поверх края все больше проясняющимися глазами. Отнял от губ и выдохнул. — Недурственно... Будь другом, Серый: зеркальце подай.

Он снял с подоконника осколок, весь в трещинах и изнутри подернутый от старости тусклой золотой мутью.

Митька глянул искоса под шарф, в котором так и спал, и, криво ухмыляясь, молвил:

— Мой стрингуляционный срам. — И, спохватившись: — Шрам, я хочу сказать. Горло еще чего-то... — и, обосновав оговорку, покашлял хрипло в подтверждение.

Осторожно повел взглядом, и близнецы надолго, не мигая, прикипели глазами, отражаясь один в зрачках другого... Взаимно улыбнулись, смигнув одновременно. Какой-то миг улыбка подержалась между ними, и Митькино лицо затворилось — жесткое, обожженное, как кирпич, под нездешним солнцем. Он отки-

нул на подушку, смятую в изголовье, и буркнул, глядя в окно:

— Что помехой оказался, прости.

Он помолчал, разминая тугую папиросу.

— Да, девчонку жалко.

— Они б тебя прирезали.

— Не исключено что.

— Точно, тебе говорю. Вот который ко мне бок: что-то было у него под курткой. Локтем ощущал. Кончили б, точно.

— Тогда в расчете, Мить...

— Не-е-ет, ты Валюшку мне оставь: первая вина. Теперь мне по новой счет открывать. Напрасно ты, Серый, вчера... Одним бы гадом меньше.

— Человеком...

— Гадом, говорю!

— Человеком, Мить. По имени Костюшин. Сорок первого года рождения. Русским. Женат, имеет сына Вовку. Так ведь?

— Образование — высшее. Член КПСС. Военское звание — капитан. Место службы — почтовый ящик номер. И тогда с тобой согласен. Советским человеком.

— Ну, ё-моё! А я тебе что — или другой какой? С луны свалился? Тоже — советский.

Он встал рывком, вытолкнул створки. Рванулось к ушам тархтенье тракторного движка на подсолнечном поле, щебет птиц...

— Батя? — спросил Митька о колотьбе, доносящей со двора. Помедлив, он кивнул.

Дым двух папирос смешивался, перетягивался над подоконником... Не шли слова на язык. Которые отговорили б Митьку. Он испытывал распирающее душу брожение мысли, ожесточаясь на свою немоту. — Тебе про главное, а ты!..

— Не перетягивает, Серый... нет. Достань-ка: в нагрудном кармане. Нет, — в левом.

Он пошевелил пальцами в тесноте кармана, зацепил и вытащил цепочку, на ней довесок, тяжеленький такой. Положил на ладонь, повернул изображением. Двое парней античного вида лицом друг к другу, и как бы в ореол заключены лучезарный. На шее носить, как крестик. — Симпатичная штучка, — оценил. — Золотая, что ли?

— Еще бы. В месячную зарплату влетела, наверное. На день рождения подарили. Есть одна такая... Так с июня месяца и носил, в Азии со мной была. Ты назад не клади, обожди. Это ведь наш с тобой знак, посмотри. Родились под которым, имели, так сказать, незабываемое счастье появиться на Божий свет... Она биолог, ну, которая подарила. Аспирантуру кончила, кандидатскую делает. Тебя бы с ней свести. Эколог она — ну, вся эта шумиха в защиту окружающей среды, если читаешь «Литгазету». Там в каждом номере разные деятели наши соревнуются в гражданском мужестве. Особенно на эту тему, о биосфере. Лучшие умы страны, понимаешь, грудью встали за все живое на земле, за человека, который звучит у них, конечно, гордо, а пишется с заглавной буквы. Новая добродетель наша. Репутацию борцов стяжают на страницах партийной прессы, копыа ломают, отбивая у западных светил, нобелевских там лауреатов, наш гуманизм, единственно-верный. Гуманисты... Как они это самое, человека любят, я собственными глазами!.. Нет, я не про Валюшку, это что, частность, бытовое явление, подробность нравов. Их гуманизм я изнутри, из самой середины увидел. Из бункера. Кругом безжизненно, на сотни километров, только мы одни посередине, под железобетонной толщей. Мы, которые думаем, дышим, боремся и живем. Во всяком случае, уверены были, что одни, да ошибочка произошла. По причине разъебайства. Я там отдел наш представлял, который к испытанию отношение имел, как к киселю десятая вода, и ближе к этому делу люди есть, и дальше, и как

вот Зойка, которая все вычисляет, сколько продуктов мудоженных мы в яйцах носим и все это сугубо ненавидит за то, что вскоре чудачки от нас одни пойдут на букву мэ. Но ведь все мы, Серый, все, поголовно замешаны и причастны. Соборно, — как Зойка говорит. К акынам тем, певцам степей, которые подохнут от лейкемии, к пацанам бритоголовым, в тубетеечках, отныне обреченным. Бункер! Вот наш храм. Подземный, из железобетона, с портретами внутри и красным уголком. А как в бомбоубежище мне этом от себя укрыться? Себя избежать? Не могу. Может быть, нет Бога. Я говорю: может быть. Для матери Он есть. Но антипода, антитело Его я видел, могу свидетельствовать: есть. И называю его с заглавной буквы: Дьявол! При всем почтении к Нему, однако, не приму я его доводов, я, двуединый, как кентавр твой, советско-русский человек...

Есть слова, ты знаешь, Серый... Есть, мы их в школе проходили, — не выжечь из себя. И я взглянул из бункера окрест, и душа моя уязвлена стала, — не помню точно, как там. Недавно вышел из Министерства, и так мне тошно было, ну прямо!.. Улочками арбатскими пошел, глядел. Живут ведь люди, по-русски говорят, как я. Девчонка мне навстречу: обеими руками хлеб несет и пробует щекой, какой он теплый, — а, Сережа? Толкнулся я в ворота Толстовского музея — случайно мимо проходил, смотрю: во дворике плакат на двух столбах. Глазам не верю. Как там было, его слова... Я отрицаю ваш порядок и прямо говорю об этом. Ну, что ты скажешь? Радость сердца! Не-е-ет, иногда Москва подарит еще чем-нибудь таким, что прямо... Вот Зойку встретил. И верил ведь, что снова полюбить смогу. Теперь уж точно нечем — после бункера. И прямо говорю, и переносно. И пусть, Сережа, не шокирует тебя: гад и есть. И пусть мне хуже, чем парням из бункера, которые томятся и водяру хлещут прямо из бачка для питьевой

воды. Кран отвернул и лей себе в кружечку, а она, эта кружечка эмалированная, на цепь и там посажена, и там. Не оторвешь. Кругом пустыня, мертвое пространство, а кружка на цепи. Что характерно. А парни в общем ничего, устройством посложнее будут, чем наш-то, асс... Да что там говорить, все сказано до нас, Сережа. Делать надо. Батя, он прав. Поступок — это вывод, так я понимаю. Бери, бери себе.

— Подарок не могу. — Он поднял клапан и опустил цепочку в нагрудный карман кителя с погонами, надетого на спинку венского стула.

— Ну, что же... Уважаю принцип. Но только бункер с той экологией не состыкуешь — не «Апполон-Союз».

— Эх, Митя, Митя, и зачем ты в форму влез...

— Конечно, зря. А вся моя планида? Как вспомню! Все пятерки по физике и алгебре, призы на олимпиадах. Вся фабрика в отпаде: Костюшин-младший в Бауманку поступил! Ребята сроки первые поотсидели, всюду гуляют, и дома тоже всё, как у людей. Дипломчик красный обмывают. «Ну, парень, молодцом, — гудят, — теперь ты далеко пойдешь», а дядя Ваня Тупичкин, покойный, так обязательно: «Если милиция не остановит». Юморист был. Поверишь ли, Серёнь: лучше бы я киоск, как Ярцев Коля, подломил — фруктово-овощной, или зерна мешок упер бы с элеватора, как Басалаев Саня. Или фингал схватил под сердце, как тот, на танцплощадке, фамилию забыл.

— Который?

— Ну, ты еще подумал на него, что твой кларнет серебряный увел, а у него под пиджаком торчало, и он обиделся сначала на тебя, мальчика, и мы заволновались, ну, а потом отставил кралю и приоткрыл пиджак, а там круг краковской. Я до сих пор не понимаю: из буфета, на глазах у тети Сони!.. Не вспомнишь?

— Как же! Шестобитов. Был такой дух.

— Так лучше бы, как он, его планиду. С Генна-

дием все ясно: асс. Защитничек Каира. Но ведь, под формой одинаковой, я все ж таки не патентованный, не «зеленый берет»... с глобальным радиусом действия. Я инженер... Чего молчишь? Совсем мозги тебе запудрил? Вставать мне неохота. А тут еще и солнце.

— Без кайфа лайфа нет, — машинально сказал он и спохватился: — Слушай, у бати кофе есть! Прошлогоднее еще. Как камень, но настоящее, ей-Богу, — как ты насчет?

— Тогда живем, — пошевелился Митька. — Заделаешь?

— Так точно!

И из шутливой стойки «смирно» рванул за дверь.

Он прихватил с собою ковшик и, глядя в забытые, как вода кипит кудряво, вдруг весь похолодел при мысли о разлуке.

IV

После кофе с очерствелым хлебом и аппетитной «Отдельной» колбасой отправились в сельмаг, на дальнюю совхозную ферму, которая, как об том извещали натыканные повсюду щиты, выполняя решения съезда, взяла на себя повышенные сообразительности по разведению малой и безответной живности: белых мышей, морских пискучих свинок, пугливых кроликов. Может, для нужд Запретки местной, ведь кто их знает, что творят, отрезав себя от людей колючей проволокой. Неужели, и тут, под боком, бункер?.. Погоревали над инвентарем в овраге, раскатившимся на части, и ведь полезные для дела, а вот, лениво покрывающиеся ржавью среди травы. На излюбленной, на нашей с тобой поляночке пожалели от души, что, кроме «сучка» калининского разлива, который донести решили целым, не догадались прихватить чего-нибудь полегче, за рубль с мелочью, в виду полянки, чтоб на

перекуре, оставив кошелку с продуктами, протолкнуть сухой и чистой веточкой пробку внутрь и... как бывало, — ну, ладно, душу не трави, ведь будет день еще. Раздумчиво шагали краем распаханного вплоть до горизонта, всей ширию отдыхающего поля, с грачами, ковыляющими по вывороченным черным пластам... Гонялись, и впустую, за стуком дятла. И до другого дня и раза решили, закатив под ельник, не брать с собой теперь хор-р-рошее бревно, их повстречавшее в лесу и, по всему, бесхозное.

Вернувшись, спустили в погреб все долгосрочное для бати, утолили жажду, и до обеда, раздевшись до трусов (просторных, черных, по колено; их мать именovala не иначе, как «динамы») и шелковой повязки у одного на горле, по-быстрому, в четыре руки перекидали и ходок в двадцать завезли на тачке левую кучу торфа, ссыпанного возле их забора шофером из совхоза, сдержавшим слово, бате данное, всего за 3 и 62, внесенные вперед: нет, все же не вконец мы обезлюдели!

Сели без отца, но только выпили по первой (которая пошла, как все равно вторая) и ложки погрузили в хлёбово (так папа с мамой называли, если густо и обильно получался суп), как затрещал над нами потолок, и обождали бату, уж выставявшего на верхние ступеньки ножищи сорок пятого размера, обутые в резиновые сапоги.

— Садись, вот супцу, пока горячий. Отдохнул маленько?

— Да мухи не дали, проклятые, — сказал отец, изглаживая из щеки ладонью след подушки жесткой.

— Пожалуй, торф-от завезу — тогда.

Они переглянулись, улыбаясь до ушей.

— Готово, батя.

— Неужто завезли?

— Ну, говорят тебе: торф наш. Давай пропустим по единой. Как у тебя с желудком, принимает?

— Брюхо-то? Да ничего, возьмет. Ну, молодцы!..

— Ты с «молодцами» обожди: вот Митька видел в погребке — не дело! Майонез, указано на крышечке, от силы месяц годен, а при + 13, как в погребке у нас, всего неделю. А у тебя с весны стоит, с апреля. Ешь тут порченное, вот и мучаешься. Надо, Мить, холодильник, что ли, взять. В коммиссионке вон я видел за пятьдесят рублей, а ничего, фурычит. Там принесли мы с Митькой, чего было, потом посмотришь, но майонез, ей-Богу, снеси вон в яму.

— Негодный, что ль? Так, а сгодится, может, на что другое, а? Что-то смазать им. Боле не лей, посюда, — оговорил он свой уровень, поднимающийся к твердому ногтю большого пальца, упертого в грань стакана. — Добро-то зря переводить, — его лицо, с трудом податливое на выражения, наметило лукавство.

— С «добром» этим завязываем — решено ведь, Мить? Последний день, и всё! Охота еще пожить.

Отец на это покивал, по виду соглашаясь, но держа в кивках на самом деле устойчивую недоверчивость к благим и простодушным намерениям прорваться из своей судьбы в иную... — Это как с нашим летуном, — сказал он, ставя выпитый стакан и убирая руку на колено. — Они ведь с тетей Варей под немцем оказались. Мы его на лето, значит, в деревню, а почему: вас ожидаючи.

— Ты колбасы возьми хоть, как не родной, ей-Богу... Ну?

— Не погоняй, сынок: хомут я вроде скинул. Вы появились точно в срок, под самую бомбежку, причем вдвоем. Двоих-то мы не ждали. Ну, ничего, говорим с матерью, уж как-нибудь, а как? Никто ж не думал, что мне брöня выйдет, а одной бы мать обоих вас нет, не подняла б. Да, я про Генку. Он же маленькой был, когда наши в Тулу пришли. Солдат ему, ну, пошутить хотел, и спирту в кружечку налей. Малец и выпил.

Скольких? Трех годов, четырех не было еще. Тетя Варя: всё, думаю, не оживет. «Я с Генкой бы тоже тогда, говорит, раз не уберегла». А ничего! Поднялся и потопал. Это событие я ему сказывал: смеется. Крепление принял боевое, говорит. Ну, летун... Как птица ведь небесная, не жнет, не сеет, а туда же: «На мне всё держится!» Всё держится на матери на нашей, жива покуда, а тогда? Девка его неумеха: Васька, считайте, целый год у нас был, пока его папаша Ебипет небу обучал, — и за каким мы лядом в Ебипет этот, прости Господи... За малым ребенком не только материнский, а и отцовский пригляд нужен. А как же? Не понимает... Ладно, мы с матерью малограмотные, но то исполнили, что живые вы и целые. А сколько пацанов не дожило, а из живых безглазых сколь, беспалых... А потому что без отцов: кто с фабрики ушел на фронт, назад ни один не вернулся, а при ней-то всего и оставили, кроме меня, Семена-инвалида и Тупичкина Ванюшу. За всеми бедокурами не углядишь: то снаряд в костер закатят, то барак общий подпалят, то с грузовика сорвутся, и об лед! Как вы росли, так это просто!.. Особенно, когда пошли-потопали ногами. ...Это немца мы уже отодвинули за пределы. Иду с фабрики, Тупичкина Валюшка мне навстречу: «Дядя Костюшин!» Прибег я на пустырь, а вы обои уже по плечики увязшие... В говне-то. Одно спасло, что не месили зря, стояли аккуратно, и силы сберегли. Ну, кто мог знать? Сейчас наш дом стоит, а был пустырь, и все бараки брошенные за четыре зимы пожгли. И заборчики, и сараюшки. Даже и сральни. Ну, а дыря в бурьяне не видать, от срален. Вот и оступились...

— Ну, будет, батя, — сказал он, беря ладонью «Экстру». — С происхождением всё ясно, что не из пёны мы морской. Скажи, а вот какого мнения держался ты тогда, ну, вообще?

— Полстолечка, Серёнь, не боле... Каково мнение? А как все люди. Обратного. Но когда б не

руки-от... Руки удержали, и меня, и всех нас заодно со мной. Стояли, помню, раз на крыше. Ждали. Ну, появляется, гудит. Обратно, думаем, «зажигалками» сыпанет. А он как стебанул! Светло, как днем. И ветром вдруг, и ветром!..

— Взрывной волной, — поправил Митька.

— Во-во. И понесло нас, потянуло. Кто успел, хватался за что попало. Я так за скобу, которая в трубе. Схватил, держу. Ну, думаю, не подведи, родимая. И удержала, вишь: сидим и в ус не дуем. Недаром за работу за такую царь золотом платил. А одного так и вынесло на пузе за край. Начальника.

— Разбился, что ль?

— Ну так с четвертого же этажа. Не совладал с собой-то, напугался. Боялись они очень, которые партийные. Когда он, немец-то, Москву подпёр, так жгли учебники свои, портреты. Кучами. Вот не пойму чего: заместо же икон себе поставили, ну, как же так?.. А кто в петлю лез, это вообще... Нет, не пойму я коммунистов никогда. От страху образ Божий загубить. Это у нас так раньше говорили, что руки-то не на себя человек подымает, на образ Божий, — пояснил он. — Ну, стукнемте давайте, чего ее держать.

— За ту скобу, отец, — сказал вслед выпитому Митька.

Отец поднялся из-за стола, пригладил волосы, седина которых отливает свинцовой тусклостью. Высокий, жилистый и, как обычно, непроницаемый мужик семидесяти лет. — Пойти чего поделать, пока светло, — сказал он и на Митьку глянул: — Где это, сынок, тебя солнышком так прихватило? Ведь только к осени у нас и разгулялось, а так все лето пролья, холод псиный.

— Летал в командировку.

— Эх-х, повезло тебе, сынок. Не пробовали яблочек? Кислятина одна. Компот из них варить, а так!..

Смотря в окно терраски, Митька перебил:

— А вот и Генка, — и все посмотрели, как старший сын и брат, спиной блестя, затворяет тщательно калитку.

— И ладно, посидите вместе, — сказал отец, надевая рабочий берет и выходя на встречный бас: «Куда ты, батя? Отдыхай! Ведь праздник, День танкиста».

V

— О! Что я вижу? Втроем одну поллитру усидеть не смогли. Моща, моща. Я, мужики, к вам на пару минут. Вот, лёгоньким потом залейте, — одним движением рассек тужурку на себе (ведь сколько раз его просили достать нам по такой, — ну, жила...), из-за пазухи вынул и утвердил, бя, царским жестом — в рупь ноль две... — Гуляйте, мужики, а мне пора. Ждет не дождется тут одна, — и подмигнул: вó, мол, какая баба! — Прелестнейшая незнакомка. Так я набрал в Москве всего, чтоб дешево-сердито, — и он похлопал по грудям себя, уставленным снутри бутылками (кажись, бывал и я знаком с той незнакомкой...) — Чего раскисли, надо пить, — он распечатал свое «Міцное», налил под края пустой батин стакан и, не садясь, поощрил с высоты:

— Разливайте чего у вас стоит.

Стоит, стоит, не беспокойся, и есть еще, но ты об этом не узнаешь. Он неохотно взял бутылку и, разливая, морщился щекой, к Митьке повернутой, на старшего.

— Капитан Костюшин, — громыхнул железом так, что близнецы недобро приподняли исподлобные взгляды. — Ты удивляешь меня последнее время, капитан. Давно хочу с тобой поговорить кое о чем, да времени земного нет. Ты по-мужски хоть лей, сержант, все выливай, чего жалеешь. Служил же в армии, как мы, а льешь, как салажонок. Тихо! Я умоляю! — обрвал он младшего, открывшего было жестко рот...

— Радио, быстро! — и младший, перегнувшись над столом, взял с подоконника приемничек с оббитым пластмассовым корпусом, который, чтоб не распадался, мать перетянула неуместной резинкой для трусов, щелкнул, крутнул шкалу, — и от песни, только что издавека, с соседнего надела доносившейся и всем давно остолбеневшей, про летчика Экзюпери, майор Костюшин голову сронил, уперши в стол кулак.

Опустела без тебя Земля,
как мне несколько часов прожить?..

— Мужики, — восшептал он, напирая увлажненной голубизной глаз, — хотя и День танкиста, умоляю: за парня, сбитого над вами в ваш день рождения, за наши ВВС, ура, — и опрокинул «Міцное», ему навстречу упираясь ногами в пол дощатый. И отвернувшись, с пустым стаканом в руке забытым, слушал до конца, и мы с ним, забалдевшие немного:

...А ты все летишь и летишь,
и тебе дарят звезды свою
неж-ность...

— Всё, вырубай. Потопал. Допивайте, парни, и чтоб всё четко. Да: в понедельник лечу на Каспий, может, икры приволоку, так звякните мне на неделе. Ну, мы еще увидимся. Да! Бате надо же помочь, чего он там затеял. Мужики мы или нет? Значит, распорядок будет такой: поднимаю в шесть, для начала пробежку по росе и чтобы только босиком, потом кидаем по-солдатски чего-нибудь в себя, и в руки топоры. Решено? Кто воздержался? Значит, утверждаю! Ну, а тебе я, Митя, коротко пока: держись, прикрою, когда надо, — и, подымая «молнию»: — Да выпить не забудьте, чертяки, чтобы брату повезло в любви!

И ринулся с порога, как на крыльях.

— Любовник, бля, — сказал один.

— Герой, — другой поддакнул.

И можно было их понять...

Один «сучок» провинциального разлива достал, припрятанный, из-под стола и, не спеша, отмерил по ровну обоим.

— Ну что, поехали, — сказал другой, берясь за водку.

— Нет, погоди, — отставил первый. — Прокладку сделаем сперва.

И задымили, глядя с печальной умудренностью в утыканную окурками плоскую консервную баночку.

И речь в дыму пошла такая, устами одного из нас:

— Однажды в брюхе вертолета везли меня в Кызыл-Орду, в военный госпиталь лечиться, после того, как смерч песчаный сошел на нет, и я нашелся, изголодавший, черный, заросший семидневной щетиной, запас патронов расстрелявший, и было только две гранаты, нет, гады, думал, не возьмете, живым не дамся, и то ли я схватил лучёвку, то ли меня похитили с поста китайцы и через госграницу доставили в мешке, по пяткам били, гады, грозились пытку применить, что называлась «тысяча кусочков», и скальпелем срезали лоскуты сначала с век, представь, но я держался, и, как Кибальчиш, гостайну я не выдал, или что... Короче, нездоров был, и меня отправили в Кызыл-Орду, на вертолете, а под сапогами — дыра, ну, ясно, крышка люка, конечно, отвалилась, по разьебайству нашему, вот как наш асс ругает ГВФ, он мне сказал, не верь «Аэрофлоту», по сорок неполадок бывает в самолете перед отлетом в глубь страны, и каждая из них принципиально может развиваться в катастрофу, но я майора не послушал и влез, но, правда, это были ВВС, короче, дыру они заделали фанеркой, и даже не заделали, накрыли просто, чтобы, значит, не выпасть как-нибудь случайно. Я ту фанерку отодвинул сапогом, сижу, вот как сейчас, над краем пропасти-пустыни, весь в ранах, в горле гнойники, температура сорок, ну, и снаружи тоже зной, а до конца

командировки, до дембиля семнадцать дней, нет, месяцев, короче, уйма, пропасть Времени. Внизу провал, обрыв, песок, рельеф тоски и скуки бесконечной, ну, всё, с тобой я мысленно прощаюсь, решая симулировать, что оступился как-нибудь случайно, на всякий случай, чтобы память сохранили об отце и Вовка, и Наташка, но прежде чем исполнить, дай, докурю последний «беломор», такой мгновенный по времени, что не прочувствовал и вкуса. Бросаю я окурочек в круг неба и пустыни, а он, представь! не падает! По турбулентным, видимо, причинам, в дыре возникшим, и из любопытства к феномену, который я рассчитывал в уме, как инженер, и просто любовался, как человек в сержантском, потом просолившемся ХБ, остался я сидеть над краем. И вот, живые оба. Наш первый тост за любопытство к явлениям природы и души, которое неистребимо пусть не оставит нас и при последнем вздохе. Я сказал.

— Пьем, — подтвердили мы.

Но для начала мы выпьем вот за что... За батину скобу и лучик золотой неподалеку, — и вдáли, а потом за любопытство, и за Бермудский Треугольник, и тут же, не откладывая в долгий ящик, за НЛТ, нас наблюдающее в миг прекрасный этот единства и свободы. Есть предложение. Давай. Построить НЛТ из батиной фанеры. Пьем! И ул е т е т ь. Куда? Не знаю. И к у р с о м улететь, лететь по к у р с у. Точно, пьем. Никто не опознает снизу нас радаром, и мы ее достигнем оба. Кого? Е е достигнем, говорят тебе. Ну, полетели, — нет, поехали сначала. Поехали — за Наше Неопознанное Тело! Родное и Единое! Из Батиной Фанеры! И за Курс!

«Сучок» добили, стали брать по «Міщной», смеялись — ну, до слез и пустоты под ложечкой, как в затяжном прыжке неторопливом, без парашюта и наоборот, не сверху, а наоборот, с земли, вот с этой самой, единственной, с которой так поначалу трудно

оторваться, а потому: душа пустила корешки, мы просили, как наш картофель, что под полом, и было оторваться трудно, поймите, а потом — забылись, растворились, поисчезали мы один в другом на этом месте, всегда присущем нам, а из чего оно построено, Бог весть, а сколько это соток, спросите лучше у кустов крыжовника, у грядки стрелчатого лука, у яблонь наших незадачливых, уж отряхавших о ту пору под ноги бате плоды незрелые сырого лета, последнего для одного из нас, — хватало! Нам с ним хватало. А за калиткою проселок, а там вон речка, слева, и церквушечка извечная, а тут вон семилетка, что на бугре крутом, в который, как фингал по рукоять, вонзился навсегда военным первым летом фанерный «ястребок», и хвост его пожухлый со звездой пятиконечно-красной и облезлой оградкой обнесли, в которой уж рассохлись цветочки полевые детишек наших, по весне надевших себе на шею шелк или кумач. И мы сказали голосом единым: да будет память вечная твоей, парнишка, неопознанной душе... со скорбной скоростью достигнув уже обвальной глубины, с которой, как в электронном микроскопе Зойки, мильенократно вдруг возникло перед нами всё в целом население живущее, и в ширь соборную, и в глубину отдельно взятой в нем души — как наша, неисповедимую, и стало невозможно оставаться возле черствеющих кусков черняшки, окурков и стеклянной тары из-под принятого в последний раз на совесть, под честное слово, в сельмаге, в гастрономе, у государства монопольного за трудные рубли загадочной и жидкой материи самопознания, которая, когда в нее добавить марганцовки, попробуйте, ребята, на третий, значит, день родит вам интереснейшего бытия клубок, но только вы обычное берите, строго покупное, не уходящее на экспорт за пределы... Вглядитесь в инобытие белесых нитей, со светлой грустью о чем-то размышляющих на дне: ведь жизнь живая!

Мы встали и пошли, обнявшись, и, перед броском в деревню Лукино, пописали красиво струей единой в лунном свете, омраченном лишь сознанием того, что первыми не мы луны коснулись. И только запах флоксов, цветков таких, батей рассаженных по сторонам крылечка единственно для красоты, благоухал насмешливо и находился в вопиющем противоречьи с познанным до дна отныне мирозданием. И мы грозили ласково благоуханью, не попадая пальцами другой руки на пуговку прорехи, иронии какие, эти флоксы: «Ужо мы вас!...»

Один другого застегнув, нам было по пути к Заплетке, не доходя и влево, и смеялись дальше, считайте, всю дорогу, над звездами непрочными и духом, видно, слабыми: не выстояв в ночи, они валились мимо нас за тянущиеся стены ельника, и гул Вселенной необъятной тревожно наполнял пустую банку ёмкостью в три литра, подмышкой нашей бережно несомую, свиваясь ветром в горле, указывающим путь, а в наши стратегические планы входило вдать, как следует, чтобы потом, когда наступит утро воскресенья, отпиться вволю молоком парным — предусмотрительные, а?..

И во дворе обходчицы застали пахучих мотоциклов пару, «ИЖ» и «Юпитер» без коляски, и безошибочно предугадали дальнейшее, то, что обходчица, немолодая крепкая бабенка, имея штофную рюмаху в руке своей, стоящей локтем голым на вытертой клеенке, изображавшей изобилие, мешающееся с реальным и суровым застольем поминальным Дня танкиста, и мы подсели к мужикам, и вдáли со всей силы за почивших, за неопознанных, пропавших без вести и отклика исчезших: за канувшие в Лету экипажи Т-тридцатичетверок боевых, нас отстоявших Бог уж знает с какою высшей целью...

А как уж банку донесли домой, до горла налитую щедро теплым молоком, не расплескав ни капли,

а вы представьте нас, меж тьмы и звезд бредущих над Россией, — так это было непонятно батю, открывшему нам дверь.

А поутру, как было договорено, нас разбудил старшой, бессонный, настоявшийся до бледности и обойденный щедростью любви сестрички милосердия одной, нам давшей как-то раз ее обоим, о чем он не узнает никогда, обратно внес свои запасы «Міщного» и давит до сих пор перед отлетом в Астрахань и дальше, а мы, опохмелясь, в чрезвычайно трудном с тобой, мой брат, близнец последний по разуму, душе и вообще, чрезвычайном состоянии припали к земле родной и ожидаем чуда (не представляя, что тем временем и Фирка, и Наташка, и Люська с Вовкой сходят на перрон в большой тревоге и нагруженные сумками...), на бугорке, под солнцем шурясь, лопатками припав к березе, мы извлекаем наш последний «беломор» в томлении разлуки, а также в ожидании автобуса, запаздывающего регулярно по расписанию как раз нам для того, чтоб было времечко размять, вдохнуть, не надышаться той дымной горечи — с тобой на пару, под березой, на вытертой прощаньем травке, под мощной и отдельной, как душа, березою с жестоко и напрасно до сердцевины выщербленным основаньем, в которое, уж кто за то в ответе мы на том свете разберемся с Митькой, а может, и на этом, если захочет Бог, — по шляпку вогнан был костыль железно-ржавый.

VI

Так, не вставая, мы, облокотясь, задумчиво курили и вбирали, добирали последними глазами и по крохам, как бы предчувствуя, о к р е с т. И запылили вдаль автобус. И мы поднялись и сошлись с ним у обочины. И было воскресенье. И он привстал, камнями побитый и трудными ухабами. Фанерой громыхнул,

заместо стекол вставленных, непрочных, как известно. И дверцы нам открыл. И разносился окрест по дереву железом, единственный был звук воскресный. Это батя вправлял закраину негодной двери, дождавшейся, чтобы воскреснуть в свой черед, встать в паз и послужить потомкам, перевоплотясь — стеной столь всем необходимой сараюшки, последнему творенью бати. И это буханье толчками прощально отдавалось в сердце общем, оно ведь хрупкое, как сталь, хоть черство, как кирза... Но, делать нечего, взобрались мы в нутро, наполненное светлой пылью. И затряслись обратным курсом: до конечной, которая Запретка, тут всего лишь остановочка одна, потом наш шеф послушно развернется перед воротами глухими, как обычно, как уж повелось, когда нас еще не было, и помнил только батя, и в путь обратный по дозволенному курсу —

но шеф, напрягши шею до вспухших крепко жил, мужик без возраста, но, видно, мощный дух, едва не развалив нас всех на составные части, па-апер вдруг со всей мочи по проселку, то ли с похмелья обознавшись? приняв за стартовую полосу? И лихо взвел нас над конечным пунктом, где был всему конец, в открытое пространство неба, держа на солнце, кепочку надвинув, чтоб не слепило, и оставив всю нашу жизнь земную — сельмаг, надел фабричный и Запретку, — ну, дух! Оно бывает, редко, но бывает, с похмелья трудного... Нам хуля? Мы летим, подталкивая и кивая один другому на девочку-подростка, с которой мы охвачены сияньем пыли лученосной, прихваченной с земли, а девочка сидит себе, не замечая нас, небритых, хмельных и хлюпающих взбухшим слезами носом, счастьем узнаванья, сидит на вспоротом ножами креслище. Имеет на коленях полузастегнутый портфельчик, чья ручка, чтоб держать, заботливо обмотана знакомой до боли изоляционной лентой синей, и слово LOVE чернилами сияет золотисто с того портфеля, —

вроде не по-нашему, ну, да сама-то понимает, раз вывела старательно, ведь девочка совсем, а знает по-нездешнему, летя куда-то, как и мы, и с наливными, крутыми, любо дорого глядеть, такими формами! которых жарко стесняется сама, понятно, по причине несоответствия годкам, — и, губы сжав, глядит перед собою на просёлок, щекой пылая русская земля о русская земля ведь ты еще не скрылась

1978

АВТОР О СЕБЕ

Родился 21. 1. 1948 во Франкфурте-на-Одере: американские войска освободили мою мать из рабочего лагеря под Аахеном, а мой отец, погибший у КПП на выезде из Франкфурта-на-Одере 14. 1. 1948, был техник-лейтенант Группы советских войск в Германии.

Учился в двух университетах — журналистике в Белорусском и русской словесности в Московском имени Ломоносова. Работал рецензентом в журнале «Крестьянка», спецкорреспондентом, редактором, заместителем начальника отдела очерка и публицистики журнала «Дружба народов». Пишу прозу с 1966. Печатали начиная с 1974-го. Повесть, рассказы, очерки, статьи и рецензии выходили во многих центральных издательских сборниках, журналах, еженедельниках и газетах. Отмечен двумя литературными премиями. Был участником VI Всесоюзного совещания молодых писателей и III Общемосковского (оба в 1975).

В 1977 вышла моя первая книга («По пути к дому», изд-во «Советский писатель», Москва).

Являюсь членом СП СССР (с сентября 1977, и не имею пока сведений об исключении из данной организации).

В ноябре 1977, находясь в Париже по приглашению здешних родственников жены-иностранки, обратился к французской администрации с просьбой о политическом убежище. Эта просьба была удовлетворена.

С тех пор, с женой и дочерью пяти лет, живу в Париже.

Сергей Юрьенен

НАКОПИЛСЯ НЕДОСЫП...

* * *

Накопился недосып,
Неоплатный, неубывный,
обложной, сплошной, крапивный —
накопился недосып.

За столом и за пером
вертухает с двух сторон:
палестинским пегим прахом
и российским смертным страхом.

1977

ВЕЧНА

Дворы, дворы — во мгле игры.
Щербатый наст позакатали.
За нашими за воротами
стоят ледовые бугры.

А промеж ними — тлеет лаз,
хрипят горелые бумаги,
зола корежится. От влаги
шепоткой черною сошлась.

1968

* * *

Пацан —
среди листвы, разъеденной дождями,
среди земной разбухшей шелухи,
пацан.
По черной травке медленно бежит
вокруг скамьи заржавленной и волглой.

1968

ПАССАЖИРСКИЙ «ХАРЬКОВ-ГОМЕЛЬ»

Ах ни слова, ни полслова, ни трудов,
перепадное хлестание городов.

Отпускник на нижней — надломан погон.
До пяти подковами клацал вагон.

И по всем по вагонам патрули
алкашонка за ноги волокли...

1967

ГАСТРОЛИ

На перекрестке бездорожий —
трактир под номером.
Актеры жрали борщ.
Иван машину ладил и сопел.

Сентябрь и солнечно. Солома и земля.

Актерская душа? Такой не чуял.
Актерский дар? Такого не видал.
По Мейерхольдам плача не услышал.
А впрочем, что я мог тогда понять?

1969

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Марине Веселовской — двадцать семь,
купальнику зеленому — неделя,
мне — двадцать, Евпатории — семьсот,
а морю и медузам — неизвестно.

Приморскому бульвару — возле ста.
И он пустой.

Один ларек торгует
сосисками, вином и шоколадом,
где на обертке — якорь золотой.

«Мускату» — пять, Марине — двадцать семь,
купальнику, как сказано, неделя,
мне — двадцать, Евпатории — семьсот.

1976

МИЛОСЛАВСКИЙ Юрий — родился в Харькове в 1946 году. Окончил Харьковский университет. С 1973 года живет в Иерусалиме. Некоторое время работал главным редактором газеты «Неделя в Израиле». В журнале «22» опубликована повесть Милославского «Собирайтесь и идите».

СТИХИ

*Перевод с эстонского Василия Бетаки**

1. КОМПОЗИТОРУ

О, не обрывай эту тему для множества тем,
Пусть лучше застынет мелодия гладким кристаллом,
Сквозная, единая, звонкая нота — затем,
Что чистой воды бриллиант не глядится усталым!

Не все ли равно, что за пламя прожгло эту ночь?
Не все ли равно, что за пламя зарю поглотило?
Не верь ненадежным огням, улетающим в ночь,
Верь только холодному блеску ночного светила,
Который, не зная о тени, пронижет алмаз...

2. ЖИВОПИСЕЦ

Глубже лака малинового
Ржавые полутона.
Только в размытых линиях
Нежность вещей видна.

Багровые сумерки стыли
Отвеку в крови моей,
Мой уголь вечерний пылен,
И мрачен отсвет кистей.

* Подстрочник выполнен автором.

А птицы — при чем тут птицы?
Они не поют...

3. LONGISSIMUS DIES

Это день
Похожий на яблоко —
Круглый от нежности взгляда.

Круглый —
В круговой поруке молчащих деревьев
И в шелесте слов...

4. ВИОЛОНЧЕЛИСТ

...И контрабас устал.
И флейты плыли
К тебе, последним, еле слышным свистом.
Всплакнула тускло скрипка,
Так, словно соловей уснул на полуноте.
Но одиноко
Стремилось к небесам крыло виолончели...

5. ЛЮБОВЬ

Пьем под пальмой надежды
Вино прозрачного солнца,
Вдвоем — под пальмой надежды:
Две пары губ и одна душа —
Частица того, чего не найти...

И ломаются крылья пальмы
В черном зеркале счастья...

6. СЕКСТ ПРОПЕРЦИЙ

Желтое платье Кинтии. И сердце мое —
Мрачнее, чем желтая охра песков.
ROMA — AMOR;;;

Отползают большие и синие
Кем-то вылепленные тени лунные
В россыпь шершавых кристаллов
Серой ночи.

Темные, темные пинии
Смотрят, как ты
Рядом со мной семенишь смеющимся шагом,
Но не слышат, как пальцы твои нашептывают
Что-то нежное и бесстыдно-нетерпеливое
Моей ладони...

И вдруг
Огромные капли дождя
Обрываются звоном стеклянных фанфар.

7. НА БЕРЕГАХ ЛЕСБОСА

В сумерках летних стою на песчаной косе над волнами.
Волны устали шуметь, силу теряет Борей.
Тени от дюн и кустов расползаются, тянутся к морю,
Топят ненужный закат в оторопелой воде.
И в безвоздушной дали, нарастая, как черная лава,
Новой печали поток рушит строптивость мою:
Нету ни Сампо*, ни Сафо, лишь ветр-чернокнижник
за мысом
Слушает, как я пою вечную песню без слов.

* Сампо — «мельница счастья» в «Калевале».

8. У ПОВОРОТА РЕКИ...

У поворота реки, в жидком тумане
В растворяющейся, последней минуте ночи
Стирает белье моя старая мать.

Такой я в последний раз
Вижу ее...
Сквозь свет водянистый
Ионийские скалы из ночи всплывают в рассвет.

И сливается контур ее фигуры
С этой молочной, предутренней тишиной.

Свет, как зовут тебя в странный миг,
Когда инеем ты застываешь
На струнах кифары?
И кто — моя мать?
Эти серые тени олив,
Зимний туман над островом Одиссея...

9. МОРСКАЯ СТИХИЯ

Даль морская, Амфитрида! Вновь твой верный раб
Пред тобой на кромке мира жалок, наг и слаб.

Я к тебе тянусь, богиня, и в земной тоске
Округленно губы дышат рыбой на песке.

Ты взмахнула пенной шалью, погнала ко мне
Волн звенящие спирали в белой тишине,

Белым кружевом хлестнула, властно позвала,
Затянула, повязала, вознесла, спасла...

Вознесенье ли — паденье — о, не всё ль равно:
То ли облачко коснется, то ли злое дно!

Ускользнет из-под ладони, словно грудь, волна;
Расцветет, как желтый трольюс*, над тобой луна...

И лучей тугие струны, вертикально, в ряд
Под смычками белых гребней глухо зазвелят,

Кто настроил эту арфу, выбрал цвет струны,
Рассчитал орнамент пены, кривизну волны?

Кто нашел живые ритмы, создал верность мер,
Претворяя Хаос в Космос музыкою сфер?

Кто, когда расчислил пульсы звездных маяков,
Взлеты чаек, шорох ветров, шепоты песков?

Да, «в начале было Слово» — или — прежде слов —
РИТМ — предвечная основа смыслов и миров?

Под лучами ритмов лунных над водой горит
Косный, мертвый камень-Хаос — черный диорит.

Ритм волны меняет форму неподвижных скал
И растет из водной пыли в семь цветов кристалл...

Совершенство зыбких линий — море, — твой урок:
Ритм — предвечная основа. Слово. Нота. Рок.

* Трольюс — купальница — национальный цветок Эстонии.

РАННИТ Алексис — эстонский поэт, историк искусства и литературовед. Родился в 1914 году в Калласте, Эстония. Образование получил в тартусском, вильнюсском, фрейбургском и колумбийском университетах. С 1961 года куратор Института по Изучению России и Восточной Европы Иельского Университета. Автор шести кратких сборников стихов и семи критических исследований, одно из них издано ЮНЕСКО. Основатель международной Ассоциации Критиков Искусства и член Международной Академии Искусств и Литературы. Два сборника его ранних стихотворений были переведены Игорем Северяниным. Отдельными книгами стихотворения его в западных переводах были изданы на английском, немецком, венгерском и литовском языках. Анна Ахматова охарактеризовала поэзию Раннита как «высокий строй души и н е о б ы к н о в е н н о бережное отношение к слову».

Россия и действительность

Владимир Б у к о в с к и й

Изнутри и снаружи

Фрагмент из книги*

Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире.

Начинался обычный тюремный день, очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В шесть часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь: «Падъ-ем! Падъ-ем! Падъ-ем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. Провались ты со своим подъемом!

Заорал репродуктор. Раскатисто и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл Гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера. «Говорит Москва! Доброе утро, товарищи! Утреннюю гимнастику начинаем с ходьбы на месте». Чёрт, поскорее выключить! Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте.

* Книга В. Буковского выходит по-русски в издательстве «Хроника» и на многих иностранных языках. Публикуемый фрагмент — начало книги. Заголовок фрагмента дан редакцией.

Зимнее смурное утро и на воле-то приходит, точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более па-скудного времени. Жить не хочется, и этот день впереди — как проклятье. Недаром поется в старой арестантской песне:

Проснешься утром, город еще спит.

Не спит тюрьма — она давно проснулась.

А сердце бедное так заболит,

Как будто к сердцу пламя прикоснулось.

По заснеженному двору от кухни прогрохотал «тюрьмоход» — тележка с бачками, повезли на разные корпуса завтрак. Слышно, как их разгружают внизу и волокут по этажам, грохоча об пол. Хлопают кормушки, гремят миски, кружки. Овсяная каша, хоть и жидкая, но горячая. Кипяток же и подавно хороший малый, старый приятель. Где-то уже сцепились, матерятся — недодали им каши, что ли? Стучат об дверь мисками. Поздно, зазевались — завтрак, с лязгом и грохотом, словно битва, прокатился дальше по коридору, в другой конец. Кто теперь проверит, кто докажет, дали вам каши или нет? Совать надо было миску, пока кормушка открыта.

Обычно по утрам, после завтрака, повторял я английские слова, выписанные накануне. Два раза в день повторял — утром и перед отбоем. Это вместо гимнастики, вместо ходьбы на месте, чтобы расшевелить сонные мозги. Потом, уже днем, брался за что посложнее. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка: «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого-то нам и не хватало, начался проклятый денечек. Собирайся, да тащись, да устраивайся на новом месте — пропал целый день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут, вечная таинственность.

— Эй, начальник, начальник! Матрасовки брать? А матрасы? А посуду? — Это уже наша разведка.

Если матрасы брать — значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать — значит, на другой, а куда? Если матрасовки брать — значит, на первый или на третий: на втором свои дают, и посуду тоже.

— Всё забирайте с собой, — говорит неопределенно начальник, туману напускает. Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять, на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем, поволокут на строгий режим, на пониженную норму. А может, просто шмон? Это вот не дай Бог, это хуже всего. Книжки у меня распаханы по всей камере на случай шмона, всякие запрещенные вещицы — ножичек, несколько лезвий, шильце самодельное. Всё сейчас заметут.

И замечались все! У каждого же своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат, в вату засунуть — может, не найдут. В сапог тоже можно — да нет, стали последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген, а сапоги — пожалуйста. Батюшки, сапоги! Я же их в ремонт сдал.

— Начальник! Звони насчет сапогов — в ремонте у меня сапоги. Без сапогов не пойду, начальник!

Я этого ремонта два месяца добивался, жалобы писал, требовал, бился, только взяли — и на тебе! Вернуть бы живыми, не до ремонта теперь, всё к чёрту полетело. Хорошо, хоть позавтракать успели — к обеду, может, будем уже на новом месте. Куда ж это, однако, нас гонят?

Барахла у меня скопилось жуть, полная матрасовка. Казалось бы, какие вещи могут быть у человека в тюрьме? А и не заметишь, как оброс багажом. Освобождались понемногу ребята, уезжали обратно в лагеря и бесценные свои богатства норовили оставить здесь, в наследство остающимся. Грешно увозить из тюрьмы то, что с таким трудом удалось протациить через шмоны. Каждая лишняя вещь — ценность.

Вот три иностранных лезвия — за каждое из них можно договориться с баландером, и он будет неделю подогревать наших в карцере — три недели жизни для кого-то, может, и для меня. Тетради общие — тоже ценность, поди их, достань. Три шариковые ручки, стержни для ручек, главное же — книги, не дай Бог шмон! Всё это богатство скопилось у меня в опасном количестве, и никак я не могу исхитриться передать его кому-нибудь, кто остается дольше меня в тюрьме. Не попадал я с ними в одну камеру — не везло.

Но в общем-то похоже было, что просто переводят нас всех в другую камеру, а потому забрали мы и мыло, и тряпки свои, и веревочки всякие — на новом месте всё очень пригодится, особенно если в камере раньше сидели уголовники. После них, как после погрома: камера грязная, всё побито и поломано, дня два чинить и чистить, мыть да скрести — и ни тряпок, ни мыла у них обычно не водится, поэтому даже половую тряпку забрали мы с собой.

Тыфу, ну, кажется, собрались. «Готовы?» — кричит начальник из-за двери. — Готовы!

Дверь открылась, и корпусной вдруг, указав на меня пальцем, сказал коротко: «Пошли со мной». Мать честная, куда же это? Не иначе как в карцер. И, цепляясь в уме за всякие возможности и варианты, спросил я только: «Матрац брать?» — «Бросьте в коридоре». Так и есть, карцер. За что же это? Ничего же не делал. Голодовку объявлю!

Спускаемся вниз, на первый этаж, поворачиваем не к выходной двери, а в коридор — так и есть, карцер! Нет, прошли мимо, идем по коридору. Значит, шмон, к шмоналке идем. Ну, холера, сейчас всё отберут. Как бы им голову заморочить? Говорю первое попавшееся: «Начальник, сапоги отдай, сапоги в ремонте!» — «Послали уже». Послали? Зачем же послали за сапогами, если только шмон? Может, этап?

Заходим в комнату для шмонов. Там уже шмонная бригада Петухова — ждут, как шакалы, сейчас всё отметут. «Так, — говорят, — мешок положите здесь, а сами раздевайтесь». Раздели, как водится; оцупали каждую вещь по швам, в телогрейке одно лезвие было спрятано — не заметили, слава Богу, неделя жизни кому-то. «Одевайтесь». Выводят в коридор, запирают в этапку. Чёрт, значит, этап! Как же я потащусь со всем барахлом по этапу? Я и сам-то еле двигаюсь. И пропадет теперь всё — на каждой пересылке шмон. Как обухом по голове. Куда бы это? Эх я, дурак, тряпку половую взял и мыло. Сапоги! Заиграют сапоги, потом ищи. «Начальник, сапоги давай, сапоги в ремонте!» — «Послали уже».

Надо хоть ребятам дать знать, но как? Этапка самая крайняя, надо мной никого, унитаза нет, кружки у меня нет, тьфу! Написал карандашиком на стене по-английски: «Этапирован неизвестно куда», фамилию и число. Но это мало — когда еще заметят? Надо бы крикнуть как-то. Может, в баню поведут перед этапом? Но вот уже открывается дверь — так скоро? А баня? Нет, идем к выходу. Поворачиваем за угол, идем к вахте. Ну, только здесь и крикнуть. Пятнадцатая камера как раз надо мной. Из всех сил заорал я вдруг, аж Киселев отпрыгнул от меня со страху.

— Пятнаадцатая, Еггоор, меня на этап увозят! На этап забрали! Пятнаадцатая! — Тут они опомнились и втолкнули меня в двери вахты: «Тише, что орешь? В карцер захотел?» Какой карцер... Ври, начальник, не завирайся, где ты меня на этапе в карцер посадишь?

В большой комнате на вахте — не то в красном уголке, не то в раздевалке для надзирателей — посадили на стул. «Сидите!» Тут появился наш воспитатель, капитан Дойников, какой-то сам не свой, торжественно-грустный. Я к нему: «Гражданин началь-

ник, куда?» — тихо так, чтоб никто не слышал. Мнет-ся, глаза отводит: «Не знаю, нет, право, не знаю. На этап». — «Да бросьте вы всё темнить, тайны разводить — куда?» — «Честно, не знаю, не мое дело. Ска-зали, на этап — в Москву, наверно». Знает всё, бес, по лицу видно. «А вещи мои?» — «Уже в машине». Неслыханно! Кто же это за меня вещи таскает, не-ужто конвой? Да, сапоги. «Скажите, чтобы сапоги принесли, сапоги у меня в ремонте». — «Принесут». — «Да как принесут? Уже на вахте, сейчас ехать!»

А он так тихо вдруг говорит: «Не нужны вам больше сапоги». Что бы это значило? Как так мо-жет быть, чтоб сапоги не нужны были? И я ему ти-хо: «Откуда же вы знаете, что сапоги не нужны, если не знаете, куда еду?» Смутился.

Не надо было этого говорить, и так понятно, что творится нечто необычное: этапы никогда с вах-ты не отправляют, а прямо внутрь воронок захо-дит, там и грузят. И вещи сами снесли, и сапоги не нужны, на волю что ли, освободить что ли будут? А может — наоборот? Тогда тоже сапоги не нужны.

— Ну что ж, прощайте, не поминайте лихом, — говорит капитан. Ведут прямо к выходу на волю, открывают двери. Оглядеться не дают — вокруг люди в штатской. А, КГБ! Понятно — не на волю, значит. «Сюда, пожалуйста, в машину». Прямо у ворот стоит микроавтобус и какие-то легковые ма-шины. Снег утоптаный, темный. Где же воронок? Нет, сажают в микроавтобус — чудеса! Внутри, на заднем сиденье, лежит мой мешок в тюремной ма-трасовке. Окна плотно зашторены, вокруг кагебеш-ники в штатском. Предупреждают: в дороге шторы не трогать, в окно не выглядывать. Спереди, между нами и шофером, тоже шторы плотно задернуты, но снизу не прикреплены, болтаются — значит, на ходу будут трепыхаться, что-нибудь да увижу. Ждут еще какого-то начальника, он садится спереди,

с шофером, хлопает, дверца, колышутся шторки — тронулись. Развернулись, повернули еще раз, пошли.

Эх, чёрт, слышали ребята или нет? Должны были слышать — орал я громко. Куда же, однако, меня везут? В Москву? Дойников сказал — в Москву. Но мог и соврать. А куда же меня везти? Почему в микроавтобусе, а не в воронке? Почему не нужны сапоги? А что, очень даже могут. Заведут сейчас в лесок за городом и — при попытке к бегству...

Машина же наша неслась тем временем с сумасшедшей скоростью. Шторки спереди вздрагивали, развевались, и к удивлению своему я вдруг заметил впереди нас милицейскую легковую машину с мигающим фонарем на крыше. В ней два офицера милиции. Один, высунув из окна руку с палочкой, разгонял с нашего пути машины. Что за дьявол — может, случайное совпадение? Нет, минут через пять вновь сильно всколыхнулись занавески спереди, и вновь та же машина с тем же фонарем. Покосившись украдкой назад, увидел я равномерное мелькание света на задних шторках — значит, и сзади шла милицейская машина. А мы неслись и неслись вперед на предельной скорости, даже боязно становилось — не перевернуться бы, зима все-таки, скользко. И вновь на повороте взметнулись шторки, и всё та же милицейская машина впереди. Сзади же свет мелькает непрерывно. Да, вот это чудеса! Так только члены правительства ездят. Никогда еще меня так не этапировали. Куда же это они меня?

Чекисты же мои переговаривались между собой, на меня взглядывали редко, только двое, что сидели с боков от меня, были настороже. И как ни взглядывался я в их лица да в дорогу впереди сквозь щель в занавесках — ничего не мог почерпнуть нового. Ну что ж, в лесок так в лесок — в Москву так в Москву,

что я мог поделать, что предпринять? Ну, стало быть, и думать об этом нечего — что будет, то будет.

Оставалось мне сидеть совсем немного — всего каких-нибудь пять месяцев здесь, в тюрьме, а потом — в Пермскую область, в свой родной 35-й лагерь, примерно на десять месяцев. Это — как праздник, всё равно что домой. Уже прикидывал я, кого застану из ребят, а кто освободится к тому времени. Глухо доходили новости от вновь прибывающих — что-то там в зоне делается, какие новые порядки, какое теперь начальство. Потом же, в марте 78-го, предстояло мне еще в ссылку. Эти вот несчастные пять лет ссылки раздражали меня больше всего срока, как ненужный довесок — ни то, ни сё, ни свобода, ни тюрьма. Да еще смотря куда пошлют, какая там будет работа, какое начальство. А то и хуже лагеря. Известно было, что из пермских лагерей отправляют на ссылку в Томскую область, а там известно что: повал, болота, глухомань, закон — тайга, медведь — хозяин. Из Владимира же на ссылку шли в Коми, и хоть Коми тоже не мед, тоже повал и болота, но как-то ближе к Москве — все-таки Европа.

Поэтому прикидывал я, нельзя ли еще раз исхитриться вернуться из лагеря во Владимир. Надежды было мало, ходили слухи, что по новой инструкции тех, кому осталось меньше года, в тюрьму не посылают. Предписано воспитывать на месте, своими средствами. Оставшиеся же пять тюремных месяцев расписаны были у меня вперед: какую книжку и когда я должен успеть прочесть. В лагере уже не считаешь — успевай поворачивайся. Да и в ссылке не до того будет. Когда же еще и заниматься, как не в тюрьме — и времени не жалко, всё равно уходит даром.

Как ни кинь, выходило, что других университетов, кроме Владимирской тюрьмы, у меня уже не будет. Если даже не намотают мне нового срока, то выйду я из ссылки в 83-м году, и будет мне сорок один год — совсем не возраст для обучения. Да и на воле ничего хорошего меня не ждало. Это только новичок, который первый раз сидит, — тот воли ждет да дни считает. И кажется ему эта воля чем-то светлым, солнечным и недостижимым. Я-то сидел уже четвертый раз и знал, что нет большего разочарования в жизни, чем освобождение из тюрьмы. Знал я также, что больше года мне на этой проклятой воле не удавалось продержаться и никогда не удастся. Потому что причины, которые загнали меня в тюрьму в первый раз, загонят и во второй и в третий. Они, эти причины, неизменны, как неизменна и сама советская жизнь, как не меняешься и ты сам. Никогда не позволят тебе быть самим собой, а ты никогда не согласишься лгать и лицемерить. Третьего же пути не было.

Потому-то, освобождаясь каждый раз, я думал только об одном — как бы успеть побольше сделать, чтобы потом, уже снова в тюрьме, не мучиться по ночам, перебирая в памяти все упущенные возможности, чтобы не казнить, не терзаться, не стонать от злости на свою нерешительность. Эти вот бессонные терзания были в моей жизни самым мучительным, и оттого короткие промежутки моей свободы никак нельзя было назвать нормальной жизнью. Это была лихорадочная гонка, вечное ожидание ареста, вечные агенты КГБ, дышащие в затылок, и люди, люди, людей, которых не успеваешь даже разглядеть как следует. Если ты встретился с человеком один раз и он тебя не продал, ты уже считаешь его хорошим знакомым, если два — близким приятелем, три — закадычным другом, как будто ты с ним полжизни прожил бок о бок.

А встретив человека первый раз, неизбежно смотришь на него как на будущего свидетеля по твоему будущему делу. Неизбежно прикидываешь: на каком допросе он расколется — на первом или на втором? На каких его слабостях попытается играть КГБ? Робкий — значит, запугают, самолюбивый — постараются унижить, любит детей — пригрозят забрать детей в интернат. И смотришь ему в глаза вопросительно — выдержит или не выдержит, когда припугнут сумасшедшим домом. Редко кто выдерживает. А потому не отягощай память ближнего излишней информацией, не ставь его перед необходимостью мучиться потом угрызениями совести. Ты прокаженный, ты не имеешь права на человеческую жизнь, каждый, кто коснулся тебя, рискует заразиться, и если ты действительно любишь кого-то — избегай его, сторонись, делай вид, что не узнал, не заметил. Иначе завтра ему на голову обрушится вся мощь государства.

И потому-то, втискивая 25 часов в сутки, растягивая неделю в месяц, ты должен сделать максимум возможного и даже невозможного, потому что завтра ты опять будешь в лефортовской камере и долго потом ничего не сможешь сделать — может быть, никогда. Опять будешь по ночам перебирать в памяти всё, что упустил, что мог сделать лучше и сильнее, будешь казнить себя за нерасторопность. Ведь столько десятилетий люди ничего не могли сделать — даже плюнуть в морду тем, кто их убивал. И миллионы их сгинули, мечтая хоть чем-нибудь отплатить за свои мучения. А у тебя — была возможность кричать на весь мир, были друзья, на которых можно положиться, было время — что ты успел сделать? И миллионы мертвых глаз будут обжигать тебе душу укоризненными вопрошающими взглядами.

В Сибири мне рассказывали об одном способе охоты на медведя. Где-нибудь вблизи медвежьей тропы на сосне прячут приманку — обычно мясо с тухлин-

кой. А на ближайший толстый сук этой сосны привязывают здоровенную тяжелую колоду, так чтобы она заслоняла путь к приманке и притом свободно раскачивалась на канате. Медведь, чуя приманку, лезет на ствол и встречается на пути колоду. По своей медвежьей натуре он даже не пытается эту колоду обойти, а отодвигает ее в сторонку и лезет дальше. Колода, качнувшись в сторону, бьет медведя в бок. Мишка ярится, толкает колоду сильнее, та, естественно, бьет его еще сильнее, медведь — еще сильнее, колода — еще сильнее. Наконец, колода бьет его с такой силой, что оглушает и сшибает с дерева. Примерно такие же отношения сложились у меня с властями: чем больший срок мне давали — тем больше я старался сделать после освобождения, чем больше я делал — тем больший срок получал. Однако и время менялось, и возможности мои увеличивались, и трудно было сказать, кто из нас медведь, кто колода и что из этого всего выйдет. Я, во всяком случае, отступать не собирался.

Выходило таким образом, что не только эти пять месяцев расписаны у меня вперед, но и вся жизнь: десять месяцев в лагере, пять лет в ссылке, потом — в лучшем случае — год лихорадки, называемой свободой, затем еще десять лет тюрьмы и еще пять ссылки.

Это уже, кажется, мне будет 57 лет? Ну, еще на один круг мне могло хватить времени, а умирать выходило опять на тюрьму. Оттого-то и не ждал я ее, эту свободу, не считал дней и месяцев. Я сам себе напоминал того джинна из сказок «Тысячи и одной ночи», которого посадили в бутылку, — и первые пять миллионов лет он клялся озолотить того, кто его освободит. А вторые пять миллионов лет — уничтожить того, кто его выпустит. Во всяком случае, чувства этого джинна были мне понятны.

Была, однако, и другая причина, заставлявшая меня расписывать тюремное время вперед и каждую минуту использовать для занятий: сама тюрьма.

Человек, не дисциплинирующий себя, не концентрирующий внимания на каком-либо постоянном занятии, рискует потерять рассудок или уж, во всяком случае, утратить над собой контроль. При полнейшей изоляции, отсутствии дневного света, при монотонности жизни, постоянном голоде и холоде, впадает человек в какое-то странное состояние, полудрему-полумечтательность. Часами, а то и целые дни напролет, может он глядеть невидящими глазами на фотокарточку жены или детей, или листать страницы книги, ничего не понимая и не запоминая, или вдруг заводит с соседом бесконечный, бессмысленный спор на совершенно вздорную тему, как бы застревая на одних и тех же доводах, не слушая собеседника и фактически не опровергая его аргументов. Человек абсолютно не может сосредоточиться на чем-то определенном, уследить за нитью рассказа.

Странное что-то происходит и со временем. С одной стороны, время несется стремительно, поражая этим твое воображение. Весь нехитрый распорядок дня с обычными, монотонно повторяющимися событиями: подъем, завтрак, прогулка, обед, ужин, отбой, подъем, завтрак, прогулка, обед, ужин, отбой — сливается в какое-то желто-бурое пятно, не оставляющее никаких воспоминаний, ничего, за что могло бы зацепиться сознание. И вечером, ложась спать, человек, хоть убей, не помнит, что же он весь день делал, что было на завтрак или на обед. Более того, сами дни неразличимы, полностью стираются из памяти, и замечаешь вдруг, будто кто тебя толкнул: батюшки, опять баня! — это, значит, семь, а то и десять дней пролетело. Так и живешь с ощущением, будто каждый день у тебя баня. С другой стороны, это же самое время ползет удивительно медленно: казалось, уже год

прошел — ан нет, всё еще тот же месяц тянется, и конца ему не видно.

Опять же, становится человек страшно раздражительным, если что-то нарушает его монотонную жизнь. Вдруг, например, водят гулять не после завтрака, а после обеда. Какая, казалось бы, разница, однако это доводит до бешенства, почти до исступления. Или поругался с надзирателем, или вызвал на беседу воспитатель, а ты с ним завелся — и вот уже не можешь ни читать, ни спать, ни думать о чем-нибудь другом. Строчки в глазах прыгают, мысли скачут, а тебя аж трясет всего. Ну что, казалось бы, необыкновенного? Этих споров, этих бесед, этой ругани с надзирателями было в твоей жизни столько, что и сосчитать невозможно. Однако несколько дней и ночей ты будешь перебирать в уме, что сказал он, что ты ответил, что мог ты сказать, да не сказал, не сообразил сразу. И как бы ты мог его особенным образом поддеть или обрезать, ответить более ехидно или более убедительно. Словно испорченная пластинка, этот разговор всё крутится и крутится в мозгу, и нет сил его остановить. Или вот получишь из дому открытку какую-нибудь цветастую и смотришь, смотришь на нее, как идиот, и так дико видеть разные непривычные цвета, что оторваться не можешь.

Нельзя сказать, чтобы голод был очень мучителен, — это ведь не острый голод, а медленное хроническое недоедание. Поэтому очень быстро перестаешь ощущать его резко, остается нечто монотонно сосущее, наподобие тихой тянущей зубной боли. Даже перестаешь понимать, что это голод, а так, через несколько месяцев, замечаешь вдруг, что стало больно и неловко сидеть на лавке, и ночью, как ни ляг, всё что-то жмет или давит — уж и матрас несколько раз перетрясешь, и ворочаешься с боку на бок, а всё неловко. Только так и ощущаешь, что кости вылезли.

Но это тебе как-то даже безразлично. Да еще с койки вставать не надо резко — голова кружится.

Самое же неприятное — это ощущение потери личности, точно проволокли тебя мордой по асфальту и совсем не осталось никаких характерных черт и особенностей. словно твою душу со всеми ее изгибами, извилинами и потайными углами да узорами — прогладили гигантским утюгом, и стала она плоская и ровная, как картонная манишка. Затирает тюрьма. От этого каждый человек норовит как-то выделиться, проявить свою индивидуальность, оказаться выше других или лучше. У блатных в камерах постоянные драки, постоянная борьба за лидерство, убийства даже бывают. У нас, конечно, этого нет, но через четыре-пять месяцев сидения в одной и той же камере с одними и теми же людьми становятся они тебе до омерзения понятны, так же, видимо, как и ты им. В любой момент знаешь, что они сейчас сделают, о чем думают, о чем спросить собираются. А чаще всего в камере и не говорят ни о чем, потому что всё друг о друге знают. И удивляешься, как же малосодержательны мы, люди, если через полгода уже и спросить друг у друга нечего.

Особенно же тяжело, если есть у твоего сокамерника какая-нибудь бессознательная привычка — например, носом шмыгать или ногой постукивать. Уже через пару месяцев совершенно невольно становится, убить его готов. Но вот развели вас в разные камеры или попал ты в карцер, и через некоторое время встречаетесь вы, как родные: сразу куча вопросов, рассказов, новостей, воспоминаний — праздник на неделю. Бывает, конечно, и полная психологическая несовместимость, когда люди и двух дней в камере не могут прожить, а жить им предстоит так годами. Вообще же всё человечество делится на две части: на людей, с которыми ты мог бы сидеть в одной камере, и на людей, с которыми не смог бы. Но ведь никто твоего

согласия не спрашивает. Поэтому необходимо быть предельно терпимым к своим сокамерникам и в то же время подавлять свои привычки и особенности: ко всем нужно приспособиться, со всеми поладить, иначе жизнь станет невыносимой.

Помножьте теперь все эти тяготы на годы и годы, возведите их в квадрат, добавьте сюда все те годы, которые вы просидели до этого, в других лагерях и следственных тюрьмах, и тогда вы поймете, почему нужно занять каждую минуту постоянным делом — лучше всего, изучением какого-нибудь сложного, запутанного предмета, требующего громадного напряжения внимания. От постоянного электрического света веки начинают чесаться и воспаляются. Десятки раз читаешь одну и ту же фразу, но никак не можешь ее понять. С огромным усилием одолевашь страницу, но только ты ее перевернул — уже ни звука не помнишь. Возвращайся назад, читай двадцать, тридцать раз одно и то же, не позволяй себе курить, пока не осилишь главу, не позволяй себе ни о чем думать, мечтать или отвлекаться, не позволяй себе даже сходить в туалет — для тебя нет ничего важнее на свете, чем выполнить то, что наметил на сегодняшний день. А если назавтра ты ничего не помнишь — бери и читай заново. И если ты кончил книгу, можешь позволить себе один выходной день, только один, потому что уже на второй память начинает слабеть, внимание рассредотачивается и ты опять медленно погружаешься, уходишь под воду, точно утопающий, — глубже, глубже, пока не начнет звенеть в ушах, а цветные круги поплывут перед глазами. И еще неизвестно, вынырнешь ли ты.

Особенно заметно это в карцере, в одиночке: ни книг, ни газет, ни бумаги, ни карандаша. На прогулку не водят, в баню не водят, кормят через день, окна практически нет, лампочка где-то в нише, в стене, у самого потолка, еле-еле потолок освещает. Один

выступ в стене — твой стол, другой — стул, больше десяти минут на нем не просидишь. Вместо кровати на ночь выдается голый деревянный щит. Теплой одежды не полагается. В углу параша, а то и просто дырка в полу, из которой целый день прет вонь. Словом, цементный мешок. Да еще курить запрещено. Грязь — вековая. По стенам кровавая харкотина, потому что туберкулезников сюда тоже сажают. Вот тут и начинается твой спуск под воду, на самое дно, в самую тину. Так в тюрьме это и называется — спустить в карцер, поднять из карцера.

Первые дня три еще шариишь по камере, ищешь — может, кто до тебя ухитрился пронести махорки и спрятал остатки, может, окурки где заначил. Все ямки и трещинки облазаешь. Еще существует для тебя ночь и день. Днем всё больше ходишь взад-вперед, а ночью стараешься заснуть. Но холод, голод и однообразие берут свое. Дремать можно лишь минут десять-пятнадцать, затем вскакиваешь и минут сорок бегаешь, чтобы согреться. Потом опять дремлешь минут пятнадцать — или привалясь на щит (ночью), или подвернув под себя ноги, прямо на полу, спиной упершись в стену (днем), — затем опять вскакиваешь и полчаса бегаешь.

Постепенно чувство реальности совершенно утрачивается. Тело деревенеет, движения становятся механическими, и чем дальше, тем больше превращаешься в какой-то неодушевленный предмет. Трижды в день дают кипяток, и этот кипяток доставляет несказанное наслаждение, точно оттаивает всё у тебя внутри и временно возвращается жизнь. Всё в тебе наполняется сладкой болью — минут на двадцать. Дважды в день перед оправкой дают клочок старой газеты, и уж этот клочок ты прочитываешь от первой до последней буквы, причем несколько раз. Перебираешь в памяти все книжки, какие читал, всех знакомых, все песни, какие слушал. Начинаешь складывать или множить в уме

цифры. Обрывки каких-то мелодий, разговоров. Время абсолютно не движется. Ты впадаешь в забытие, то вскакиваешь и бегаешь, то опять дремлешь, но это не разнообразит жизнь. Постепенно пятна грязи на стене начинают сливаться в какие-то лица, точно вся камера украшена портретами сидевших здесь до тебя эзков. Галерея портретов твоих предков.

Можно часами их разглядывать, расспрашивать, спорить, ссориться и мириться. Через некоторое время и они уже не вносят разнообразия. Ты знаешь о них всё, точно просидел с ними в одной камере полжизни. Некоторые раздражают тебя, с некоторыми еще можно перекинуться словом. Есть такие, которых нужно сразу обрезать, иначе они становятся слишком навязчивыми. Они будут нудно и монотонно рассказывать никчемные подробности своей никчемной жизни. Они будут врать и приукрашивать свою жизнь, если заметят, что ты их слушаешь. Они услужливы и суетливы до омерзения. Другие молчат и угрюмо поглядывают исподлобья — с ними держи ухо востро: только заснешь, они могут и пайку стянуть. Есть и дружелюбные, общительные ребята, обычно помоложе, с которыми и пошутить можно. Они покладисты, никогда не унывают и за компанию готовы удавиться. Такие обычно сидят за хулиганство, групповое изнасилование или групповой грабеж. В углу, над парашей, живет старый вор-законник. Он сразу же начинает интриговать, настраивать разные группки друг против друга и всех их против тебя. Шушукается с ними по углам, обменивается какими-то многозначительными взглядами. Важно и авторитетно, ни к кому конкретно не обращаясь, он травит бывальщину: рассказывает о пересылках, о лагерях, об убийствах. Он явно провоцирует конфликт в камере, хочет установить свой порядок. Он знает, кому что положено, а кому не положено. С ним не избежать серьезной стычки, и лучше это делать сразу, пока он не сколотил своей групп-

ровки, пока его авторитет не утвердился. Но и это всё тонет, стирается и оставляет тебя один на один с вечностью, с небытием.

Трудно понять, где кончаешься ты и начинается эта бесконечность. Тело твое — уже не ты, мысли твои тебе не принадлежат, они приходят и уходят сами собой, не повинаясь твоим желаниям. Да и есть ли у тебя желания? Я абсолютно уверен, что смерть — это не космическая пустота, не блаженное ничто. Нет, это было бы слишком успокоительно, слишком просто. Смерть — это мучительное повторение, нестерпимое одно и то же. А потому возникает навязчивый, однообразный — не то сон наяву, не то размышления во сне.

В первой серии события происходят среди сложных, гудящих станков, монотонно двигающих рычагами. Огромные ножи с лязгом и свистом опускаются со всех сторон. Крутятся шестеренки, зубчатые колеса, с грохотом брякаются гигантские стальные кулаки. Каждую секунду тебя может расцезь пополам, сплющить в лепешку или затянуть в огромные шестерни. Ты в постоянном движении: то отскакивая в сторону, то отшатываясь назад, то пригибаясь, ты стараешься выбраться из этих механических, металлических, рычащих джунглей. У этих машин, ножей и рычагов нет никакого ритма, никакой закономерности. Сплошной хаос. И ты должен угадать чутьем, в какую сторону тебе прыгнуть, чтобы не быть раздавленным. И ни на секунду нельзя остановиться, ибо там, где ты только что стоял, уже пронесся многотонный стальной молот и от его удара всё вздрогнуло. А сзади, спереди, сбоку уже свистит, шипит и грохочет. Так проходят тысячи лет. Но это только первая серия.

Во второй серии совершается какая-то постыдная церемония. В огромном здании по бесконечным залам и переходам движется нескончаемый поток людей.

Страшная давка. Все хотят пробиться вперед, туда, где происходит главное таинство. Неестественный свет озаряет этот поток толкающихся людей. Но всё происходящее исполнено какого-то омерзительного значения: что-то позорное, нестерпимо постыдное — толпа голых людей всех возрастов с уродливыми телами. И ты среди них. Всё это происходит под однообразную, повторяющуюся мелодию — не то хорал, не то заклинания, которым подчиняются все ваши движения. Так еще тысячи лет.

В третьей серии — не то комната, не то шахматная доска. Не то люди, не то шахматные фигуры, потому что все вы связаны очень сложными психологическими отношениями. От каждого твоего слова или малейшего движения зависит, что сделают они, а это, в свою очередь, влияет на тебя, на всех и на каждого. Поэтому любой из присутствующих должен постоянно производить в уме невероятно сложные расчеты, учитывая все возможные решения остальных. И этим расчетам нет конца, как нет конца числу возможных комбинаций. Вы все сосредоточены и напряжены, вы считаете, предполагаете, допускаете, опровергаете, пересчитываете, комбинируете. Так — до бесконечности, потому что вы сцеплены намертво тканями взаимоотношений. При этом каждый старается выглядеть совершенно беззаботным.

Тут ты вскакиваешь на ноги и начинаешь бегать из угла в угол, взад-вперед, туда-сюда, потому что всё тело затекло и онемело. Так бегаешь и бегаешь, пока однообразие стен и твоих собственных движений не возвратит тебя в первую серию, в машинное отделение с его ножами, молотами, колесами и рычагами. Так проходят целые эпохи, и всё становится омерзительно: всё, что внутри тебя, и всё, что снаружи, — всё это известно заранее, измусолено твоими взглядами и размышлениями. Сам себе человек становится противен до тошноты — только уйти от самого себя

некуда. Эта вот мучительная пустота долго потом не заживает в сознании, как открытая рана, и только много спустя становится она шрамом в душе. Ничего не остается в памяти от этого времени — провал.

Один раз мне сказочно повезло — я нашел примерно полпачки махорки, аккуратно спрятанные в щель в стене. Полпачки отсыревшей махорки... Но лучше б я ее не находил, эту чёртову махорку! Потому что, с одной стороны, негде было взять спичек, с другой же — нестерпимо захотелось курить. Сотни раз я обшаривал всю камеру, но спичек не нашел. Оставался только один способ прикурить — залезть на стену, под самый потолок, и клочок своей одежды при помощи какой-нибудь палочки просунуть сквозь решетку в нишу, а там аккуратно положить на лампочку. Минуты через три тряпка должна начать тлеть, и тогда от нее можно будет прикурить. Но как залезть на трехметровую высоту без единой точки опоры, да еще оголодавшему, ослабевшему человеку? Судя по некоторым пятнам и царапинам, было ясно, что мои предшественники как-то ухитрились. И от этого желание закурить становилось нестерпимым. Половина следующей ночи ушла у меня на то, чтобы ногтями отщипнуть как-нибудь щепку от своего щита, причем щепку подлиннее, чтобыхватило ее от решетки ниши до лампочки. Затем с утра следующего дня начался штурм стены. Совершенно идиотское занятие — наскакивать на абсолютно голую стенку, с разбега ли, с места ли, цепляясь за нее ногтями, и буквально рычать от бессилия и беспомощности. Быть может, мои предшественники были выше ростом, сильнее или лучше подготовлены. Может быть, они были альпинисты. Но уже ничто не могло меня остановить, я ни о чем другом не мог думать, я совершенно озверел и дошел до иступления. Я поклялся: или добиться своего, или расшибить себе голову об эту стенку.

Первый день кончился безрезультатно. Ночью я приставил щит к стене, вскарабкался под потолок и прикурил-таки от лампочки. Однако это не могло успокоить, это только дразнило меня кажущейся достижимостью, и с утра штурм возобновился. Так прошел еще один день, еще одна ночь, новый день и новая ночь. Я совершенно перестал существовать. Во мне осталось только одно желание — залезть на стенку. Ногти поломались и кровоточили, пальцы распухли, к ночи я обыкновенно изматывался настолько, что уже и по щиту не мог залезть с первого раза. Я срывался, падал, вставал и снова лез к лампочке, как лезут на свет насекомые. Я уже ничего не чувствовал — ни боли, ни холода, ни голода, — было только одно желание, существовавшее вне меня и помимо меня: залезть на ту проклятую стенку, к этой чёртовой лампочке. Я даже не понимал уже, зачем мне это нужно, и поэтому, когда на четвертый день, ценой невероятных усилий, взмахов, толчков и прыжков, я оказался вдруг под потолком, вцепившись мертвой хваткой в решетку ниши, я обнаружил, что щепка с клочком тряпки на конце давно выпала у меня из зубов и валялась на полу. Так и висел я, вцепившись в эту проклятую решетку, в десяти сантиметрах от лампочки, и плакал.

Конечно же, я не мог вспомнить, какая именно комбинация движений подбросила меня на эту лампочку. Главное — цель была достижима. Для меня, с моим ростом, силами и способностями к альпинизму, это было достижимо. А потому еще два дня ушло на штурм. Да, к концу пятого дня я добился победы, полной и окончательной победы. И не было в моей жизни большего достижения, большей победы, которой мог бы я гордиться так, как этой. Каждый день потом, по три раза на день, карабкался я на эту стенку, чтобы прикурить маленький чинарик махорки. И стало это уже настолько обычным делом, что даже не могло нарушить монотонности моей жизни —

обычного медленного погружения в мучительное, однообразно повторяющееся ничто.

Зная всё это, старался я протащить в камеру кусочек карандашного грифеля, обычно спрятав его за щеку. И если мне это удавалось, то потом весь свой карцерный срок — на клочках газеты или прямо на полу, на стене — рисовал я замки. Нё просто рисовал их обычный вид, а ставил себе задачу: построить замок целиком, от фундамента, полов, стен, лесенок и потайных ходов до остроконечных крыш и башенок. Я обтачивал каждый камень, я настилал паркетные полы или мостил их каменными плитами, я обставлял залы мебелью, вешал гобелены и картины, зажигал свечи в шандалах и коптящие смоляные факелы в бесконечных переходах. Я накрывал столы и приглашал гостей, я слушал с ними музыку, пил вино из кубков, выкуривал потом трубку за чашкой кофе. Мы поднимались по лестницам, проходили из зала в зал, смотрели на озеро с открытой террасы, заходили на конюшню и смотрели лошадей, шли в сад, который тоже предстояло разбить и насадить всякие растения. Мы возвращались в библиотеку по наружной лестнице, и там, затопив камин, я усаживался в мягкое кресло. Я листал старые книги в истертых кожаных переплетах с тяжелыми медными застежками. Я даже знал, что написано в этих книгах. Я мог читать их.

Этого вот занятия хватало мне на весь карцерный срок, и еще много вопросов оставалось нерешенными до следующего раза — ведь иногда несколько дней уходило на обсуждение вопроса: какую картину повесить в гостиной, какие шкафы должны быть в библиотеке, какой стол поставить в обеденной зале. Я и сейчас с закрытыми глазами могу нарисовать его, этот замок, со всеми подробностями. Когда-нибудь я найду его... или построю.

Да, когда-нибудь я приглашу своих друзей, и мы пройдем вместе по подъемному мосту через ров, войдем в эти залы, сядем за столы. Будут гореть свечи и звучать музыка, а солнце будет тихо садиться за озером. Я прожил в этом замке сотни лет и каждый камень обточил своими руками. Я строил его, сидя под следствием и во Владимире. Он спас меня от безразличия — от глухой тоски безразличия к живому. Он спас мне жизнь. Потому что ты не можешь онеметь, не имеешь права быть безразличным. Потому что именно в такой момент тебя пробуют на зуб. Это ведь только в спорте судьи и противники дают тебе обрести лучшую форму — грош цена этим рекордам. На самом деле самое большое испытание норовят навязать, когда ты болен, когда ты устал, когда особенно нужна передышка. Тут-то берут тебя и хрясь об колено! Именно в такой момент тебя, ошалелого, вытаскивает из подвала кум, ловец душ человеческих, или воспитатель на беседу.

О нет, они не станут прямо так, в лоб, предлагать сотрудничество. Им нужно пока гораздо меньше — каких-то мелких уступок. Просто приучить тебя к уступкам, к мысли, что надо идти на компромиссы. Они аккуратно щупают, созрел ты или нет. Нет? — ну что ж, иди в свой подвал, созревай, у них впереди столетия.

Глупые люди! Они не знали, что я возвращаюсь к своим друзьям, к нашим прерванным беседам у камина. Откуда им было знать, что я разговаривал с ними, стоя на стене замка, сверху вниз, озабоченный больше проблемой благоустройства конюшен, чем их глупыми вопросами? Что они могут сделать против толстых каменных стен, против зубчатых башен и бойниц? И я, посмеявшись над ними, возвращался к своим гостям, плотно прикрывая за собой массивные дубовые двери.

Именно в такой момент, когда всё безразлично, когда сознание онемело и только с тоской отсчитывает дни, — в соседнем карцере кому-то становится плохо, кто-то теряет сознание и падает. И нужно колотить в дверь, скандалить и звать врача. За этот стук и скандал разъяренный гражданин начальник непременно продлит тебе карцерный срок. Поэтому молчи, уткнись головой в колени, скажи себе, что ты спал и ничего не слышал. Какое тебе дело? Ты его не знаешь, он тебя не знает, вы никогда не встретитесь. Ты ведь действительно мог не услышать. Но может ли себе это позволить обитатель замка?

Я откладываю книгу в сторону, беру свечу и иду к воротам, чтобы впустить в замок путника, которого застигла непогода. Какое мне дело, кто он? Даже если это разбойник, он должен обогреться у очага и переночевать под крышей. И пусть беснуется буря за воротами замка — ей не сорвать крыши, не пробить толстых стен, не задуть моего камина. Что она может, буря? Разве что выть и рыдать мне в трубу.

Тюрьма как общественный институт известна человеку с незапамятных времен, и смело можно сказать, что как только возникло само общество, так сразу же возникла и тюрьма. Видимо, с того же времени процветает литературный жанр тюремных воспоминаний, дневников, записей и заметок. Дело здесь не в том, что недавние обитатели тюрем — люди словоохотливые. Совсем напротив. Освободившийся из тюрьмы человек склонен скорее избегать общества или разговоров и больше всего любит тихо сидеть где-нибудь в одиночестве, неподвижно уставясь в одну точку. Но уж больно теребят его окружающие, задают кучу, как правило, самых нелепых вопросов, требуют всё новых рассказов, и чувствует человек, что не будет ему житья, пока не напишет он тюремных воспоминаний. За всю нашу историю по меньшей мере десятки миллионов

людей побывали в тюрьме, и тысячи из них изложили на бумаге свои впечатления. Однако это не утолило жажды человечества, того вечного жгучего интереса, который неизменно возбуждает к себе тюрьма. Потому что с древнейших времен привык человек считать, что всего страшнее на свете — *смерть, безумие и тюрьма*. А страшное притягивает, манит, страх — всегда неизвестность. Ну, в самом деле, вернись сейчас кто-нибудь с того света — то-то его вопросами замучают!

Три события, приходящие независимо от нашего желания, по воле рока, как бы взаимосвязаны. Если безумие — это духовная смерть, духовная тюрьма, то и тюрьма — подобие смерти, а чаще всего и приводит человека к смерти или безумию. Человека, попавшего в тюрьму, и оплакивают, как покойника, и вспоминают, как усопшего, — всё реже и реже с течением времени, точно он и вправду не существует. Эти вот три страха, живущие в человеке, используются обществом для наказания непокорных. Точнее сказать, для устрашения остальных — ибо кто ж теперь всерьез говорит о наказании?

Понятно, что каждый член общества живо интересуется, чем же его пугают и что же с ним, в самом деле, могут сделать. И так это устрашающее назначение тюрьмы прочно засело в сознании людей, что все — от законодателя до надзирателя — считают само собой разумеющимся: в тюрьме должно быть скверно и тяжело. Ни дна тебе, ни крыши быть не должно. Ни воздуху, ни свету, ни теплу, ни пищи — это ж не курорт, не дом родной! Иначе вас и на волю не выгонят, уходить не захотите! Особенно же возмущается общество, когда заключенный начинает заикаться о каких-то там своих правах или о человеческом достоинстве. Ну, представьте себе, в самом деле, если грешники в аду начнут права качать — на что это будет похоже?

При этом как-то само собой забылось, что первоначально предполагалось не заключенных пугать, а тех, кто еще на воле остался, то есть само общество. И, стало быть, это общество само себя теперь тем более пугает, чем больше терзает заключенного. Они, следовательно, жаждут этого страха. Конечно, и тюремное население, как всякое порядочное общество, имеет свою внутреннюю тюрьму, называемую карцером, а кроме того — различные режимы содержания: менее строгие, более строгие, особо строгие. Поскольку даже в тюрьме человеку должно быть небезразлично, что же с ним станет. Всегда должно быть что-то, что можно еще у него отнять и чего он терять не хочет. Потому что человек, которому терять нечего, смертельно опасен для общества и является величайшим соблазном для всех честных людей — если, конечно, он не труп. И чтобы не завидно было остальному человечеству, чтобы не соблазнялись праведные души, все эти режимы и внутренние наказания рассчитаны таким образом, что последняя их стадия, когда человеку действительно терять нечего, подводит как можно ближе к состоянию естественной смерти. Потому-то знающий зэк не судит о тюрьме по фасаду или по общей камере — он судит по карцеру. Так и о стране вернее судить по тюрьмам, чем по достижениям.

Веками внутреннее устройство тюрем было примерно одинаково, и постороннему человеку, который придет на экскурсию, скажем, в Петропавловскую крепость, никак не понять, что же в ней особенного, в этой тюрьме. Койка — как койка, стены — как стены. Ну, решетки на окнах. Так ведь на то же и тюрьма, чтобы не убежать. И книжки читать разрешали — чего ж еще желать. И уж совсем не понять постороннему человеку, что такое режим.

Какая, собственно, разница — час у тебя прогулки или полчаса, 450 грамм хлеба дают в день или 400,

75 грамм рыбы или 60? Это надо быть бухгалтером или поваром, чтобы подсчитать такое обилие цифр. Постороннему человеку одно только и интересно, умирали заключенные от всего этого или не умирали. Ах, не умирали — ну, так не о чем и говорить! Обычно самое сильное впечатление производят на посторонних сводчатые потолки и толстые стены. Мрачно, страшно! Вот она такая, тюрьма-то, бррр... И сколько бы тюремных воспоминаний они ни прочли, никогда не понять им всех этих мелочей, всех этих пустяков.

Вот стоит сваренная из металлических стержней кровать. На ней ватный матрац — всё вроде бы нормально. Но, оказывается, заключенные, спавшие на таких кроватях, даже голодовку объявляли, требуя, чтобы уменьшили просветы между металлическими стержнями. Странно как-то — стояли кровати лет уже, наверно, двадцать, и никто не заикался насчет просветов. Сдурели что ли эки, есть им не хотелось или куражились? Дотошный архивист, может быть, раскопает в тюремных архивах, что примерно в то же время распорядился начальник тюрьмы отбирать у заключенных старые газеты и журналы. Вполне разумное распоряжение — чтобы, стало быть, не захламляли эки камеру всякой макулатурой. Похвально. Но никакой связи между этими двумя событиями даже архивист не усмотрит, и только зэк может понять эту связь — если спать на этой кровати он мог, только подложив под матрац кучу журналов и газет. Но вот отобрали их — и моментально кровать обратилась в орудие пытки. За одну ночь матрац весь провисает в дырки, и ты спишь на железной решетке.

Полагается, например, в карцере тумба или иное приспособление для сидения, и всякий карцер имеет такое приспособление — некий выступ из стены, сиди себе и сиди целый день. Но вот сделали этот выступ чуточку выше, чем надо бы, и чуточку короче, уже,

плотно сесть нельзя, а ноги не достают до пола. Все-го-то, казалось бы, сантиметры какие-то, пустяки...

А эти 50 грамм хлеба или 15 грамм рыбы — что за мелочи, право, и говорить даже стыдно. Забывает человек, что даже пушинка сломала когда-то спину верблюду. Забывает, что разница между жизнью и смертью такая ничтожная, такая пустяшная: всего-то на пару градусов изменить температуру тела — глядь, а это уже труп. И сколько существует тюрьма, этот общественный институт, столько же продолжается борьба, кипит великая битва между эками и обществом. За граммы, сантиметры, градусы и минуты. Идет она с переменным успехом. То эки напрут, а общество отступит. Там 50 грамм, здесь — 5 сантиметров, тут — 5 градусов отвоюют эки, а глядишь — жизнь! Но не может общество допустить жизнь в тюрьме. Должно быть в тюрьме страшно, жутко — это же тюрьма, а не курорт. И вот уже напирает общество: там 50 грамм долой, здесь 10 сантиметров, тут 5 градусов, и начинают эки доходить. Возникает сосаловка, мориловка, гнуловка. Начинается людоедство, помешательство, самоубийство, убийство и побеги.

Много лет я наблюдал за этой борьбой, глухой и непонятной для посторонних. Есть у нее свои законы, свои великие даты, победы, битвы и поражения. Свои герои, свои полководцы. Линия фронта в этой войне, как, видимо, и в других войнах, всё время движется. Здесь она именуется режимом. Зависит она от готовности эков идти на крайность из-за одного грамма, сантиметра, градуса или минуты. Ибо как только ослабевают их оборона, тотчас же с победным кличем бросаются вперед эскадроны с красными погонами или с голубыми петлицами. Прорывают фронт, берут в клещи, ударяют с тыла — и горе побежденным! Победителя же никогда не судят.

Новому поколению эзков никогда не удастся отвоевать прежних позиций — новое положение они воспримут как нормальное, как исконное, как должное. Они могут десятки раз выигрывать свои битвы, но проиграть можно только единожды. Поэтому эзки, объявившие голодовку и снявшие ее, ничего не добившись, проиграли не только свою войну, но и многим будущим поколениям ухудшили жизнь. Вот еще почему не можешь ты погрузиться в безразличие, впасть в оцепенение. Оно, это безразличие, будет шептать тебе в ухо: главное — выжить! Думай о сегодняшнем дне, прожил его — и слава Богу. И вот уже гремят копыта, поет труба, идут в атаку эскадроны.

Так-то вот сидел я себе во Владимире и почитывал книжечки. Кроме основного своего предмета — биологии, — учил я еще английский. Большинство в наших камерах обычно учит какой-нибудь язык: евреи, как правило, учат иврит, остальные — кто английский, кто немецкий, кто испанский. Методика самая простая: читай как можно больше книг со словарем и выписывай незнакомые слова, а потом всё время эти слова повторяй. Обычно для удобства выписывается слово на клочок бумаги: с одной стороны — само слово, на обороте — его русское значение. Карточки эти потом удобно перебирать той или другой стороной.

А чтобы они не путались и не терялись, вошло у нас в моду клеить из пустых спичечных коробок шкаф. Очень удобный получался шкаф — в пять-шесть рядов, с выдвижными ящичками. Таким вот способом при известном напряжении можно выучить за месяц две, а то и три тысячи слов. Можно их группировать по ящичкам шкафа — по смыслу или по иному признаку. Начальство уже к нашим ящичкам так привыкло, что даже и на шмоне их не отбирали. С книгами же, и в особенности со словарями, было гораздо труднее.

Из дому получать книг не разрешалось, библиотека была бедная, а можно было выписывать книги из магазинов по почте наложенным платежом. Но и то не всякие книги разрешались. В особенности же было запрещено иметь книги, изданные не в СССР, — даже словари, даже изданные в Праге или в Варшаве. Потому, естественно, все норовили получить книги как-нибудь нелегально.

Мне в этом смысле повезло. Еще сидел я под следствием в Лефортове, а мать моя уже начала передавать каждый месяц по три-четыре книги, вместе с передачами. Причем среди советских книг были и не советские, изданные в Англии и в Соединенных Штатах. Лефортовское начальство мне их, конечно, не передавало, а складывало на склад. Надеялись они, что я о том не знаю и при отъезде из тюрьмы не потребую. Таким образом скопилось их на складе штук 30. Отправляли же меня из Лефортова во Владимир ночью, когда крупного начальства в наличии не было. Естественно, я начал скандалить, требовать свои книги и пригрозил заявить этапному конвою, что тюрьма не отдает мне вещи. Этапный же конвой ни тюрьме, ни КГБ не подчиняется: более того — как и все офицеры МВД, с КГБ враждует. Поэтому, рассчитал я, вполне может конвой заартачиться и не взять меня на этап «как имеющего материальные претензии к тюрьме» — так это называется. Того же, видимо, боялись и лефортовские надзиратели. Конечно, дежурный офицер сначала поругался со мной с полчаса для приличия, попытался взять на горло. Но уж знали они меня достаточно, сидел я у них третий раз, — понимали, что не уймусь, и книги отдали. Так и привез я во Владимир целый мешок книг — еле дотащил.

С этим мешком книг имел я потом постоянную мороку: то их у меня отнимали — для проверки, а потом не отдавали; то, наоборот, заявляли, что проверять их некому, а потому отдать нельзя; то вводили

лимит — 5 книг на руки, остальные опять же отбирали. И каждый раз приходилось мне из-за них то жалобы писать, то голодовки объявлять. Один раз в лагере я их даже украл со склада, подменив другими. Словом, целая эпопея. Любопытно, однако, — никто их ни разу не просматривал, никто даже не знал, что они не советские, иначе мне никакие голодовки не помогли бы. Просто раздражал мой мешок начальников. «У нас здесь не университет, учиться будете после освобождения». Вот и всё.

Так или иначе, а каждый из нас имел свой мешок с книгами, причем, как правило, книги эти передавались по наследству — от одного поколения эков к другому — и являлись как бы общественным достоянием. А потому шла у нас с начальством непрерывная книжная война — как, впрочем, и по другим вопросам режима война не прекращалась. Книги приходилось прятать, чтобы не попадали они начальнику на глаза, особенно же на случай шмона. Задача эта далеко не простая — книга же не иголка, куда ее спрятать? В камере, как ни трудно, а все-таки еще можно извернуться. Но хуже нельзя было придумать, если вдруг открывалась кормушка и корпусной говорил: «Соберитесь с вещами». Это могло означать всё, что угодно: перевод в другую камеру, перевод на другой корпус, в карцер, на этап. И во всех случаях предстоял персональный шмон. Куда ж их девать, эти чёртовы книги?

Помогало очень, если оторвать у книги корешок, титульный лист, а то и предисловие. И тогда можно было спорить, что это не книга вовсе, а бумага для туалетных надобностей. Так можно было одну-две книги заначить. Еще наострились ребята подделывать библиотечный штамп: дескать, это не моя книга, а библиотечная. Но и это разоблачили со временем. Если с книжки ободрать корешок, а на его место аккуратно приклеить обложку от толстого журнала, то

можно было выдавать ее за журнал — «Октябрь» или «Новый мир», например. Но вскоре стали отбирать и журналы. Самое же верное было побыстрей читать и как можно больше переписывать в тетрадь. Такие конспекты считались уже законной собственностью зэка и тоже переходили по наследству. Но их часто забирали на проверку КГБ, чтобы выяснить, не пишем ли мы антисоветских романов или тюремных дневников. Словом, шла Столетняя книжная война.

Начальство наше очень скоро сообразило, что мы, в отличие от уголовников, гораздо острее переживаем потерю книг, свиданий или переписки с родственниками, чем лишение продуктов питания, строгий режим или пониженный рацион, и потому нажимало на всякие духовные лишения. Хотя, конечно, ударить по желудку, как говорят уголовники, всегда оставалось излюбленным средством воспитателей, им они тоже не пренебрегали. У нас же было свое оружие: жалобы, голодовки, упорство и изобретательность. Но главное, без чего никакая изобретательность не спасла бы нас, — это сплоченность и гласность.

Поразительное явление: всего каких-нибудь тридцать лет назад десятки миллионов политических заключенных гнали на великие стройки коммунизма, сотни тысяч их гибли от цынги и дистрофии. А весь мир в это время, захлебываясь от восторга, восхвалял прогрессивный советский режим. Не то что бы не хватало им информации, а просто не желали знать, не хотели верить. Хочется людям иметь красивую мечту о счастье и справедливости где-нибудь на земле. И даже самые серьезные западные наблюдатели изумлялись грандиозности советских достижений, размаху строительства, энтузиазму советских людей, о зэках же — ни слова.

Теперь же по стране сидело нас, политических, никак не больше двух десятков тысяч, примерно

столько, сколько в одном Норильске умирало раньше эков за зиму. Но уже почуяли на Западе, что и их судьба, их собственное будущее решается отчасти во Владимирской тюрьме. Стала западная печать уделять нам некоторое внимание, даже вникать в нашу режимную войну, во все эти граммы, градусы, сантиметры. Заинтересовалось вдруг человечество — может ли быть тюрьма с человеческим лицом? Нам это оказалось весьма кстати — тюрьма-то у нас давно была, а вот человеческого лица сильно не хватало. А потому не успевала иногда закончиться наша очередная голодовка, как надзиратели тайком сообщали нам подробности передач Би-Би-Си или радио «Свобода» об этой самой голодовке — даже их увлекла эта радиовойна.

Забеспокоились и кремлевские вожди — очень их стало заботить, что тускнеет фасад великого здания. Ах, это всегда так некстати! Вот в тот самый момент, когда пролетарии всех стран готовы были, наконец, соединиться и воплотить вековую мечту человечества, в тот самый миг, когда все усилия народов надо направить на борьбу с диктатурой в Чили или с апартеидом в Южной Африке, — вдруг выплывают какие-то эки, какие-то голодовки, пайки, граммы и градусы. Это отвлекает трудящихся, помогает мировому империализму, отдаляет светлое будущее.

А с другой стороны — менялось настроение и самой государственной машины: не было больше того революционного пыла и рвения — расстрелял его Сталин в 30-40-е годы. Всё больше деревенел аппарат, захватывала его чиновничья апатия, боязнь ответственности, боязнь начальства, добротное бюрократическое равнодушие. Обросли законами, инструкциями, постановлениями, и не всегда понятно было, как их толковать. Лучше всего, конечно, — доложить наверх и ждать распоряжений. Сверху же распоряжаться не спешили. Сверху любили, в основном, наказывать чиновников за нерадивость, спускали всё новые инструкции,

постановления, которые опять надо было истолковывать как-то, примирить их вечные противоречия. И пухла голова у начальника тюрьмы.

Ему и понятно, что всякая инструкция должна быть использована против эков, но вот до какой степени? Перегнешь немножечко, поприжмешь их покрепче, и глядишь — голодовка. Опять завопят из Лондона, Мюнхена, из Вашингтона. А это значит, что недели через три-четыре нагрянет комиссия из Москвы. «Как же так, товарищи? Поддались на провокацию мирового империализма!» Конечно же, найдут какие-нибудь неполадки, недоделки, запишут, укажут, поставят на вид, а то и снимут — у каждого чиновника ведь пропасть врагов, так и норовят подсидеть, занять место, вырвать кусок из глотки. Поэтому офицеры и начальники тюрьмы тоже слушают западные радиостанции, крутят по ночам приемники, спрашивают друг друга на утро: было вчера что-нибудь? Было — значит, жди комиссии. Вздыхают старые тюремщики: распустили вас, двадцать бы лет назад!..

Но и мы уже далеко не те кролики, что умирали молча и безропотно. Мы поняли великую истину, что не винтовка, не танки, не атомная бомба рождает власть, не на них власть держится. Власть — это покорность, это согласие повиноваться, а потому каждый, отказавшийся повиноваться насилью, уменьшает это насилие ровно на одну двухсотпятидесятимиллионную долю. Мы прошли через участие в правовом движении, прошли хорошую школу в лагерях, мы знаем, какую сокрушительную силу имеет человеческая непокорность. Знают всё это и власти. Давно уже отбросили они в своих расчетах всякие коммунистические догмы. Не нужно им больше от людей веры в светлое будущее — им нужна покорность. И когда нас морят голодом по лагерям или гноят по карцерам, добиваются от нас не веры в коммунизм, а покорности или хотя бы компромисса.

Во Владимирскую тюрьму нас собрали по всем лагерям — самых непокорных, самых упрямых: голодовщиков, забастовщиков и жалобщиков. Здесь почти не было людей случайных, а те немногие случайные люди, которые попадали к нам, поневоле встраивались в нашу линию обороны.

В соседних камерах сидели зэки на особом режиме, по таким же статьям, как и наши. Большинство из них, однако, были люди случайные — в основном, уголовники, проигравшиеся в карты или еще как провинившиеся перед своими сокамерниками. Чтобы избежать расплаты, эти люди расклеивали в своем лагере листовки или делали себе антисоветскую татуировку — им добавили срок и посадили на этот вот особый режим как «политических рецидивистов». Конечно же, по существу, психологически, они оставались уголовниками. И что удивительно: у них, на особом, режим ничем не отличался от режима сталинских лагерей. То же начальство, те же надзиратели относились к ним совсем иначе, чем к нам: их били, унижали, они дрались между собой за пайку хлеба, они предавали друг друга — какая уж там оборона!

До 1975 года нас, политических, на работу не гоняли: тюремное начальство считало это нецелесообразным. Знали они по прошлым годам, что большинство на работу не пойдет, а кто и пойдет, всё равно норму делать не будет. Невыгодно было это тюрьме — держать рабочее помещение, вольнонаемных мастеров и добавочный план на нас, не получая реальной выработки. Весной же 75-го — в ожидании Хельсинки что ли — Москва распорядилась иначе: приказано было заставить нас работать.

Принудительный труд и вообще-то унизителен для человека. В условиях же тюремной системы, где 80% заработка вычитается тюрьмой на нужды охраны, а из оставшейся суммы вычитается стоимость твоего питания, одежды и содержания, где работа —

это средство твоего перевоспитания, где отнимает она 8 часов в день при шестидневной рабочей неделе, при том нормы выработки искусственно завышаются, чтобы сделать труд непосильным, — в таких условиях труд неприемлем для уважающего себя человека.

Естественно, мы отказались. И началась долгая осада. Всех нас — как злостных отказчиков — по несколько раз протащили через все возможные виды наказания: только на строгом режиме я за это время просидел полтора года (это из неполных двух!). Другим больше досталось карцеров, кое-кто просидел там по 60 и даже 75 суток. Нам пресекли переписку с родными, лишили свиданий, продуктов. Война шла безжалостная, на износ. Каждый понимал, что проиграть нельзя. Поэтому, кроме обычных методов обороны: голодовок и нелегальной передачи информации на волю о беззакониях в тюрьме, мы применили и несколько неожиданный метод — завалили официальные инстанции буквально лавиной жалоб.

Нужно знать советскую бюрократическую систему, чтобы понять, какой это давало эффект. По существующим в СССР законам, каждый заключенный имеет право подавать жалобы в любые государственные или общественные учреждения и должностным лицам. Жалоба должна быть отправлена тюрьмой в трехдневный срок с момента ее подачи. За это время начальство должно написать сопровождающее ее пояснение от себя, а также выписку из личного дела жалующегося, и всё это вложить в тот же конверт, что и жалобу. Инстанция, которая жалобу получает, регистрирует ее в журнале своих входящих бумаг и обязана в течение месяца дать на нее ответ. Если инстанция не компетентна решать затронутый в жалобе вопрос, она пересылает ее в компетентные инстанции. На повторную жалобу заводится отдельное производство. Существует несколько законов и инструкций, регулирующих порядок рассмотрения жалоб. На пра-

ктике, если вы написали одну жалобу, это никогда не дает эффекта: ее перешлют «компетентному лицу», то есть именно тому, на кого вы жалуетесь. А он, естественно, найдет жалобу необоснованной. Чаще всего жалоб просто никто не читает, а сразу пересылают их вниз, по инстанции. Такая практика породила в людях неверие в силу жалоб. Ворон ворону глаз не выклюет — говорят эски.

Однако при соблюдении известных правил жалобы весьма эффективны, даже в тюрьме. Нужно только:

- знать законы и порядок рассмотрения жалоб;
- досконально знать все законы и инструкции о тюремном режиме;
- жалобу составлять предельно кратко, четко, лучше всего на одной странице, иначе ее никто читать не станет. В жалобе должен быть указан только факт нарушения закона или инструкции, дата этого события, фамилии виновных и указание на закон или на инструкцию, которые при этом были нарушены;
- писать нужно крупным шрифтом и разборчивым почерком, оставляя сбоку поля;
- если ты хочешь, чтобы жалобу рассматривала высокая инстанция, жалуйся на начальника предыдущей: то есть если тебе надо, чтобы отвечало главное начальство МВД, жалуйся не на начальника тюрьмы, а на начальника областного управления. Для этого нужно медленно подниматься по ступенькам чиновничьей лестницы, жалуясь каждый раз выше на ответ предыдущей инстанции;
- никогда не жалуйся по двум различным вопросам в одной и той же жалобе;
- отправлять жалобу надо заказным письмом с уведомлением;
- самое главное условие: жалобы надо писать в огромных количествах и в самые некомпетентные инстанции.

В разгар нашей войны мы писали каждый от десяти до тридцати жалоб ежедневно. Сочинить тридцать жалоб в один день трудно, поэтому обычно мы распределяли между собой темы и каждый писал на свою тему, а потом давал остальным переписывать. Если у вас в камере пять человек и каждый берет на себя по 6 тем, то в результате обмена каждый напишет по 30 жалоб, а сочинять придется только по шесть. Переписывать же 30 страничек готового текста, да еще крупным почерком — это примерно полтора-два часа работы.

Адресовать жалобы лучше всего не чиновникам, а самым неожиданным людям и организациям: например, всем депутатам Верховного Совета, республиканского или областного, городского совета, всем газетам и журналам, всем космонавтам, всем писателям, художникам, артистам, балеринам, всем секретарям ЦК, генералам, адмиралам, передовикам производства, чабанам, оленоводам, дояркам, спортсменам, и так далее, и тому подобное. В Советском Союзе все мало-мальски известные люди являются должностными лицами.

Далее происходит следующее: тюремная канцелярия оказывается завалена жалобами и не успевает отправлять их в трехдневный срок, так как им нужно составлять вышеупомянутые сопроводительные записки к каждой жалобе. За нарушение срока отправки они непременно получают выговор и лишаются премиальных. В самые жаркие дни нашей войны по приказу начальника тюрьмы в помощь канцелярии привлекались все: библиотекари, вольнонаемные бухгалтеры, цензоры, офицеры политчасти, оперативники. Более того — рядом с тюрьмой находилось училище МВД, так курсантов пригоняли помогать канцелярии.

Все ответы и отправки нужно регистрировать в специальную тетрадь и строго следить за соблюдением сроков ответа и отправки. Все эти жалобы про-

ходят сложный путь и во всех инстанциях регистрируются, на них заводятся папки и делопроизводство. В конечном итоге, они все обрушиваются в две инстанции: в местную прокуратуру и местное управление МВД. Эти инстанции тоже не успевают отвечать, тоже нарушают сроки, за что тоже получают выговоры и лишаются премий. Бюрократическая машина работает на всех парах, а вы переносите бумажный вал с инстанции на инстанцию, сея панику в рядах противника. Чиновники есть чиновники, они вечно враждуют друг с другом, и очень часто ваши жалобы становятся оружием в их руках для междоусобной или межведомственной войны. Так продолжается несколько месяцев. Наконец, в дело вступает самый мощный фактор советской жизни — статистика.

В какую-то высокую инстанцию докладывают среди прочих цифр и сводок, рапортов и сообщений о ходе строительства коммунизма, что вот, на Владимирскую тюрьму, а то и на всю область, поступило — за отчетный период — 75 тысяч жалоб. Никто этих жалоб не читал, но цифра неслыханная. Она сразу портит всю отчетную статистику, какие-то показатели в социалистических соревнованиях каких-то коллективов, управлений или даже областей. Всем плохо: вся область из передовых переходит в отстающие, у нее отбирают какие-то там переходящие красные флаги, вымпелы и кубки. Трудящиеся негодуют, в обкоме паника, а в вашу тюрьму срочно снаряжается высокая комиссия.

Эта комиссия не поможет вам лично, разве что разрешит несколько мелких вопросов в ваших жалобах. Но она обязательно должна найти массу недостатков и упущений в работе начальства. За этим ее и посылали, платили ей командировочные, суточные и премиальные. Начальство получает разгон. Кого-то снимают, кого-то понижают в должности, кто-то получает выговор, комиссия рапортует вверх о принятых

мерах и удовлетворенно уезжает домой. Далее, поскольку вы посылали жалобы всяким дояркам, депутатам, балеринам и оленоведам, то им всем тоже надо отвечать, разъяснять и успокаивать, сообщать о решении комиссии и о принятых мерах.

А вы всё пишете и пишете дальше, портите статистику за новый отчетный период и выбиваете новую комиссию, и так — годами. Прибавьте сюда комиссии и выговоры, которые возникают в результате утечки информации за рубеж, директивы, циркуляры, контрприказы, жалобы родственников, кампании и петиции за границей — и вы поймете, что выдержало наше начальство, воюя с нами за выход на работу. Какой начальник тюрьмы, какой прокурор, какой секретарь обкома КПСС захочет такой жизни? И если бы это зависело только от них, мы давно бы прорвали блокаду. Но был приказ Москвы.

Бог мой: чего только они ни делали с нашими жалобами: их конфисковывали мешками, их крали, не давали нам бумаги, не продавали конвертов и марок, запрещали отправлять заказными с уведомлением (чтобы удобнее было красть), издали специальный приказ и запретили писать жалобы куда бы то ни было, кроме прокуратуры и МВД, сажали за жалобы в карцер. А ответы — какие мы получали ответы! Это же фантастика! Ошалевшие чиновники, не успевавшие даже прочитать наши жалобы, отвечали невпопад, путали адресатов, путали жалобы. Они так перекорезили и переврали несчастные законы, что их самих можно было посадить в тюрьму. Например, полковник МВД из местного управления отвечал мне, обалдев от бумажной бури, что Съезд КПСС не является общественной организацией и поэтому, дескать, нельзя обращаться к нему с жалобами. Конечно же, последовал шквал жалоб на полковника, и он исчез в этом водовороте.

А владимирские суды, совершенно осатанев от груды исков и требований уголовного преследования наших начальников, отвечали нам, например, что офицеры МВД не подсудны советским судам. Наконец, на всё махнув рукой, нам вместо ответов стали присылать расписки примерно такого содержания: «За истекший месяц получены и отклонены 187 ваших жалоб» — и подпись. Вся бюрократическая система Советского Союза оказалась втянута в эту войну. Не было такого ведомства или учреждения, области или республики, откуда б мы не получили ответа. Бывало, что две инстанции давали диаметрально противоположный ответ, и тогда мы их срамливали. Под конец мы втянули в эту игру даже уголовников, и жалобная зараза стала расползаться по тюрьме — всего же в тюрьме было 1200 человек.

Я думаю, если дело протянулось бы несколько дольше и вся тюрьма включилась бы в эту работу, то советская бюрократическая машина просто вышла бы из строя: все учреждения Советского Союза прекратили бы свою работу и писали бы нам ответы. Осада была снята после двух лет борьбы. Нашего начальника тюрьмы сняли и отправили на пенсию, произвели кое-какие перемещения в администрации, и всё затихло. Москва отступилась от своего приказа. Бедный наш полковник Завьялкин! Он пострадал ни за что, пал жертвой административной несправедливости. В сущности, он не был злым человеком, он был просто исполнительным чиновником. Он плохо понимал, что происходит, а от бесчисленных комиссий и противоречивых указаний, сыпавшихся ему на голову, он защищался весьма своеобразно — прикидывался дурачком, таким исполнительным дурачком, который всё хочет, как лучше, да вот беда — выходит наоборот! Его распекали, его бранили, ставили на вид — он всё принимал с видом безвинного, но невезучего человека.

Победа досталась нам нелегко. Поддошли, отощали ребята, у каждого открылась какая-нибудь болезнь: у того — язва, у этого — туберкулез. В тюрьме и здоровому человеку нелегко, а уж больному — совсем труба. Болезнью тебя начинают шантажировать: будешь сговорчивым — подлечим, дадим диетпитание, переведем в больницу. При язве и болезни печени всю эту гнилую кильку и тухлую квашеную капусту совсем невозможно есть, а это — 60% твоей пищи, куда деваться? Если у тебя туберкулез или, скажем, голодные боли при язве, очень любят начальники сажать в карцер. Да еще в голодный день, когда пищи не полагается, норовят тебя вызвать на беседу. Туберкулезникам, по крайней мере, легче — они хоть боли не чувствуют.

Собственно, лечить здесь никого не лечат. Могут слегка смягчить остроту болезни, залечить поверхностно, не допустить смерти. В результате, как правило, у всех болезни приобретают хроническую форму, и потом уже от них не избавишься — всю жизнь на лекарства зарабатывай. Это считается вполне нормальным. «Вы что, лечиться сюда приехали? Мы вас в тюрьму не звали, не надо было попадать», — говорят врачи. Да и больница, собственно говоря, ничем не отличается от обычной камеры: такие же бетонные полы, такие же жалюзи на окнах; ни света, ни воздуха, только что кормят получше. Даже унитазов нет — на оправку водят два раза в день. Не захочешь такой больницы.

Вообще медпомощь здесь рассматривается как награда за хорошее поведение. В соседней камере у уголовников сидит эпилептик. Каждый день эки стучат в дверь, требуют врача. Какой там врач! Часа через четыре, может быть, заглянет в кормушку фельдшер: «Что, эпилептик? Не умрет, больше не зовите», — и захлопнет кормушку. Когда у нас в камере стало плохо Гуннару Роде, мы полночи ломились в дверь, орали

в окно, вырвали из пола скамейку и ей с разбегу били в дверь, как тараном, выбили кормушку напрочь, дверь треснула. Еще немного, и дверь бы вылетела. Потом нас всех посадили в карцер, но Роде все-таки забрали в больницу. В другой раз посадили опять в карцер Сусленского, а он сердечник, и как его в карцер посадят, у него дня через три — приступ. Так и в этот раз. Тут уж весь корпус, все камеры, включая уголовников, ломали двери — грохот стоял, как при канонаде. Корпус ходуном ходил. Шутка сказать, 66 камер — около двухсот человек долбили двери. В результате Сусленского на носилках перенесли в другой карцер, на другой корпус — только и всего.

Так что нелегко нам досталась наша победа — зато для скольких поколений эков отстояли мы право не работать в тюрьме, кто знает? Да и добились многих улучшений. А самое главное, боятся нас теперь начальники, как огня! И когда новый начальник тюрьмы попытался было опять прижать нас с книгами — всего только несколько дней и проголодали, а уж начальник сдался. Нас и пальцем тронуть не смеют теперь. Уголовников же, что ни вечер, кого-нибудь отволокут в туалет и лупят. А то в наручники затянут и месят сапогами. Что ни вечер — крики, стоны. Особенно известен этим майор Киселев. Вечно пьяный, с белесыми, невидящими глазами, он просто больной делается, если за смену кого-нибудь не отметелит. Нас же обходит стороной, даже дышать боится, чтобы не учуяли запах перегара.

Особенно навалились мы на него после того, как в конце 74-го года убили в его смену в карцере уголовника по кличке Дикарь. Никто не знал фамилии этого несчастного Дикаря, и были мы в затруднении, как же писать об этом случае в заявлениях: так и писали — «уголовник по кличке Дикарь». Долго его били, видно, всю ночь, потому что всю ночь выл он в карцере. Несколько раз за эту ночь вызывали мы корпусного, спра-

шивали, в чем дело. «А кто его знает, — отвечал он, — должно быть, сумасшедший, вот и воет». Наутро сообщили нам уголовники, в чем было дело. С тех пор два года одной из наших постоянных тем в жалобах был этот Дикарь — требовали суда над Киселевым. Одних только жалоб написали тысячи полторы. Суда, конечно, не добились, прокуратура неизменно отвечала: «Причастности администрации к смерти осужденного Гаврилина не установлено». Только так и узнали его фамилию.

Киселев, однако, поутих и уж, во всяком случае, нас боялся. Ненавидел он нас при этом люто и всегда норовил составить на нас рапорт, чтоб наказали. Вся смена у него была такая же, как он, словно на подбор, — один Сорок первый чего стоил! Маленький такой корпусной, старшина Сарафанов, постоянно дежурил на первом корпусе в смене Киселева. Кличку свою он получил от эзков много лет назад за то, что за одну смену как-то написал 41 рапорт. Как он ухитрился успеть — уму непостижимо, тем более, что был он полуграмотный. Исключительно ехидная скотина! Этот, да еще корпусной по кличке Цыган, тоже из смены Киселева, больше всего доставляли нам забот и открыто нас ненавидели. Цыган был, правда, откровеннее, прямее. Кричал нам, не стесняясь: «Жаль, Гитлер не всех вас в печках сжег!» — он считал, что мы все евреи. Ну, уж и мы им спуска не давали.

Остальные надзиратели, особенно помоложе, относились к нам неплохо, иногда с открытым сочувствием. Так же, как и мы, ненавидели они капитана КГБ Обрубова, приставленного к нам в качестве оперуполномоченного по тюрьме. Как и уголовники, надзиратели называли его Адмирал Канарис. Внешне Обрубок действительно чем-то походил на Канариса, но, думаю, был во много раз глупее. Подсылал он к нам постоянно баландеров, шнырей и прочих уголовников из хозобслуги, чтобы те взяли у нас какую-нибудь

записочку на волю или письмо. За это приносил им тайком запретный в тюрьме чай. Хозобслуга, естественно, всё это рассказывала нам, считая такой путь наиболее простым, и просила нас сочинять для них туфтовые записочки. Нам это тоже было выгодно, так как взамен хозобслуга соглашалась передавать нашим в карцер махорку, а иногда и хлеб. Поэтому мы регулярно снабжали Обрубова туфтовыми посланиями на волю, а то и петициями в ООН, которые он представлял выше как доказательство своей полезности. Заработанный таким образом чай баландеры продавали в камеры блатным, так что все были довольны.

Несколько лет тому назад, как рассказывают, был Обрубов понаглее и понастырнее, вызывал всех подряд и предлагал сотрудничать, писать доносы. Одним в награду обещал приносить еду, другим — водку, третьим — досрочно освободить. Наконец, надоело это ребятам. Особенно же взорвались после того, как вызвал Обрубов таким вот образом Заливако, Бориса Борисовича, бывшего священника, и предложил ему за сотрудничество — после освобождения помочь получить приход. Некоторое время потребовалось, чтобы сговориться, особенно между разными корпусами, и в назначенный день все как один объявили голодовку с требованием прекратить наглую вербовку и убрать Обрубова. Совершенно неожиданно голодовка эта вызвала ликование у начальства и даже в прокуратуре. Моментально появился начальник тюрьмы и прокурор и, еле сдерживая радость, спрашивали, действительно ли Обрубов так грубо вел вербовку. С тех пор Обрубов открыто не появлялся, вербовать не отваживался, да и не вызывал почти никого, бродил где-то вокруг нас. Уголовники рассказывали нам, что много раз видели, как он стоит часами и подслушивает у дверей наших камер.

Надо сказать, что отношение к нам уголовников тоже стало совершенно иное. Рассказывают, что еще

лет 20 назад называли они нашего брата не иначе как фашистами, грабили на этапе и по пересылкам, угнетали в лагерях и так далее. Теперь же вот эти самые уголовники добровольно помогали таскать на этапах мои мешки с книгами, делились куревом и едой. Просили рассказать, за что мы сидим, чего добиваемся, с любопытством читали мой приговор и только одному не могли поверить — что всё это мы бесплатно делаем, не за деньги. Очень их поражало, что за вот так за просто, сознательно и бескорыстно люди идут в тюрьму. Во Владимирской тюрьме отношения у нас с ними сложились самые добрососедские: постоянно обращались они к нам с вопросами, за советами, а то и за помощью. Мы были высшими судьями во всех их спорах, помогали им писать жалобы, разъясняли законы, и уж, разумеется, бесконечно расспрашивали они нас о политике.

В тюрьме, хочешь не хочешь, а даже уголовники читают газеты, слушают местное радио и, может быть, впервые в жизни задумываются: отчего же так скверно жизнь устроена в Советском Союзе? Подавляющее их большинство настроено резко антисоветски, а слово «коммунист» — чуть ли не ругательство. Из-за своей разобщенности и неграмотности они не могут постоять за свои права, да чаще всего и не верят ни в какие права заключенных. Начальство пользуется их распрями, натравливает друг на друга. Когда хотел начальник сломать кого-нибудь из них, то обычно переводил в камеру к тем, с кем у него смертельная вражда. И уж там кто кого убьет, а убийцу же потом приговорят к расстрелу.

Известно было, что наш новый начальник тюрьмы подполковник Угодин так-то вот перевел некоего Тихонова в камеру к его врагам. Там его убивали долго, чуть не два дня топтали сапогами. Кричал он на весь корпус, но никто не вмешался. Угодин же, как рассказывают, частенько подходил к дверям, смотрел

в глазок, слушал, как вопит Тихонов, и затем удовлетворенно отходил. За этим занятием его застали зэки из соседней камеры, которых проводили по коридору на прогулку. А из противоположной камеры всё это было видно в щель. Лишь на третьей сутки зашли в камеру надзиратели, забрать труп. Виновных потом приговорили к расстрелу, Угодин же остался ни при чем.

Нам об этом тотчас передали, а мы написали Генеральному Прокурору. Ответ же, как водится, пришел из местной прокуратуры: «Причастности должностных лиц к убийству Тихонова расследованием не установлено». Так это дело и заглохло.

В условиях нашей перманентной войны за режим необходимость согласовывать действия и обмениваться информацией вынуждала нас искать надежные средства связи между политическими камерами, разбросанными по тюрьме. Вот здесь-то и оказались наши уголовнички необычайно полезны: у них, особенно у воров-законников, вся тюрьма была связана дорогами, по которым циркулировали их директивы. Из окна в окно, на прогулке, через этажи и корпуса проходили невидимые нити связи. В эту же систему подключились и мы.

Должен сказать, что воры, в этом отношении, были предельно честны: записки никогда не попадали в руки надзирателей и доходили в том самом заклеенном и прошитом нитками виде, как мы их отправляли. Соответственно, и нам пришлось принять участие в передаче их почты, и мы всегда нервничали за нее больше, чем за свою. Неловко было бы подвести соседей, которые самоотверженно шли в карцеры, глотали записки целиком, но никогда не отдавали их властям.

Вообще же, при той полнейшей изоляции и строгом режиме, которые были в тюрьме установлены, поразительно, как много существовало средств связи:

любые две точки в тюрьме оказывались связаны. Всё это, разумеется, запрещалось, а нарушители строго наказывались за «межкамерную связь» — так это официально называлось.

Я, помню, только приехал в тюрьму первый раз, ничего еще не знал, сразу после обыска посадили меня на время одного в этапную камеру — темную, грязную и холодную. Вместо унитаза этакий трон, возвышение со ступеньками высотой полметра — в середине дырка. Вонь жуткая. Над дыркой кран — это вместо раковины. Присел я на нары в некотором оторопении от такой камеры. Ну, думаю, неужели мне так три года сидеть? Вдруг слышу: «Гхм!» То ли показалось, то ли действительно кто-то кашлянул у меня под самым ухом. Оглядываюсь по сторонам — никого. Вдруг опять: «Гхм! Землячок!» Что за дьявол? На всякий случай ответил: «Что надо?» — «А подойди, землячок, к унитазу поближе — плохо тебя слышно!» Так состоялось первое мое знакомство с тюремным телефоном.

В других камерах, где настоящие унитазы стоят, там обычно веником или тряпкой откачивают воду из сифона и говорят, действительно, прямо как по телефону. Потом уж и мы привыкли. Особенно к вечеру хорошо слышно, как кричат в окно из одной камеры в другую, например, в тридцать первую: «Тридцать первая! Тридцать первая! Качни!» или «Откачай!» А то и прямо: «Тридцать первая, на телефон!»

Однако далеко не все камеры связаны этим телефоном. Обычно позвонить можно только вверх или вниз, в редких случаях напротив — это зависит от устройства канализации. Да и не во всех камерах есть унитазы. Тогда пользуются другим способом. Через все камеры проходит система центрального отопления. Поэтому если алюминиевую кружку, какие дают всем в тюрьме, прижать дном плотно к трубе, а ртом плотно прижаться к отверстию кружки и кричать, то

звук хорошо расходится по трубам во все стороны. В другой камере нужно так же точно прижать кружку к трубе, а к отверстию приставить ухо — это очень загруженная связь, целый день гудят трубы от голов. Но есть в ней и свои неудобства. Во-первых, надо ждать очереди, нескольким людям сразу говорить нельзя. Во-вторых, через несколько камер уже плохо слышно, приходится просить, чтобы передавали из камеры в камеру по эстафете. В-третьих же, не всякое сообщение желательно передавать открыто. Вот для этих-то случаев и существует почта.

Обычно она передается «конем», так же, как и более крупные вещи — продукты, книги и тому подобное. Распускают несколько носков, и из этих ниток плетут прочный шнур. На конец шнура привязывают груз. Затем, изловчившись, через щель в жалюзи — а она обычно от силы в палец шириной — кидают этот груз вбок или опускают вниз. В другой же камере ловят «коня», выставив в щель «плечо», то есть какую-нибудь палку с крючком на конце, а то и плотно скрученную трубочкой газету. Приняв таким образом «коня», шнур втягивают в камеру и привязывают к его концу то, что надо передать. И так ваша посылка движется по тюрьме из окна в окно. Конечно, если застанут вас за этим занятием надзиратели, — 15 суток карцера обеспечены.

Другой способ — передача на прогулке. Веселым словом «прогулка» обозначается, в сущности, весьма скучная процедура. Давно уже прошли те времена, когда заключенные чинно гуляли парами по общему тюремному двору. Теперь прогулочные дворики — это бетонные клетушки размером чуть больше камеры. Стены покрыты грубо набросанным цементным раствором, «шубой», — это чтобы не оставляли надписей. Дверь такая же, как и в камере, с глазком, обитая листовым железом. Стены более трех метров высотой, вместо потолка решетка. Гулять выводят по

камерам, так что разнообразия эта прогулка не вносит. Таких прогулочных дворишков строят вместе 10-12 штук — по пять-шесть с обеих сторон прохода. Сверху, над проходом, специальная платформа для надзирателя, по которой он ходит взад-вперед, поглядывая сверху в дворики направо и налево. Как только он поворачивается спиной, из дворика в дворик норовят перебросить записки или небольшие свертки. Камера, замеченная за этим занятием, обычно лишается прогулки.

Позднее, пытаясь пресечь эту связь, сверх решеток еще постелили мелкую сетку, так что зимой, при сильном снегопаде, снег даже не проваливается вниз, а застревает на сетке. Однако и это не помогло. Заключение приноровились как-то приподнимать эту сетку и под ней проталкивать в соседний дворик свою почту. Местами сетку стараются прорвать, и тогда, стоя на чьих-нибудь плечах, можно просунуть руку в дыру и кинуть в соседний дворик или в дворик напротив то, что тебе нужно. Включившись в общетюремную систему связи, и мы были вынуждены служить звеном передачи. Чего только ни приходилось перекидывать нам из одного дворика в другой по просьбе соседей! Один раз — мешок махорки, он еле пролез в щель под сеткой, другой раз — 15 кусков мыла, причем с каждым куском надо было уловить момент, когда надзиратель отвлекся. Однажды, не успели мы выйти на прогулку и выяснить, кто наши соседи слева, а кто справа (обычная процедура), как справа с большим трудом пропихнули толстенную книгу, за ней другую — оказались мемуары Жукова. Ну, один том мы пропихнули дальше, второй застрял. Ни мы, ни соседи не могли его впихнуть в щель. Так и зацапали его надзиратели. Но для передачи записок это очень удобный способ.

И уже совсем, казалось бы, примитивный способ — оставлять надписи на стенах. А и он был весьма

эффективен. Мелко-мелко карандашом везде, куда только ни приведут: в бане, на прогулке, в этапных камерах — оставляют автограф или список камеры, а то и короткую надпись. Практика показала, что в течение недели эти надписи обязательно попадут на глаза кому нужно. Мы обычно писали по-английски, так что надзиратели не понимали смысла. Догадывались, конечно, что политические писали. Вообще английский язык скоро сделался у нас своего рода шифром или жаргоном — по-английски можно было и в окно кричать, и по трубе переговариваться, никто посторонний не понял бы.

Таким вот образом просидел я здесь уже два с половиной года (да еще до этого год — в 72-73-м году перед отправкой в лагерь). Последние три месяца было затишье — на работу больше не гнали, на строгий режим не переводили. Затишье это казалось мне подозрительным, а тут еще собрали нас почти всех на четвертом корпусе, на втором этаже, через камеру. До этого всё старались разбросать наши камеры по-дальше друг от друга, чтобы труднее было связываться. Тут же, как нарочно, собрали всех вместе. Трое в двадцать первой камере, восемь человек в пятнадцатой, двое — в двенадцатой, четверо — в десятой. Я был в десятой. Еще было наших четверо в семнадцатой, но как раз подошло двум ехать обратно в лагерь да двоим на ссылку, и камеру растасовали. Человек десять сидело еще на первом корпусе, но и их на работу не гнали. Говорили начальники, что к концу года всех сюда соберут. Трудно было сказать, замышляет что-то начальство или, наоборот, решило оставить нас в покое. Если не считать очередного нападения на наши книги, никаких признаков подготовки к наступлению вроде бы не наблюдалось. Правда, почти все лишились переписки, а это всегда недобрый знак.

Еще с конца прошлого года взяли власти за правило конфисковывать все наши письма. Просишь объяснить, в чем причина, — говорят, объяснять ничего не обязаны, пишите новое письмо. А напишешь — опять конфискуют. Так эта бодяга и тянулась, и уже скоро год, как я не мог ни одного письма домой отправить. И непонятно было, кого они хотят этим наказать — мою мать или меня. Так и у других — у кого полгода, у кого восемь месяцев не было переписки. Поневоле приходилось пользоваться нелегальными каналами.

Новости с воли доходили с трудом — в основном, невеселые новости. Одних сажали, других выгоняли за границу. Кого на восток, кого на запад — и всё это были мои друзья, люди, которых знал я уже много лет. Как ни жаль было посаженных, а оставалась надежда их увидеть хоть когда-нибудь — все-таки они исчезали не навсегда. Тех же, кого выгоняли на Запад, словно в могилу провожаешь — никогда уже их не видеть. Пустела Москва, и как-то всё меньше и меньше думалось о воле. Особенно же тяжело было, когда кто-то из знакомых отрекался или каялся, — точно часть своей жизни нужно было забыть навсегда. Долго потом всплывают в памяти эпизоды встреч, обрывки разговоров, и никак не заглушить их, как будто сам ты виноват в предательстве.

Когда-то раньше был я очень общительным человеком, легко сходилась с людьми и уже через несколько дней общения считал своими друзьями. Но время уносило одного за другим, и постепенно я стал избегать новых знакомств. Не хотелось больше этой боли, этой судороги, когда человек, на которого ты полагался, которого любил, вдруг малодушно предавал тебя и нужно было навсегда вычеркнуть его из памяти. Тяжело было сознавать, что вот сломали еще одного близкого человека. Старые зэки, стоя у вахты, когда заводят в зону новый этап, почти безошибочно предсказывают: вот этот будет стукачом, этот — пе-

дерастом, тот будет в помойке рыться, а вот добрый хлопец. Со временем и я стал невольно примерять на всех людей арестантскую робу, и оттого друзей становилось меньше. Постепенно остался какой-то круг особенно дорогих мне людей, потому что они были единственным моим богатством, всем, что я нажил за эти годы, и уж если из них кто-нибудь ломался, то это было пыткой. И еще меньше становилось нас в замке, еще одно место пустело у камина, умолкала наша беседа, затихала музыка, гасли свечи. Оставалась только ночь на земле.

Теперь же вот эти дорогие мне люди уезжали навсегда на Запад, точно в пустоту проваливались. Глухо доходили о них сведения, в основном, из советских газет — словно голоса с того света. Последнее время и меня вдруг вспомнила советская печать. Почти шесть лет они молчали — выдерживали характер, а тут целая страница в «Литературке» — интервью первого заместителя министра юстиции СССР Сухарева. Еще в 72-м году, сразу после суда, появилась в московской газете статейка под заголовком «Биография подлости». При всей ее обычной для советской пропаганды лживости и обилии ругательств, эта статья не выходила за рамки приговора, то есть не добавляла лжи от себя. Теперь же замминистра юстиции нес совершенную околесицу, даже отдаленно не напоминавшую моего приговора. По его словам, я обвинялся чуть ли не в сотрудничестве с Гитлером и в подстрекательстве к вооруженному восстанию. Забавно было читать всё это, напечатанное миллионным тиражом, разосланное во все уголки страны, и при этом иметь на руках приговор с печатью советского суда. Любопытно — на кого рассчитана такая откровенная чепуха? В наше время, когда почти все слушают западное радио, когда меня даже конвойные на этапе узнавали, — что может дать такая глупость?

Разумеется, я пытался легально протестовать: написал письмо редактору «Литературной газеты», генеральному прокурору, министру юстиции — тюрьма всё конфисковывала. Ни одной жалобы по этому поводу мне не дали отправить, даже официальный иск о клевете в суд. Мне было любопытно получить хоть какой-нибудь, пусть самый нелепый, но официальный ответ. Забавность ситуации состояла в том, что по советским законам любой приговор суда, если он не отменен, обязателен для всех должностных лиц и организаций. Мне было интересно, как они вывернутся, поэтому я писал в очень спокойном, сдержанном тоне, воздерживаясь от выводов и оценок, лишь констатируя факт несоответствия публикации приговору. Однако тюрьма не пропустила ничего. Вот так они всегда и действуют: одни врут на всю страну, другие зажимают рот тем, кто может их разоблачить, — типично коммунистическое разделение труда.

Вызвал на беседу воспитатель, стал уговаривать — бросьте, не пишите, зачем вам это нужно? Чепуха всё это, мелочь. «Как же так, — говорю, — приговор, именем Российской Федерации, он же обязателен для всех. Вы меня по этому приговору в тюрьме держите, и вдруг он оказывается неверным». — «Да ну, — говорит он, — не обращайтесь внимания, газеты всегда врут, стоит ли нервничать?» — «Да ведь замминистра юстиции пишет! Может, он лучше знает, за что меня судили? Может, мой старый приговор пересмотрели, изменили? А я сижу и ничего не знаю». — «Нет-нет, приговор правильный, не беспокойтесь, нам бы сказали».

Воспитатель наш, капитан Дойников, человек не злой, сам от себя гадостей не делает. В сущности, обязанностей у него немного, никто всерьез от него не требует, чтобы он нас перевоспитал. Понимают, что это задача непосильная. Должен он время от времени

проводить с нами беседу. С кем-нибудь другим мы и беседовать отказались бы. За последнее время сменилось их у нас трое или четверо.

Поначалу они все радовались, что перешли на легкую работу: ребята спокойные, матом не ругаются, не дерутся, в карты не играют, сидят себе тихо, книжки читают. Не работа, а дом отдыха! Но уже месяца через три просились от нас и согласны были идти к любым разбойникам и головорезам. С одной стороны, жало на них начальство, требовало на нас материал, требовало закручивать гайки. А когда мы давали отпор — виновным был воспитатель, ему сыпались на голову выговоры. С другой стороны, мы тоже не давали спуска, и от одних наших жалоб можно было одуреть. Да, кроме того, не получалось у этих воспитателей контакта с нами, не могли они к нам приноровиться. Привыкли они к уголовникам, к их психологии. Там — матом обложил, здесь — в ухо дал, и глядишь — навел порядок. С нами же нужно было что-то особое, чего эти воспитатели никак понять не могли. Наконец, поставили к нам этого Дойникова.

Считался он по тюрьме самым бестолковым офицером, самым глупым и безответным. Мундир сидел на нем, как на вешалке. Говорить он не умел, да был и не шибко грамотным. Отдали его нам в жертву, на растерзание, с расчетом, что месяца через три-четыре спишут на пенсию за неспособностью. Однако совершенно неожиданно он у нас прижился. Нас он вполне устраивал, и мы на него никогда жалоб не писали. Его нескладная худая фигура в нелепой засаленной униформе возбуждала скорее сострадание. Говорил он тоже нескладно, совершенно несвязно, постоянно пересякаявая с одного на другое. При этом пробалтывался о многом, для нас важном. Понимал и он, что мы его терпим, а потому, вызывая на беседу, говорил о чем угодно: о рыбалке, о футболе — битый час мог городить околесицу. Изредка так, виноватой скороговоркой,

вставит фразу-другую о политике партии и опять перескочит на свою мешанину без конца и начала, торопясь загладить бестактность. Так вот с часочек поболтает и запишет себе для отчета, что провел беседу. При ближайшем рассмотрении был он совсем не глуп, иногда даже поразительно изворотлив, и вся эта напускная бестолковость выработалась у него в жизни, как у зебры полосы, — в результате естественного отбора. А кроме того, нужно ему было как-то примирить свои жестокие функции с отнюдь не жестоким характером.

Удивительно, как это всё примиряется в русском человеке. Я редко встречал садистов в должности надзирателей — даже злых по характеру людей среди них, в сущности, тоже немного. Обычно же это простые русские мужики, сбежавшие в город из колхоза. Но вот прикажут такому Дойникову нас расстрелять — и расстреляет. Он, конечно, постарается, чтобы его по бестолковости на такое дело не послали. Он и нас постарается как-то ублажить, чтобы мы на него за это не очень обижались. Но ведь расстреляет!

Стыдно признаться — много раз удавалось ему упросить нас забрать назад жалобы. Придет в камеру, станет с этими жалобами в руках как-то так жалостно и начнет свою бесконечную околесицу, свою бестолковщину. И всем своим видом так и просит: забрать бы надо, дескать, жалобы, совсем это ни к чему — жалобы ваши. Что ж это вдруг — жалобы да жалобы? Забрать бы их надо, и так жизнь собачья! И — чёрт знает что! — у нас война идет не на жизнь, а на смерть, нас уже почти задавили, заморили, а мы берем у него эти жалобы. Рука не поднимается, сил нет — Дойникова жалко...

Помню, в институте Сербского, на экспертизе, работали у нас санитарками бабки, простые деревенские бабки, почти все верующие, с крестиками тайком за пазухой. Жалели нас эти бабки, особенно тех, кого

из лагеря привезли или из тюрьмы, тощих, заморенных. Тайком приносили поесть. То яблочко под подушку незаметно подсунут, то конфет дешевых, то помидор. Забавно было смотреть, как они обращаются с настоящими сумасшедшими, такими, которые уже ничего не понимают, только смотрят в одну точку или бредут, не зная куда. Точно как крестьянки на коров, покрикивали они на психов безо всякой злобы: «Ну, пошел, говорю, ну, куда прешь? Ну, милый!» Так и казалось — сейчас хворостиной огреет. И вот эти-то бабки стучали на нас немилосердно. Каждую мелочь, каждое слово наше замечали и доносили сестрам, а те записывали в журнал. Случалось, и побег готовились, а иной норовил симулировать, особенно кому грозит смертная казнь, — бабки же всё замечали и обо всем тут же докладывали. А спросишь их, бывало: — Что ж вы так? Вы же ведь верующие! — «Как же, — говорят, — работа у нас такая». Вот и спорь с ними. Может, и Брежнев неплохой человек, только работа у него скверная — генеральным секретарем.

Любопытно, что при всем многообразии книг, исследований и монографий о социализме — политических, экономических, социологических, статистических и прочих — не догадался никто написать исследования на тему: душа человека при социализме. А без такого путеводителя по лабиринтам советской души все остальные монографии просто бесполезны — более того, еще больше затуманивают предмет. Ах, как трудно, наверно, понять эту чёртову Россию со стороны! Загадочная страна, загадочная русская душа!

Судя по газетам, по книгам, по их фильмам — а по чему еще судить о советской жизни? — они всем довольны. Ну, нет у них политических свобод, многопартийности, а они и рады — народ и партия едины!

Ведь вот у них выборы — не выборы, чёрт знает что такое: один кандидат, и выбирать не из кого. А участвуют в выборах 99,9%, причем 99,899% голосуют за. Ведь вот у них жизненный уровень низкий, продуктов, говорят, не хватает — а забастовок нет! Говорят, морят их голодом по лагерям и тюрьмам безо всякой вины, за границу не выпускают, но вот — глядите же — по всем заводам и селам митинги: единодушно одобряем политику партии и правительства! Ответим на заботу партии новым повышением производительности труда! Голосуют дружно, все руки тянут — что за чёрт? Едут зарубежные корреспонденты, присутствуют на митингах и видят: вправду, все одобряют политику партии, никто даже не воздерживается при голосовании.

Говорят, отсталая экономически страна, ручной труд и прочее, а ведь запустили первый спутник, первого человека в космос — обогнали Соединенные Штаты. Более того, имеют мощную военную промышленность, да такую, что весь мир в страхе дрожит, — откуда это? Делаются научные открытия, и какие! А Большой театр, балет! Что же это всё — рабы, подневольные люди?

Ну, литература у них, положим, скучная — всё о производстве да о планах, о собраниях, но читают же, покупают книги — значит, им нравится. Есть и у них отдельные недостатки — так сами признают и критикуют их. Было что-то раньше, какие-то неоправданные репрессии, но теперь-то нету — разобрались, осудили ошибки, невинных выпустили. И за границу их все-таки пускают. Вот и туристы, и спортсмены, и артисты, и разные там делегации — и всем довольны, и назад возвращаются. Ну, бывает, один-другой убежит, не вернется — так, может, только этим и было плохо, а остальным хорошо, остальные довольны?..

Спроси любого советского человека на улице: хорошо ему или плохо? И все ответят, как по-писан-

ному: «Хорошо, лучше, чем у вас на Западе». А может, и вправду лучше? Образование бесплатное, медицинское обслуживание бесплатное, жилье дешевое, безработицы нет, инфляции нет. Может, подвирает западная пропаганда и жизнь у них — прекрасная?

Или вот еще объяснение: может быть, *для них* эта жизнь лучше нашей, и они люди другие, особенные, им только такая жизнь и нужна, и не нужно им наших благ и свобод?

И уж совсем сбивают с толку эти самые диссиденты. Если всё так плохо, как они говорят, такое бесправие и произвол, так почему они все еще в живых, даже не сидят некоторые? Значит, есть и какая-то свобода и какие-то права? Или это просто инспирировано и выгодно советским властям? А может быть, придумано ЦРУ? Да и сколько их, этих диссидентов? Ведь вот под какой-то там петицией протеста подписалось десять человек. Это ж курам насмех — в стране, где 250 миллионов.

Ну, наконец, если им всем и вправду плохо — почему нет восстаний, массовых протестов, демонстраций, забастовок? И массового террора ведь тоже больше нет? Ну, посадят там человек 10-15 в год — не то что в Чили или Южной Корее. И еще много-много недоуменных вопросов, на которые нет ответа...

И критически мыслящий западный наблюдатель после досконального, с его точки зрения, изучения вопроса приходит к двум выводам. Если наблюдатель придерживается левых взглядов: прекрасная страна СССР, прекрасный и самый передовой у нее строй. Люди счастливы и, несмотря на отдельные недостатки, строят светлое будущее. А буржуазная пропаганда, конечно, стремится ухватиться за эти отдельные недостатки и извратить, оклеветать, оболгать само светлое существо. Если наблюдатель не придерживается левых взглядов: русские — люди особенные. Что нам плохо — им очень нравится. Такие они фанатики, так

рвутся строить свой социализм, что готовы отказаться от привычных нам удобств и образа жизни. И в обоих случаях — одно заключение: не нужно мешать им, нельзя запретить людям страдать, коли им это нравится, не спасать же людей вопреки их воле. Такие уж это русские!

Да, трудно понять эту страну со стороны, почти невозможно, но легче ли изнутри? То есть легче ли понять и оценить происходящее тем самым «русским» (Запад всех нас зовет русскими — от молдаванина до чукчи), которые там всю жизнь живут?

Восточноевропейский диалог

Тибор М е р а и

ДОГМЫ И ТАБУ

Давно стало банальностью говорить, что из всех коммунистических стран в Венгрии жизнь наиболее терпима, и присовокуплять к этому затасканный каламбур: «Венгрия? Да это самый симпатичный барак в социалистическом лагере!»

Это утверждение не относится к уровню жизни, определяемому статистически: согласованные данные ООН, ЕЭС и СЭВ свидетельствуют о том, что по уровню производства и дохода на душу населения на первом месте среди стран Восточного блока стоит Восточная Германия, затем — Чехословакия, и только вслед за ней — Венгрия. Речь, стало быть, идет о чем-то другом, ценность чего исчисляется не в деньгах и материальных благах и вообще крайне трудно поддается какому-либо исчислению, о чем-то, напоминающем по смыслу англосаксонское «way of life». В Венгрии людям дышится легче, чем в так называемых «братских» странах, удушающая партийно-государственная бюрократия в Венгрии не так тяжела; у венгров больше возможностей найти дополнительный заработок; они относительно чаще могут ездить за границу — даже и на Запад; языки их не столь связаны, общая манера поведения более свободна; возможности для отдыха и развлечений более разнообразны; и — последнее по счету, но не по значению — литература и искусство в этой стране менее подвержены внешним вмешательствам и мелочной опеке; они показывают, что жизнь венгерского общества в го-

раздо большей степени отвечает законам человеческого духа, чем в других коммунистических странах.

Именно о литературной жизни, и исключительно о ней, я буду здесь говорить, поскольку общее положение страны, его особенности, требуют пристального и серьезного изучения. Более того — даже некоторые аспекты собственно литературной жизни, а именно — литературная политика, во многих деталях, вероятно, ускользают от моего внимания, поскольку я уже 21 год живу за границей. Картина, которую я вижу отсюда, несомненно, может грешить диспропорциями и неточностями. Однако деформации в той же степени возможны и при взгляде изнутри. Кроме того, насколько мне известно, никто до сих пор не занялся рассмотрением всего конгломерата проблем, и только поэтому я, заранее признавая возможность ошибок или неточностей и заранее приветствуя любую доброжелательную критику, позволю себе заняться этим вопросом в надежде на то, что эта работа будет способствовать последующему уточнению и углублению темы во всех ее аспектах.

Было бы излишним подчеркивать, что в жизни венгерской литературы, как и в жизни всей страны, существует линия водораздела, приходящаяся на 1956 год. Для меня это понятие охватывает не только революционные события, но и три предшествовавших года, когда венгерские писатели вели отважную борьбу со сталинизмом. Для меня оно охватывает также четыре последующих года, эпоху репрессий, арестов и казней, когда множество людей было приговорено к длительным срокам заключения или к полному молчанию, а большое количество писателей и художников вынуждено было эмигрировать. Но поскольку я не имею возможности вдаваться здесь в детали, то предпочитаю ограничиться известным упрощением: оценить нынешнюю ситуацию, сравнив ее с периодом

до 56 года. Такой подход, естественно, склонит весы в пользу настоящего, поскольку мы сравниваем таким образом *абсолютно дурное с относительно лучшим*. Каковы бы ни были наши личные убеждения и на какой бы печальной основе ни базировалось это сопоставление, факты международной и внутренней жизни свидетельствуют (хотя бы на примере Чехословакии), что течение времени далеко не всегда сопровождается прогрессом.

Если одним словом охарактеризовать суть происшедших изменений, то я назвал бы это *смертью догм*. Это, естественно, касается не всех догм, но, тем не менее, целого ряда из тех, что считались незыблемыми и наиболее важными. Первейшей из таких догм, включавшей в себя целую серию постулатов, был *социалистический реализм*. С точки зрения сталинско-ждановской идеологии, он был для литературы и искусства высшим законом, конечной целью и высочайшей из вершин. Он был также и лучшим из путей, поскольку был единственным, на который имел право художник. По формулировке Жданова, соцреализм есть метод художественного творчества, который, базируясь на основе марксизма-ленинизма и политики партии, превосходит критический реализм, ибо он отражает действительность не только такой, как она есть, но и изыскивая в ней ростки будущего, благодаря неистребимому оптимизму, вытекающему из революционного романтизма. Именем соцреализма в СССР шельмовали А. Ахматову, Шостаковича, Прокофьева, Эйзенштейна и превозносили писателей типа Шолохова. Точно такими же были официальные критерии и в Будапеште, равно как и в Праге, Бухаресте, Варшаве, Восточном Берлине, Софии.

Итак, в Венгрии теория соцреализма существовала во всей своей непререкаемости. Теперь же о ней не только художники или писатели не думают — упоминание о ней исчезло даже из лексикона официальных

идеологов и критиков. В течение последнего десятилетия я не видел самого словосочетания «социалистический реализм» ни в одной венгерской газете, ни в одном журнале, более того — я не слышал, чтобы какой-либо чиновник кого бы то ни было хвалил за соблюдение правил соцреализма или упрекал в незнании их. Создается впечатление, что соцреализма просто никогда не существовало, как будто в течение доброго десятка лет он не был ключом от врат рая или ада.

Вместе с этой основной догмой ушла в небытие и большая часть составлявших ее элементов. Первым среди них следует назвать постулат, согласно которому советская литература считалась образцом для всех литератур «народных демократий», поскольку она уже сумела воплотить на практике соцреализм, тогда как другие только еще пытались к нему приблизиться. Бесполезным было любое прилежание, покорность или талант — только произведения советских авторов могли считаться вершинами, даже когда они были посредственными, а то и просто плохими.

В 1949 г., во время дискуссии вокруг Дьердя Лукача, одно из обвинений против старого марксиста заключалось в том, что он переоценивал критический реализм (Бальзак, Флобер) и недооценивал советскую литературу. Он позволил себе сказать, имея в виду советскую литературу, что мышь, даже если она влезет на Эверест, не станет больше, чем слон у подножья горы. И это вменялось ему в вину. Сегодня в Венгрии это вызвало бы разве что улыбку, так же, как вызывает в лучшем случае снисходительные улыбки неизбежно предлагаемая зрителю и читателю продукция советской литературы, кинематографии, музыки или изобразительного искусства. Едва ли теперь можно найти хоть одного чиновника от литературы, настолько твердокаменного, что он решился бы публично указать на советскую литературу и искусство

как на образец; он слишком хорошо знает, что вместо снисходительных улыбок его встретили бы откровенным хохотом.

Одновременно с догмой «советской модели» впал в летаргию и другой составной элемент соцреализма — догма «партийности». Эта догма не только диктовала писателю обязательное освещение темы с позиции партийной идеологии, но и требовала, чтобы партия сама фигурировала в произведении, будь то в лице вождя, парторганизации или, на худой конец, в лице какого-нибудь парторга. В 1952 г. Йожеф Реваи, тогда главный партийный идеолог, организовал осуждение романа Тибора Дери «Ответ», обвинив автора в том, что его герой — умный и обаятельный молодой рабочий — недостаточно быстро вступил в партию! В течение долгих месяцев по всей Венгрии должен был на полном серьезе обсуждаться вопрос, следовало ли герою романа ждать 45-го года, как это написал автор, или же непременно примкнуть к партийным рядам еще в тридцатых годах, как того требовал Реваи. Сегодня нет такого партийного идеолога, который осмелился бы подобным образом и публично выступить по такому вопросу. Сегодня они даже опасаются заметить, что в той или иной книге партийные руководители изображаются не самым лучшим образом. Дюжинами появляются повести и романы, в которых само существование партии игнорируется. Таким образом, догма партийности, как в самом широком, так и в самом узком ее толковании, ушла в прошлое.

Это прошлое поглотило заодно еще целую серию сопутствующих догм: положительный герой — олицетворение всех положенных добродетелей; отрицательный герой — персонификация всего, что враждебно доктрине; дозировка положительных и отрицательных персонажей, которую надо было производить так, чтобы положительных было большинство и в нем тонули немногочисленные отрицательные. Изничтожали

«искусство для искусства», поскольку любое произведение должно было быть «политизировано»; в той же степени изничтожали «формализм» — любое произведение должно быть понятно всем с первого взгляда или с первого звука. Личные интересы должны были приноситься в жертву общественным, обязательность оптимизма разумелась сама собой, и т. д. Все эти догмы теперь настолько потеряли всякое значение, что если бы кто-то сегодня попытался критиковать произведение литературы или искусства с позиции так называемых «высоких критериев», то он немедленно оказался бы в роли консерватора, ретрограда и глашатая официальной идеологии. В сегодняшней Венгрии можно безбоязненно писать (писать и печатать) совсем не в духе соцреализма, критического реализма, да и просто аполитичные, романы, анти- или сюрреалистические повести, бульварные комедии с треугольником «муж, жена, любовник», комедии, высмеивающие большие или малые человеческие пороки, пессимистические элегии глубоко мистического содержания, стихи, столь же недоступные при первом, как и при третьем чтении, — за всё это ни один автор больше не преследуется и не критикуется — наоборот, его могут даже оценить выше, чем некоторых его собратьев, продолжающих на все голоса распевать о своей верности партии. И когда то или иное произведение переходит границы дозволенного, официальная критика всячески старается, чтобы ее упреки не содержали политических мотивировок. В течение нескольких лет новый роман одного из лучших венгерских писателей был запрещен к публикации, но, когда он вышел на Западе во многих странах, его издали в Будапеште. Вслед за этим центральный партийный орган поместил обзор, в котором воздерживался задевать истинные причины запрещения романа; опровергая хвалебные отзывы западной печати, венгерский критик напал на книгу лишь с эстетической точки зрения, на-

звав ее плоской, скучной, малосодержательной. Будучи далеко не лестным, отзыв этот все же более приемлем, чем плохая отметка по политическому поведению. Обветшание догм свидетельствует о том, что после постоянных агрессивных действий против литературы и искусства власть оказалась теперь обреченной на оборону. Это лучше в равной степени и для власти, поскольку ее прежние наступления чаще всего оборачивались против нее самой, и для работников искусства, которые творят в более спокойной обстановке.

Не идеализирую ли я ситуацию? Думаю, что я всего лишь отмечаю действительное положение вещей, которое в Венгрии все же более сносно, чем в других коммунистических странах. В венгерской литературе и искусстве, как и во всем венгерском обществе, происходит процесс «обуржуазивания» или «реобуржуазивания», который дает несомненно бóльшие выгоды, чем «единомыслие», никогда, впрочем, не существовавшее. Так или иначе, но снова могут возникать различные течения и школы, оживает классическое наследие и одновременно развиваются модернистские тенденции. Этот, уже многообразный, поток несет в себе, однако, и всю ущербность системы, с ее страхом перед постановкой наиболее важных внутренних и международных проблем — черта, которая раньше никогда не была свойственна нашей литературе и причины появления которой — об этом речь пойдет дальше — нужно искать не в творчестве наших писателей и художников, не их за нее укорять. Что касается литературы коммунистической в собственном значении этого слова, то она в Венгрии представляет собой не более, чем одно из течений, — как это происходит в западных странах, и при этом едва ли не более малочисленное, чем, скажем, в Италии или во Франции. Можно даже с уверенностью сказать, что писателей, провозглашающих себя коммунистами, сейчас неизмеримо меньше, чем перед 1956 годом; сегодня они не пред-

ставляют даже и пяти процентов среди пользующихся уважением венгерских литераторов, а что до их реального значения или интеллектуального влияния, то оно вряд ли выше нуля.

Но было бы тяжким заблуждением считать, что эти немногие уступки свободе достались сами собой, как манна небесная. Каждая из них стоила венгерским писателям и художникам — стоит и теперь — ежедневной борьбы за каждую фразу, за каждую строчку, за каждое слово. То, что называют либерализацией, — это непрекращающийся бой, с победами и поражениями, сам по себе свидетельствующий о том, что было бы чистой иллюзией предполагать, будто руководство партии добровольно откажется от одного из главных ленинских тезисов, согласно которому литература — всего лишь «колесико и винтик» в едином и неделимом партийном механизме, инструмент для достижения политических целей, поставленных партией. И даже если венгерские партийные лидеры не позволяют себе выражаться с ленинской грубостью и прямолинейностью, вряд ли могут быть сомнения в том, что в своих головах политиканов они держат ту же утилитарную концепцию. И все-таки — и тут вступает в действие отличие их от многих других партийных руководителей «братских» стран — венгерские руководители вынесли серьезный урок из событий 1956 года и из предшествовавших ему лет, они хорошо знают, что кажущееся удобным и гладким на первый взгляд далеко не всегда является таковым на самом деле. Бесконечное пение осанны руководителям, замазывание ошибок и преступлений, одностороннее представление вещей, благодаря которому был потерян кредит доверия, связывание по рукам и ногам и затыкание рта некоммунистам — всё это научило венгерских руководителей (и это свидетельствует о несомненной их трезвости), что даже с точки зрения публикации «колесиков и винтиков» лучше придерживаться принципа «жи-

ви и давай жить другим» (комнатная температура его, разумеется, не имеет ничего общего с «классовой борьбой»), лучше либерализация, «мирное сосуществование», чем бесконечное применение санкций и призывы к порядку, чреватые тяжелыми последствиями. Если бы я не боялся прослыть неостроумным шутником, я бы позволил себе сказать, что из всех коммунистических столиц только Будапешту удалось воплотить на практике пресловутую политику «ста цветов», которой ее пекинский инициатор, кстати сказать, положил конец в своей стране уже через несколько месяцев.

Цветам, как известно, нужна земля, солнце и дождь; розы и лилии весьма редко расцветают под лучами догм. Но часто цветы выращивают в садах, окруженных изгородью. Вот так мы приходим к «изгороди» в современном положении венгерской литературы, где одновременно с обветшанием и распылением догм явственно проявляется другая черта, существование которой исключает всякую возможность «идиллии» между искусством и властью; и тут мне придется распроститься с «цветочной» терминологией Мао: «ограда», «изгородь», «загон» подходят мне больше, ибо речь идет о *системе табу*. Согласно Новой Венгерской Энциклопедии (издательство Академия, Будапешт, 1962 г., т. VI), слово «табу» означает «мистического происхождения суеверный запрет называть, непосредственно касаться или входить во взаимоотношения с понятиями, людьми или вещами, считающимися священными; вещь сама по себе, так названная. Происхождение этой традиции связано со страхом у примитивных людей перед сверхъестественными силами. Распространена прежде всего среди полинезийцев, но свойственна также и большей части народов, живущих первобытными обществами, остатки которых сохранились и при более эволюционировавших религиях».

Как мы не замедлим увидеть, это определение страдает некоторой неполнотой, но оно вполне приемлемо в качестве отправной точки. Итак, если литературно-художественная жизнь Венгрии расчищена от большей части догм, это не мешает ей быть набитой многочисленными *табу* — и тут она догоняет другие коммунистические страны (как там говорится в Венгерской Энциклопедии? — «...свойственна также большей части народов, живущих первобытными обществами...»). Она напичкана понятиями, людьми и вещами, почитаемыми священными, которых суеверный запрет мистического происхождения не позволяет называть (эвфемизм от «критиковать»). И теперь, после того как мы рассмотрели исчезнувшие догмы, у нас нет никаких оснований умалчивать о табу, которые прочно занимают свои места.

Первое из этих табу — Советский Союз. Категорически запрещено писать что бы то ни было, напоминающее критику, в адрес советского государства и партии; что бы то ни было, касающееся его руководителей во все времена, его внутренней и внешней политики, его институций и практики. Здесь нет противоречия с фактом гибели догмы о примате советской культуры; более того: вовсе не является обязательным ни расценивать Советский Союз как образец *par excellence*, ни копировать его в Венгрии. Попросту должно быть хорошо усвоено правило: никакой печатной критики в адрес Советского Союза (в частных разговорах всё происходит, разумеется, иначе); надо помнить, что во всех актуальных политических вопросах Советский Союз всегда, везде и во всем прав и что никакие его заявления или действия не должны сопровождаться негативными или оставляющими сомнение комментариями.

Что касается прошлого — сталинских времен, то после XX съезда появилось несколько повестей и романов, написанных писателями, жившими в эмиграции в

Москве и бывших свидетелями ужасов того времени. Но и тут власть проявила виртуозную ловкость рук: необходимо было, скажем, конфисковать мемуары на эту тему одного старого коммуниста, который был раньше министром иностранных дел, а другому крупному ветерану славного прошлого не позволить опубликовать свои воспоминания — до такой степени было это важно, что полиция сделала у него обыск и изъяла все экземпляры рукописи.

Табу распространяется также и на роль, которую сыграла Советская Армия в 1956 году в Будапеште и в 1968 году в Праге, равно как и в оккупации Венгрии, длящейся вот уже 32 года; ни один венгерский писатель не может написать на эту тему ни малейшего осуждающего слова. Столь же скромным молчанием обходятся и верные союзники и друзья СССР: Чехословакия Гусака, сажающая в тюрьму писателей, столь же неприкосновенна, как Восточная Германия Хонеккера, отправляющая в изгнание своих артистов. Можно говорить о несправедливости, зле, злоупотреблениях властей, открытых и закамуфлированных конфликтах, когда речь идет о любой точке земного шара — кроме этих стран. Тут обо всем этом надо молчать: табу. Страны вроде Египта и Сомали подчиняются этому правилу до тех пор, пока у них хорошие отношения с Москвой, и немедленно перестают ему подчиняться, как только отношения портятся.

Руководители коммунистической партии Венгрии — тоже табу. То есть — первый секретарь, члены политбюро, министры и другие наиболее ответственные товарищи (как заметил антрополог Томас В. Норткот, в примитивных обществах табу были вожди племени и шаманы, пользовавшиеся вечным правом на собственность и привилегиями). Разумеется, культ личности в прежнем значении этого слова больше не существует: нет больше необходимости кого бы то ни было восхвалять — ни в стихах, ни в прозе; никто не

заставляет вас больше скандировать имя вождя и хлопать в течение получаса. Но малейшее слово критики в его адрес категорически запрещено. Это распространяется также на все организмы, стоящие на страже этих привилегий: на партию как таковую, на полицию и на армию. И здесь противоречие с фактом необязательности отражения в художественно-литературном творчестве мудрости партии, ее вождей и ее функционеров только кажущееся. Ибо если догма, предписывавшая петь осанну, исчезла, то табу неприкосновенности осталось.

Еще одно табу: любые дискуссии о характере системы в связи с предшествовавшими ей эпохами. Запрещено ставить вопрос о том, является ли действительно социалистической система, которая так себя называет. Стоит ли рабочий класс действительно у власти? Действительно ли являются свободными выборы, всякий раз приносящие 98-99% голосов кандидатам? Действительно ли от имени народа выступают министры, депутаты, партийные руководители? К этим вопросам, ставящим под сомнение законность власти, руководители особенно чувствительны. Ученики Дьердя Лукача, те, кого называли философами Будапештской школы, не дошли до вышеперечисленных вопросов. Они всего лишь позволили себе размышлять над бюрократизацией системы, и один за другим потеряли свои места научных работников. Если в словах «левое» и «правое» еще сохранился какой-то смысл, то нужно сказать, что именно вопросы слева особенно нервируют власть. Весьма симптоматичен тот факт, что единственный в течение последних десяти лет судебный процесс, учиненный над писателем, был посвящен молодому автору романа «Сдельная зарплата», носившего социологический характер. В романе описана была жизнь рабочих тракторного завода «Красная звезда» (на котором автор сам работал токарем). Писателя обвинили в том, какие выводы

следуют из его книги: рабочие, занятые на самых тяжелых работах, могут быть приравнены к аборигенам времен колонизации; поглощенные государством профсоюзы являются на деле врагами рабочих; власть в государстве находится в руках привилегированного класса, весьма далекого от рабочих проблем. Книга писателя, оскорбившего табу, не была опубликована, но экземпляр рукописи «поймали» на югославской границе, и Будапештский суд приговорил автора к 8 месяцам тюремного заключения и уплате штрафа за «выступление против государственного порядка».

Я должен сказать также и еще об одном — особом — табу (хотя уместно было бы предположить, что между другими «народными демократиями» или между ними и Советским Союзом подобные табу тоже существуют). Речь идет о положении венгров Трансильвании. Исторические, географические, этнологические и культурные детали этой проблемы имеют слишком глубокие и многообразные корни, чтобы можно было сейчас обсуждать ее в подробностях. Резюмируем. В Трансильванской области, раньше принадлежавшей Венгрии, а по мирному договору, заключенному после Первой мировой войны, отошедшей к Румынии, рядом с румынским большинством живет венгерское меньшинство, составляющее более двух миллионов душ, причем в некоторых крупных районах венгры составляют большинство. Эти два миллиона человек пользуются, мягко говоря, далеко не всеми гражданскими правами — или, точнее говоря, их права еще более урезаны, чем права румын. Они постоянно подвергаются дискриминации и всем прочим неприятностям, которые влечет за собой политика насильственной румынизации. Между соседней матерью-родиной и венграми Трансильвании не существует ни свободных связей, ни свободного культурного обмена, и, даром, что и те и другие живут в коммунистической системе, даже циркуляция газет, жур-

налов, фильмов жестко регламентирована. Немного можно насчитать в сегодняшней Венгрии проблем более болезненных, чем эта открытая рана. Но Трансильвания — табу. Когда венгерских писателей душат безнадежность и гнев, они могут воспользоваться правом говорить о басках, о греках-киприотах, о южноафриканских неграх, они могут создавать аллюзии с Трансильванией с помощью аллегорий и костюмных пьес, но им запрещено писать хоть строку о сегодняшней судьбе трансильванских венгров. Им хотелось бы кричать, но они приговорены к молчанию — не потому, что венгерским партийным руководителям неизвестно настоящее положение вещей, но потому, что у власти в Румынии находится «братская» партия.

Цитируя определение понятия «табу», данное Венгерской Энциклопедией, я заметил, что оно страдает неполнотой. В этом определении отсутствует существенное уточнение, ибо слово «табу» обладает двумя противоположными смыслами: с одной стороны, оно приложимо к тому, что считается священным, освященным, нерушимым, неприкосновенным; с другой стороны — к тому, что признано опасным, тревожащим, запретным, нечистым. Табу, касающиеся СССР, партийного ареопага, характера системы, принадлежат к первой категории; в связи с Трансильванией мы переходим ко второй категории. Именно к этой группе можно отнести табу, касающееся Венгерской революции 1956 года.

Странный феномен: в течение нескольких лет после событий 56-го — вплоть до середины шестидесятых годов — появилось множество посредственных романов, пьес, спектаклей, посвященных этой теме и трактовавших ее в соответствии с пожеланиями властей: как контрреволюционный мятеж; но в последнее десятилетие подобные «творения» совершенно исчезли. Их авторы обратились к темам менее щекотливого характера, как только получили приятные синекуры

в компенсацию за верную службу (Союз писателей, Пен-клуб, редакции газет и журналов, издательства). Устроившись поудобнее, они сочли за лучшее больше не касаться событий 1956 года, тем более что и власть сочла за лучшее об этом помалкивать. До какой степени 56-й год является табу, видно и из того, что даже речи вождя Венгерской компартии, произнесенные им в то время, запрещены к публикации. Это одинаково относится и к тем его речам, в которых звучит симпатия к венгерской революции, и к тем, которые он произносил позднее, ту же революцию называя контрреволюцией, но обещая полное прощение вождям 1956 года. Сталинисты, которые хотели скомпрометировать главу партии, поместив тексты этих речей в сборнике документов, немедленно заплатили за это потерей работы.

Обрисовать 1956 год — не в диссертации на политическую тему, а в художественном произведении — не следуя официальной агиографии, немислимо сейчас в той же степени, как и сразу после событий. Говорить о том, что в действительности представлял собою 56-й год, не в политической терминологии, а языком поэзии или прозы, показывать народ в действии, объединенным, сплоченным; говорить о распаде власти партии, о днях и ночах эфемерной свободы, о требованиях и завоеваниях восставшего народа, о независимости и суверенитете страны, о нейтралитете, о многопартийности, о рабочих советах, о праве на забастовки, об иностранной интервенции — совершенно невозможно. Что же удивительного в том, что за 21 год не нашлось ни одного уважающего себя и стоящего писателя, который решился бы затронуть эту тему? Можно ли представить себе социально направленное литературное произведение, дышащее правдой (стало быть, без самоцензуры), в котором автор воздерживался бы высказывать свое искреннее отношение к событиям совсем недавней истории его страны?

К числу опасных, тревожащих, нечистых табу относится и эмигрантская литература. Подавляющее большинство книг и журналов на венгерском языке, выходящих на Западе, не попадают в страну, даже если они совершенно далеки от политики. Имена лучших венгерских писателей, живущих на Западе (и среди них не один будущий классик), упоминающиеся в истории литературы и в воспоминаниях современников, тем не менее, недоступны венгерскому читателю, он не может найти в стране их произведений, даже если произведения эти были написаны до Второй мировой войны и авторы их находились в непримиримой оппозиции к тогдашнему полукапиталистическому-полуфеодальному режиму. Создается парадоксальная ситуация, при которой роман Сели́на, хорошо известного своими профашистскими симпатиями, может быть опубликован в Венгрии в качестве свидетельства настоящей либерализации, а книги писателя, который всегда был антифашистом, даже после Хельсинкских соглашений не могут пересечь границу иначе, чем в качестве контрабанды, — как если бы речь шла о наркотиках. И эта ситуация опять-таки не противоречит тому факту, что некоторые из писателей-эмигрантов видели несколько своих стихов или книгу напечатанными в Будапеште — из тактических соображений. Томас В. Норткот, антрополог, которого мы уже цитировали, отметил, что в примитивных обществах наряду с перманентными табу действуют и временные, преходящие, проходящие, которые могут быть отменены на некоторое время или в пользу некоторых лиц, и возобновление их действия зависит от линии поведения означенных лиц, как и от доброй воли вождя племени...

Другой ученый, Фрззер, в своей работе, озаглавленной «Магическое искусство и эволюция королей», пишет о табу в примитивных обществах, которые связаны с именами и, прежде всего, с именами умерших.

Советская историография — доказательство того, что этот широко известный древний обычай еще практикуется. Речь идет о феномене, который хорошо описан этнографами, изучающими древние первобытные общества, когда человек, нарушивший табу, сам становится табу — табу опасным и «нечистым». Опасным потому, что он позволил себе смелость побуждать других следовать своему примеру, разбудив в них ревность и зависть: почему ему позволено то, что запрещается другим? — и так стал заразным (см. «Тотем и табу» Фрейда). В советском обществе нарушители табу часто ликвидировались физически или, во всяком случае, их имена исчезали из истории, а их достижения были осуждены пребывать впредь в полном молчании. Этот метод, вместе с непеременимыми его последствиями, был успешно пересажен на венгерскую почву, как и на почву других «народных демократий».

Несколько месяцев назад в Будапеште появилась книга, переведенная с английского, в которой, среди прочего, говорится и о Венгерской коммуне 1919 г. В английском варианте этой книги была следующая фраза: «Авангард венгерских коммунистов не выдерживает сравнения с авангардом коммунистов русских, среди которого были такие крупные личности, как Ленин, Троцкий, Чичерин, Раковский, Бухарин и другие». В венгерском переводе фраза эта звучит так: «Авангард венгерских коммунистов не выдерживает сравнения с русским, с такими крупными личностями, какими были Ленин и его соратники». Как видите, позволено склонять голову перед вождями русских большевиков, и это даже естественно, но имена Троцкого или Бухарина — табу. Что до специфически венгерского применения табу на имена, то оно касается прежде всего казненных вождей 1956 года: Имре Надя, Пала Малетера, Гезы Лошонци, Йожефа Силаги, Миклоша Гимеша, высшее преступление которых состояло в том, что они, будучи коммунистами, подняли

руку на священные табу советской и венгерской коммунистических систем.

Строгость табу на имена распространяется и за пределы имен людей. Несколько месяцев назад один будапештский еженедельник опубликовал очень детально написанные мемуары одного писателя с доброй репутацией, который в 1955 г. присутствовал на встрече, состоявшейся между Матиасом Ракоши, тогдашним венгерским диктатором, несколькими партийными деятелями и еще двумя писателями. Подробнейшим образом описывает автор место встречи, участников, не воздерживается и от дерзкого слова — всё для того, чтобы как можно точнее дать почувствовать, что если писатели боялись диктатора, то и он (что совсем не льстит престижу партии), ощущая непрочность своей власти, боялся писателей. Автор вспоминает, что во время разговора зашла речь о закрытии одной газеты, и тут же заставляет себя заявить, что не помнит ее названия. Странная забывчивость, если учесть, что он прекрасно помнит, какой жилет был на Ракоши и как по неловкости была перевернута чашка кофе: забывчивость тем более странная, что за тридцать лет, в течение которых пресса в Венгрии руководится и контролируется партией, случай закрытия газеты был единственным. Да, но она называлась «Литературная газета» и сыграла историческую роль в провозвестии революции 1956 года. С 4 ноября 1956 г. она не может больше выходить в Будапеште, но — что более важно — она еще жива — в Париже, в эмиграции. Ее имя — табу, именно в этом нужно искать источник любопытного провала в памяти нашего собрата, живущего в стране.

Теперь мы подошли к той точке, когда необходимо спросить себя, как лучшая часть нашего литературно-художественного мира переносит увеличение количества этих табу? Этнологи говорят, что членам примитивного общества табу кажутся естественными;

люди живут под их властью, в конце концов переставая их замечать, они не понимают их смысла, и никому даже в голову не приходит его искать. Да, но ведь венгры — это не полинезийцы прошлого века! Они не только хорошо знакомы с табу, но и точно знают их истоки. Они вовсе не считают их естественными, — наоборот, они знают, что табу навязаны им более чем неестественным образом. История, социальная эволюция, уровень культуры венгров отнюдь не позволяют причислять их к примитивным племенам, а скорее к взрослым европейским нациям. Табу настолько ненавистны и унижительны для них, что исчезновения некоторых догм недостаточно для того, чтобы их утешить. Но в то же время венгры знают, что в сверхмощной иностранной державе, которая их на все это обрекла, не только система табу осталась неприкосновенной, но и большая часть догм продолжает процветать. И поэтому они проявляют снисходительность к своим внутренним хозяевам, не возлагая на них ответственности за неизбежный импорт всяческих табу; они склонны скорее быть благодарными руководителям за удаление, за исчезновение догм. После 56-го года, показавшего, что открытое восстание против превосходящих сил иллюзорно, родилось иное видение настоящего: нельзя отрицать, что при нынешнем положении вещей ситуация в Венгрии — лучшая из возможных; атаковать табу — значит непременно нанести урон этой ситуации, значит рисковать возвращением на царство самых жестких догм; кроме того, пытаться замахнуться на какие-либо из табу — значит рисковать чужими головами. Скажем, если замахнувшийся на табу — обладатель крупного литературного имени (его талант и популярность самого его могут возвести до уровня табу), то он, быть может, принесет гораздо больше вреда своим безоружным, не защищенным популярностью коллегам, чем себе самому. Именно такого рода ситуацию описывал Фрэнсер

в произведении, о котором уже говорилось: «Вождь маори никогда не пытается раздуть огонь своим дыханием, потому что его священное дыхание может передать его силу огню, горшку, который висит над огнем; пище, которая варится в горшке; человеку, который съест эту пищу, что может повлечь за собой смерть человека, съевшего пищу, варившуюся на огне, который вождь раздул своим священным и опасным дыханием». В известной степени именно этим магическим кругом можно объяснить (столько священных дыханий, что некому раздуть огонь) тот факт, что режим решительно не нуждается в официальной цензуре: самоцензура делает свое дело. Есть ли что-либо поразительнее факта, что эти табу — только что перенумерованные, но на деле несомненно более многочисленные — никогда и никем не записанные, не кодифицированные, действуют, несмотря ни на что; ибо всем они известны лучше, чем если бы они были высечены в мраморе.

С другой стороны то, что табу одновременно и ненавидимы, и соблюдаемы (под нажимом), не может привести ни к чему, кроме глубоких душевных конфликтов. Не надо быть психологом и фрейдистом, чтобы вспомнить те страницы фрейдовского «Тотема и табу», где говорится о двойственном поведении, которое создается напряжением между желанием нарушить табу и страхом, который оно вызывает. Ибо табу, в конечном счете, направлены против самых глубоких устремлений человека, и сам факт, что их необходимо было провозгласить, свидетельствует о страстном желании людей от них избавиться. То, что в простых душах было всего лишь двойственностью, в душе современного человека оборачивается неврозом. В западных литературах существует невроз, истоки которого одни видят в кризисе капитализма и общества потребления, другие — в отсутствии универсальной идеологии, третьи — в нечистой совести. Су-

ществует также невроз эмигрантских литератур, одним из корней которого является именно отсутствие корней (у авторов). Что до невроза в литературах Восточной и Центральной Европы, то он будет существовать до тех пор, пока взрослым народам будут навязывать табу, датируемые каменным веком, — в абсолютном презрении к таланту, разуму и творчеству. Как можно творить без невроза, погружаясь полностью в работу, там, где нужно постоянно допрашивать себя, не задевает ли того или иного табу твое слово, фраза или мысль; где нужно без конца взвешивать, вот это можно еще сказать или уже нельзя, где большая часть творческой энергии должна уходить на изобретение ходов, которые помогут обойти табу или проскользнуть мимо таким образом, чтобы «наверху» ничего не заметили? Если истинно художественное произведение рождается в таких обстоятельствах, оно заслуживает двойного уважения. Но могут ли эти обстоятельства не влиять на большинство художественных произведений?

По какой же причине так легко было расправиться с догмами, тогда как табу так устойчивы против бурь и течения времени? Я думаю, что ответ найти легко: догмы — это предписания и запреты, исходящие из идеологии; однако, как бы ни гордился режим своей идеологией, он хорошо знает, что в действительности она не более чем лак на его картине. Если поразмыслить над количеством переписываний этой картины от Маркса к Ленину, от Ленина к Сталину, от Сталина к Хрущеву и от Хрущева до наших дней; если подумать, сколько перекрашиваний еще будет, легко прийти к выводу, что жизнь и смерть той или иной догмы не связаны с жизнью или смертью системы.

Табу — совсем другое дело. Табу укоренены в *самой власти*, и корни власти находятся в табу. Невозможно свалить одно табу, чтобы не закачалось соседнее, невозможно отказаться ни от одного табу,

чтобы это не повлекло за собой угрозы для всего здания власти. За системой табу стоят не параграфы доктрины, которые можно интерпретировать так или эдак, но государство, партия, «государственная необходимость» и «партийная необходимость», а на самом деле не что иное, как всё то же меньшинство, которое 60 лет назад захватило в России власть над большинством и с тех пор распространило свое царствование на другие страны. Однако это меньшинство хорошо знает, что нельзя играть с огнем и, тем более, позволять это делать таким «безответственным» элементам, как писатели и художники. Оно также знает, и не забывает ни на минуту, что до тех пор пока оно не позволяет касаться табу, существованию его не грозит никакая серьезная внутренняя сила. Но если табу исчезнут, это меньшинство исчезнет вместе с ними. В этом и заключается самое большое его знание. Может быть, даже и единственное. Но для него этого достаточно.

Для венгерской литературы, как и для других литератур с подобной судьбой, этого тоже достаточно, — к сожалению.

МЕРАИ Тибор — родился в Будапеште в 1924 году. После окончания Будапештского университета (он получил диплом преподавателя венгерской литературы и латыни) Тибор Мераи поступил на работу в редакцию «Сабад Неп», центрального органа Венгерской компартии. Член редколлегии газеты, один из руководителей Союза писателей, лауреат литературной премии Кошута, Мераи вскоре порывает с венгерскими сталинистами — он один из близких друзей и соратников Имре Надя. Его лишают всех должностей и званий, объявляют вне закона. Еще до 1956 года Тибор Мераи — один из вождей революционной интеллигенции, в 1956 году он — член Комитета Движения революционной интеллигенции. Тибор Мераи покинул Венгрию после похищения советскими оккупантами Имре Надя и нескольких его друзей. После короткого пребывания в Белграде Мераи поселился в Париже и с тех пор живет во французской столице. Он — главный редактор венгерской «Литератур-

ной газеты» (Иродалми Уйшаг). Его произведения переведены на два десятка языков. Последняя книга Мераи «Жизнь и смерть Имре Надя», написанная им к двадцатилетию венгерских событий, только что опубликована в Мюнхене (на венгерском языке). Тибор Мераи — вице-президент французской группы Пен-клуба в изгнании.

Издательство «ПОСЕВ»

Александр ГАЛИЧ

ПОКОЛЕНИЕ ОБРЕЧЕННЫХ. Сборник стихов

Карманный формат. 3-е испр. изд. 1975 г. 304 стр. Цена — 17.70 н.м.

КОГДА Я ВЕРНУСЬ. Второй сборник стихов

Карманный формат. 1977 г. 112 стр. Цена — 13 н.м.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ

История запрещения постановки пьесы А. Галича «Матросская тишина».

Карманный формат. 1974 г. 250 стр. Цена — 16.50 н.м.

КРИК ШЕПОТОМ. Долгоиграющая пластинка (стерео) и кассета с 12 песнями А. Галича, исполненными им под аккомпанемент музыкального трио. К пластинке приложен текст песен и их перевод на английский язык.

Цена пластинки (с текстом) или кассеты (без текста) — 25 н.м.

Во всех русских книжных магазинах и непосредственно в издательстве «ПОСЕВ» —

POSSEV-VERLAG, Flurscheideweg 15,
D-6230 Frankfurt/ Main-80

Требуйте наш каталог!

Игнацио Силоне

В Женеве в возрасте 78 лет скончался известный итальянский писатель и политический деятель Игнацио Силоне.

Ровесник века, Силоне — активный участник событий, определивших лицо нашего времени. В возрасте двадцати одного года он стал одним из создателей коммунистической партии Италии, но вышел из партии через девять лет, в 1930 году, став едва ли не первым западноевропейским коммунистом, разорвавшим с Москвой.

Но, превратившись в убежденного антикоммуниста, Силоне не примирился и с фашистским режимом Муссолини. Он вынужден был эмигрировать в Швейцарию. На родину Игнацио Силоне вернулся в 1944 году известным писателем, опубликовавшим в изгнании такие значительные произведения, как «Фонтанара», «Хлеб и вино», «Семя под снегом».

В послевоенные годы Силоне — депутат сената от социалистической партии, редактор газеты «Аванти», председатель «Ассоциации в защиту культуры».

Как писатель и человек, Силоне всю жизнь стремился решать самые острые проблемы века — проблемы свободы и справедливости, что, естественно, сделало его другом борцов за свободу и справедливость в сегодняшней России. В 1974 году, с момента выхода в свет первого же номера журнала «Континент», Игнацио Силоне — член его редколлегии.

В своей последней книге «История одного бедного христианина» (1968), Силоне писал о себе, что ему враждебны любые идеологические объединения, но его глубоко волнует извечный конфликт, расколовший человечество на два враждебных лагеря — конфликт между Светом и Тьмой.

Силоне был и остался до последнего дня поборником Света и обличителем Тьмы, воплощенной сегодня в тоталитарном зле.

Российские борцы с тоталитаризмом навсегда сохранят в своих сердцах любовь к своему итальянскому другу и соратнику.

«КОНТИНЕНТ»

Запад — Восток

Владислав К р а с н о в

РУССКИЙ СКЛАД УМА ИЛИ ЗАПАДНОЕ СОСТОЯНИЕ УМОВ?

*О книге Рональда Хингли «Русский склад ума»**

Это отнюдь не рецензия на книгу г-на Хингли, а скорее ответ на нее — диалога ради — с точки зрения одного из неприкаянных носителей этого самого русского склада ума.

Рональд Хингли — человек влиятельный на Западе. Лектор Оксфордского университета, он опубликовал свыше двадцати книг по русской литературе, языку, истории и политике. В числе его книг «Краткая история России» и «Русская революция», книги о Сталине и о русских царях, о нигилистах и о тайной полиции, о Достоевском и о Чехове. Широта его интересов, творческая плодовитость и неизбежное влияние среди читающей публики заставляют отнести к новой книге с повышенным вниманием.

Должен сказать сразу, что книга достойна внимания не только русского, но и любого другого читателя, интересующегося Россией, коммунизмом, своим будущим. И достойна она не только сама по себе, а главным образом как выражение модной сейчас на Западе тенденции трактовать коммунистический тоталитаризм как явление сугубо русское. Одни выводят его из «варварского» русского обычая пеленать младенцев, другие из «монголизма» русских общественных учре-

* Ronald Hingley. *The Russian Mind*. New York, Scribner, 1977.

ждений, третьи из прирожденной «грозности» русских царей или из суровости русской зимы, четвертые, пятые и десятые — из чего угодно, лишь бы ярлык был наклеен: «сделано в России». Поэтому не приходится особенно удивляться, что Хингли выводит его из так называемого русского склада ума, то есть по существу из русского национального характера.

Разумеется, в самом желании проследить связь между формой государства и характером, или складом ума, населяющего его народа нельзя подозревать нечто предосудительное. Наоборот, всякий читатель, выбравшийся, как я, из марксистско-ленинского смрада о происхождении коммунизма из империализма как последней стадии капитализма, жадно набросится чуть ли не на любую другую теорию как на отдушину на волю, к свежему воздуху. Но не забудем и того, что воля-то волей, а воздух-то там тоже не всегда свежий, а иногда и прямо-таки с подозрительным душком. Едва ли кто возьмется отрицать, что если не коммунистическая, то во всяком случае промышленная революция — со всеми отбросами — началась с Запада.

Тезис Хингли можно свести к четырем основным положениям:

- (1) русский национальный характер, хоть он и обладает рядом положительных черт, в общем «плох»* и уж, во всяком случае, хуже, чем у таких западных народов, как англичане и французы, немцы и американцы;
- (2) «плохой» национальный характер русского народа на протяжении всей истории связан, «как курица с яйцом», с «плохими» авторитарными режимами;

* Хингли не употребляет этого слова, но смысл его рассуждений именно таков.

- (3) стало быть, и коммунистический тоталитаризм (который Хингли считает разновидностью авторитарной власти) происходит из того же самого «лукавого», то бишь русского национального характера или склада ума;
- (4) угроза коммунистического тоталитаризма Западу и всему миру все более возрастает потому, что «знакомство с Россией обычно приводит к русскому типу поведения даже среди самых невосприимчивых иностранцев».

Первый пункт своего тезиса Хингли основывает на наблюдениях немалого числа иностранных путешественников, нелестно отзывавшихся о русском народе: от Сигизмунда Герберштейна и Дженкинсона, маркиза де Кюстина и Маккензи Уолласа до Джорджа Файффера и себя самого. Просуммировав их, получаем следующий перечень пороков, изъянов и недостатков русского национального характера: лень и неспособность к планомерному труду; смиренность и раболепие; отсутствие самодисциплины и личной инициативы, безалаберность и расхлябанность; пьянство и чревоугодие; увлечение скандалами, театральной позой и великодержавным красноречием; любовь к вранью (художественному) и надувательству (безыскусному); чувственная распущенность и ухарство; нетерпимость ко всему, кроме нечестности и подлости; неумение мыслить и выражаться точно.

Было бы несправедливо упрекнуть г-на Хингли в полном забвении положительных качеств русского народа. Он упоминает, например, его «доброту, щедрость и способность к состраданию». Но поскольку Хингли на них особо не задерживается, то и нам не резон. В конечном итоге он обобщает русский национальный характер двумя отличительными чертами: а) излишеством во всем; и б) тенденцией «переходить

из одной крайности в другую и при этом умудриться каким-то образом занимать одновременно две взаимоисключающие позиции».

Вероятно, иной русский читатель сочтет своим патристическим долгом ринуться на защиту национальной чести и разнести книгу Хингли в пух и прах уже и по первому пункту. Мне же думается, этого делать не стоит хотя бы потому, что это отвлечет нас от остальных его пунктов, — а там-то собака и зарыта. С меня довольно признания Хингли, что русские сами «остро осознают свои недостатки и критикуют себя и строже и проимчивей, чем даже враждебно настроенные чужеземные наблюдатели». Право, не чужеземцы же открыли на Руси горе от ума и мертвые души, лишних людей и нигилистов, хлестаковщину и маниловщину, обломовщину, шатовщину и карамазовщину, а в наше время и образованщину. Соглашаясь или не соглашаясь с Хингли по первому пункту, нельзя не приветствовать его стремления разговаривать с нами нелицеприятно, что особенно ценно в нашу эпоху национальной уравниловки. Да, может, и то верно, что со стороны оно виднее. Во всяком случае, да не подумает г-н Хингли, что я вступаю в спор с его книгой ради национального ребячества и скоропалительных пререканий, кто кого хуже (при нынешнем глобальном положении едва ли позволительно задаться вопросом «кто кого лучше?»).

Собственно, и против второго пункта тезиса Хингли нет у меня принципиальных возражений. Ведь с «Государства» Платона уже известно, что характер народа является одним из важнейших факторов, определяющих тип государственного устройства, и наоборот. Поэтому нет ничего удивительного в утверждении Хингли, что «плохой» характер русского народа, коль скоро он действительно признан таковым, взаимосвязан с «плохими» авторитарными режимами на протяжении всей русской истории, «как курица с яйцом».

(Правда, и здесь нужна по крайней мере одна существенная оговорка: «плохость» в обоих случаях должна быть соразмерной и сопряжимой, и если это в самом деле так, то не перестает ли она быть плохостью и не превращается ли скорее в своего рода естественный симбиоз народа с его правителями?) Идя вразрез с социально-экономическим детерминизмом Маркса, аргумент, которым пользуется Хингли, по существу консервативен и может быть обращен против идеи революции. Не случайно им пользовались и русские славянофилы в спорах с западниками, и Эдмунд Берк в критике Французской революции. Хингли ссылается, в частности, на такой довод А. В. Никитенко в пользу авторитарного строя России (приводимый здесь в обратном переводе с английского): «Стоит трем-четырем русским собраться во имя продвижения какой-либо идеи или общего дела, и вы можете быть абсолютно уверены в том, что они обязательно перессорятся, начнут устраивать друг другу подвохи, и через два-три дня вот уж и разошлись». Хингли охотно присоединяется к выводу «либерала» Никитенко, что «наше единственное спасение зиждется на вмешательстве (авторитарной) власти».

Дабы читатель не подумал, что этот довод в пользу авторитарного строя касается лишь дореволюционной России, Хингли приводит пример из своих личных наблюдений над русскими эмигрантами. Однажды ему пришлось возглавлять в Лондоне одно учреждение, в штате которого было человек двадцать русских эмигрантов. Ему не пришлось долго ждать, прежде чем стало совершенно очевидно, что из-за систематической непунктуальности и тому подобных нарушений элементарной трудовой дисциплины «или всё учреждение погрязнет в безнадежной БЕЗАЛАБЕРНОСТИ, или его босс должен пробудить в себе инстинкты мелкого тирана». Вопреки своим лучшим чувствам, Хингли пошел вторым путем и обратился, по его выражению,

«к методам Ивана Грозного, Петра Великого и Сталина», хоть и в миниатюрном масштабе. Только тогда совершилось чудо: русские сотрудники принялись за работу «дружно и эффективно», и «никаких затруднений больше не возникало». Вслед за описанием именно этого эпизода Хингли так обобщает свою философию русской истории, на которой построена вся книга: «Ежовые рукавицы или полная анархия — вот выбор, перед которым русские подчиненные ставят любого человека, которому доверена ответственность за их коллективные усилия. Не придется ли поэтому заключить, что именно русский склад ума привел к авторитарному государству? Или что русский склад ума является скорее продуктом авторитарного государства? С уверенностью можно сказать лишь то, что эти два феномена связаны друг с другом, как курица с яйцом».

Хотя я не могу полностью согласиться с такой философией русской истории, должен признаться, что, к сожалению, наблюдения Хингли над вольными россиянами в общем подтверждают мои собственные впечатления. Невольно приходит на память невеселая шутка, бытующая как в Советах, так и за рубежом: «Один русский — русский, два русских — драка». Вольным россиянам стоит об этом крепко призадуматься как раз сейчас, когда на повестку дня стал уже вопрос об устройстве послекоммунистической России. Как бы честны и искренни ни были устремления подсоветского «демократического движения», какой бы популярностью ни пользовалось само слово «демократия», приходится согласиться с Солженицыным, что послекоммунистическая Россия должна стать авторитарной, прежде чем она сможет рассчитывать на развитие в сторону демократического идеала — и чтобы не стать добычей бессовестных демагогов.

Однако из признания того, что русский склад ума, или русский национальный характер, со всеми его изъянами лучше всего совместим с авторитарным строем,

отнодь не вытекает, что он также совместим и с нынешним коммунистическим тоталитаризмом. К сожалению, именно такой вывод делает Хингли в третьем пункте своего тезиса: коммунистический тоталитаризм является-де, прямым наследником авторитарных традиций царской России. И, что еще хуже, несмотря на то, что Хингли применяет термин «тоталитаризм» только к послереволюционному периоду, он не показывает его принципиального, коренного отличия от авторитаризма, считая его всего лишь разновидностью последнего. (Поэтому и второй пункт тезиса Хингли не может быть принят полностью.) Такое смешение понятий не только искажает русскую историю, но и чревато самыми опасными последствиями для Запада и всего свободного мира.

Ошибка Хингли тем более досадна, что, в отличие от большинства западных специалистов по России, он не питает иллюзий насчет тоталитарной сущности нынешнего режима. Он знает, что тоталитаризм начался не со Сталина, а еще с Ленина, и что в настоящее время развился в «форму рабства, более изысканную и всеохватывающую, чем любая из известных истории». Не приходится упрекать Хингли и в ходком на Западе желанномыслии, что эта форма рабства — явление преходящее, то есть своего рода болезнь коммунистического роста, и что после смерти Сталина коммунизм якобы неуклонно и сам собой перерастает в разновидность с человеческим лицом. «Несмотря на эти иллюзии, — пишет Хингли, — Запад наконец начинает сознавать, что по сравнению с положением при Хрущеве угнетение при Брежневе не ослабело, а усилилось».

Также, в отличие от многих советоведов, Хингли не замыкает себя в стерильной башне академичности, не отгораживает себя от мира еще одним книжным кирпичом. Наоборот, его книга о русском складе ума продиктована не столько академическим интересом к

России, сколько чувством глубокого беспокойства за судьбу своей страны и западных демократий вообще. Его беспокоит как рост тоталитарной угрозы извне, так и проявления симптомов тоталитаризма внутри западных демократий. Эти проявления Хингли видит в половой уравниловке и в потакательстве «наглым, грубым, лохматым и невежественным» недорослям-крикунам; в презрении к частной собственности и к профессиональной выучке со стороны отпрысков богатых семейств; в студенческих беспорядках и в осмеянии профессоров, старающихся поддерживать академический уровень; в оправдании политического терроризма и революционного насилия; в утопизме и фразерстве оголтелых бомбометателей; в оправдании уголовных преступлений «пагубным» влиянием среды; в презрении к правам личности со стороны левой интеллигенции. По мнению Хингли, все это симптомы политической патологии, или *психопатологии*.

Не берусь спорить с этим диагнозом, тем более что сам Хингли подкрепляет его авторитетом Достоевского, который уже проанализировал подобный общественный недуг в «Бесах», в «величайшем политическом романе и, может быть, в величайшем романе вообще», по мнению Хингли. Но в чем я совершенно не могу согласиться с Хингли, так это в его определении происхождения и развития этого недуга — в четвертом пункте его тезиса. Согласно Хингли, современная «психопатология» на Западе и во всем мире — это результат заражения некоторых кругов населения такими русскими национальными чертами, как излишество и крайность во всем. В прошлом веке эти черты породили в России нигилизм, нечаевщину и даже «девушек-бомбометательниц хрупкого сложения, но со стальными нервами». В наши дни, подразумевает Хингли, эти черты вне пределов России породили бессмысленный терроризм Красных бригад и банд вроде «Баадер-Майнхоф». Как эта зараза перекочевала

из России прошлого века на сегодняшний Запад, Хингли даже не пытается объяснить, если не считать объяснением его поразительное утверждение, что знакомство с Россией само по себе приводит к русскому типу поведения. (Если не в упрек лично г-ну Хингли, то в упрек его профессии позволительно будет спросить: а не зависит ли это знакомство от того, *кто и как* знакомит Запад с Россией?) Вопреки досточтимой британской традиции эмпирического подхода даже к самым трансцендентальным вопросам, Хингли вдается лишь в беспомощный фатализм и меланхолию. «Не становимся ли мы все теперь русскими девятнадцатого века? — патетически восклицает он в заключительном параграфе своей книги. — Если это так, то жаль, что эта коллективная психика... распространяется на международной арене, хотя она, может, и убывает в стране своего происхождения...»

Признавая, что нигилизм, терроризм и другие формы экстремизма в самом деле бурно проявились в России в течение полувека, предшествовавшего коммунистической революции, осмелюсь утверждать, что они никогда не были более русскими, чем, скажем, «русский грипп», поразивший Запад прошлой зимой. Вирус психопатологии не знает национальных границ. Англию он поразил в 1642 году, Францию — в 1789, а Россию — в 1917. В Англии он разразился «куцым парламентом», казнью короля и «железнобокой» внутренней и внешней политикой Кромвеля. Во Франции — якобинством, казнью короля и королевы, гильотиной, культом «Верховного Существа» Робеспьера и имперскими завоеваниями Наполеона*. В России

* Именно эти две революции, а не восстания Разина и Пугачева, одарили Ленина «цивилизованными» прецедентами для роспуска Учредительного собрания, уничтожения царской семьи и массового террора. И от «железнобокого» Кромвеля до «стального» Джугашвили цепь идет не только металлическая.

этот вирус привел к роспуску Учредительного собрания, к поголовному уничтожению царской семьи, «культу личности», массовым чисткам, лагерям смерти, промывке мозгов, показательным судам, шарашкам и — в наши дни — к «форме рабства, более утонченной и всеохватывающей, чем любая из известных истории». Не без помощи технических достижений и политических попущений Запада, эта форма рабства — коммунистический тоталитаризм — распространилась за последние шестьдесят лет чуть не на половину человечества и сейчас больше, чем когда-либо, угрожает всему миру. И хотя первоисточник и главный очаг ее распространения находится в России, русский народ — также ее первая жертва. Давно пора понять, что коммунистический тоталитаризм — не национальная болезнь, а общечеловеческий недуг. Симптомы этого недуга повсеместны, и местные вирусные атаки, если их вовремя не изолировать, угрожают глобальной эпидемией. Поэтому и курс лечения должен быть глобальным, и для его определения надо прежде всего обратиться в происхождении и развитии самого недуга.

Тот факт, что симптомы политического психопатства бурно проявляются в наши дни даже в наиболее развитых, цивилизованных, свободных, демократических и преуспевающих странах, — не ставит ли под вопрос саму концепцию социально-экономического детерминизма, которая под названием марксизма установила полную монополию в историографии за железным занавесом и которая даже без ссылки на Маркса оказывает преобладающее влияние на историографию в свободном мире? Книга Хингли тем и интересна, что представляет собой попытку вырваться из тисков этой концепции. Но, вырвавшись из одних тисков, не попадает ли он в другие? Не поддается ли он общей человеческой слабости, которая заставляет нас навьючивать своими грехами беззащитного козла

отпущения? Мне думается, что такого козла Хингли увидел в русском складе ума.

Между тем, намеки на то, где следует искать источник как нынешней психопатологии на Западе, так и тоталитарного недуга человечества вообще, содержатся в самой книге Хингли. Например, он цитирует с явной симпатией солженицынское определение современного состояния умов на Западе как «духовное замешательство, ведущее к политической катастрофе». К сожалению, именно духовным истокам тоталитаризма Хингли не уделяет должного внимания. Мне же думается, что среди всех других факторов любого исторического процесса, включая сюда и нынешний рост тоталитаризма, ведущая роль принадлежит не социально-экономическому, не политическому, не фактору национального характера, а фактору духовно-интеллектуальному.

Исходя из примата духовно-интеллектуального фактора, постараюсь теперь противопоставить тезису Хингли свой: коммунистический тоталитаризм связан «как курица с яйцом», не столько с русским складом ума, сколько с западным типом мышления, сложившимся в результате духовного сползания христианской западной цивилизации в ее нынешнюю секулярную и материалистическую фазу, и, поскольку все другие страны, в том числе и Россия, следуют за Западом в том же направлении, коммунистический тоталитаризм — это недуг всего секулярного человечества.

Чтобы хоть немного компенсировать неизбежную голословность этого тезиса ввиду малого размера статьи, постараюсь теперь конкретизировать его, разбив на составные части:

- (1) Коммунистический тоталитаризм не только не имеет ничего общего с русским авторитаризмом, а есть качественно новая форма государственности, коренным образом отличающаяся от всех

предшествующих форм — как в России, так и вне ее.

- (2) Главная особенность этой новой формы государственности — то, что она основывается на идеологии марксизма, претендующей на авторитет абсолютной, универсальной и единственно-непогрешимой религии всего секулярного человечества.
- (3) Тоталитарная сущность марксизма коренится как в самой личности Маркса, движимой фанатической нетерпимостью и непомерной гордыней человекобожества, так и в духе времени, в которой та сформировалась.
- (4) Помимо материализма, утилитаризма, позитивизма и слепой веры в научно-технический прогресс, этот дух времени определялся не только атеизмом, но и теомахией, или богоборчеством.
- (5) Оформившись интеллектуально в эпоху Просвещения, богоборческий дух до сих пор продолжает оставаться одной из важнейших черт, характерных для нынешнего научно-технического направления человечества вообще и для Запада — как инициатора и предводителя этого направления — в особенности.
- (6) Лучше всего богоборческий дух нынешней фазы западной цивилизации был схвачен в разгар промышленной революции Мэри Шелли в ее мифе об одном западном ученом, пожелавшем превзойти Создателя в Творении, но преуспевшем лишь в лабораторном производстве человекоподобного чудовища на горе человечеству и на свою погибель, — в романе «Франкенштейн, или современный Прометей».

- (7) Современник и духовный и интеллектуальный собрат Виктора Франкенштейна — Карл Маркс — тоже возомнил себя современным Прометеем, титаном-богоборцем и благодетелем человечества, и из достижений бездуховной западной учености «сотворил» свой план создания нового человечества.
- (8) Эксплуатируя в своих целях благосклонность русского образованного общества ко всему западному, Ленин и его соратники сделали все, чтобы превратить Россию в лабораторию западного прогресса и претворить план Маркса в действительность — и весьма даже преуспели, но лишь в превращении России в труп и в последовавшем «оживлении» этого трупа в «новое общество», но не с человеческим лицом, а с рылом, при виде которого сам Маркс затрепетал бы и в могиле.
- (9) Поскольку это чудовище, нареченное выше коммунистическим тоталитаризмом, есть интеллектуальный и духовный (точнее: бездуховный) отпрыск Запада, последний несет ответственность за преступное и печальное хождение чудовища по миру не меньшую, чем вольные и невольные работники российской лаборатории западного прогресса, из которой чудовище вышло в свет*.

* Более подробно взаимосвязь между нынешним тоталитаризмом, Карлом Марксом и западным богоборчеством рассматривается в моей статье (по-английски): см. Wladislaw Krasnow, «Karl Marx as Frankenstein: Toward a Genealogy of Communism,» *Modern Age*, Vol. 22, No. 1, Winter 1978, pp. 72-82; см. также эссе В. Краснова «Виктор Карл Маркс фон Франкенштейн, или генеалогия коммунизма» — «Грани», № 107, 1978.

(10) Запад едва ли сможет справиться со своим блудным пасынком до тех пор, пока сам не отрешится от богоборчества и не откажется от антидуховных идей материализма, утилитаризма, позитивизма и, конечно марксизма, которые, вкупе с такими недавними «измами», как релятивизм и экзистенциализм, продолжают определять культурную, идеологическую и политическую жизнь Запада.

По мере того, как нынешнее пораженческое состояние умов на Западе будет увеличивать угрозу окончательного соблазна коммунистическим тоталитаризмом, западные демократии неизбежно окажутся перед выбором: или доказать свою жизнеспособность посредством самоограничения своих свобод, как это было сделано, например, в борьбе с национал-социалистическим и фашистским тоталитаризмом, или уступить свое место более авторитарным режимам, тысячелетняя история которых доказывает, что они не только сами по себе никогда не приводили к тоталитаризму, но и могут послужить наиболее надежным заслоном демократии против тоталитарной угрозы. Как-никак, на карту поставлено не только существование капитализма, либерализма или западных демократий, но и всего человечества.

Всё остальное — перекладывание вины, но не с больной головы на здоровую, а с дурной на несчастную: с западного состояния умов на русский склад ума. Как рыба гниет с головы, так и современное человечество — с Запада.

Март, 1978

КРАСНОВ Владислав Георгиевич — родился в Перми в 1937 г. Закончил истфак МГУ по кафедре этнографии в 1960 г., участвовал в нескольких этнографических экспедициях АН СССР. Два года работал редактором иностранного вещания Московского радио. Бежал из делегации ВОКСа и получил политическое убежище в Швеции. Был лектором в Лундском университете (Швеция), с 1966 г. живет в США. Получил степень доктора философии в Вашингтонском университете в Сиэттле. Преподавал русский язык и литературу в университетах Остина и Далласа. В настоящее время — профессор Монтерейского института по изучению зарубежных стран (Калифорния). Печатался в «Гранях», «Новом русском слове», в американских газетах и журналах.

ПАМЯТИ А. А. ПОБОЖЕГО

С Александром Алексеевичем Побожим судьба свела меня более четверти века тому, на трассе теперь уже знаменитой «Мертвой дороги»: он был тогда главным инженером Северной экспедиции, занятой проектированием будущей магистрали. Работая в системе ГУЛага, под неусыпным надзором оперативной части, он всегда находил средства облегчить участь заключенных, с которыми по долгу службы имел возможность общаться. Люди, прошедшие школу лагерного Архипелага, подтвердят, чего это в те времена стоило и чем это могло для него окончиться.

Почти через двадцать лет я увидел его фамилию на страницах наиболее популярного советского журнала «Новый мир», где он выступил с умными и предельно искренними записками об этой поре своей жизни, которые затем были выпущены отдельной книгой издательством «Молодая Гвардия». Книга принесла ему литературную известность, была переведена на несколько языков, по ней планировалось сделать полнометражный художественный фильм, но он не оставил своего любимого дела, мотался из экспедиции в экспедицию, искал, находил, проектировал.

Редко в своей жизни я встречал человека такой душевной чистоты и цельности. Раз познакомившись с ним, невозможно было не подпасть под обаяние этого, во всех отношениях недюжинного русского самородка. Недаром о нем всегда с теплотой отзывался Александр Твардовский, а тот, как известно, не отличался щедростью на похвалы. Дружбой с Побожим неизменно гордился Юрий Домбровский, знавший толк в подлинных характерах. С неизменным восхищением вспоминает о встречах с Александром Алексеевичем Виктор Некрасов, тоже повидавший на своем веку людей высокой пробы.

В жизни каждого человека есть дружбы, о которых вспоминается, как о праздниках. Для меня таким праздником была дружба с Александром Алексеевичем Побожим.

Его смерть — потеря для всех, знавших его, но для меня это еще и сугубо личная потеря.

Владимир Максимов

Факты и свидетельства

Лех Дымарский

ЧТО БЫЛО В МАЕ?

«Одно из основных прав человека — право на свободу. Гражданин, а особенно гражданин страны социализма, хочет чувствовать себя свободным, быть уверенным, что ничто ему не угрожает, что ему нечего пугаться, если ночью постучат к нему в дверь». Это сказал министр внутренних дел ПНР... 21 год назад. Мысль эта, не отличающаяся ни глубиной, ни новизной, ни достаточной четкостью, высказанная тогда главой министерства, чиновники которого годами арестовывали, пытали и убивали, для «гражданина страны социализма» означало примерно «с террором кончено», «конец беззаконию» и т. п. Выйдя из мрака разоблаченных «извращений», мы пришли к эпохальному открытию: социализм не требует крови, вырванных ногтей, ложных обвинений! Мы торжествовали. С этих жарких октябрьских дней жизнь начиналась совсем другая. Какими же оптимистами были мы, несмотря на боль, и в каком согласии: общество и власти, власти и общество; Го-мул-ка, Го-мул-ка!

Вот и Гомулки уже нет. И что осталось нам от открытия тех времен?

Террор стал стыдливым. Террор компрометирует государство. Государственный террор означает отсталость. Задержанное развитие. А власти хотят быть современным государством. Мы, граждане, тоже хотим быть современным государством, тем более, что еще 21 год назад мы взаимно обязались: террора не будет.

На улицах балтийских портов пулеметы строчили по рабочим, а премьер взволнованно рассказывал телезрителям о каких-то хулиганах, которые побили милиционера. Тысячи граждан информировали сейм об истязаниях радомских рабочих, а правительственные публицисты в ответ разоблачали некие тайные силы, кем-то управляемые. Чиновник госбезопасности склоняет недружелюбного собеседника к сотрудничеству, после чего просит жертву шантажа помалкивать: пусть всё останется между нами. И всё это — между нами. Террор, которого не должно было быть, а значит, и нету.

Между нами — гражданами. Между терроризированными гражданами и теми, кто творит террор. Террор, которого не должно было быть, а значит, и нету. Мы не хотим ни говорить о нем, ни слышать. Мы стыдимся перед соседом, что некто в штатском спрашивал его о нас, мы стыдимся перед собой, что сказали гебисту слишком много о товарищах по работе. А унижительные отказы, когда просишь разрешения съездить за границу? Там, за границей, мы возмущены необъективными иностранцами, которые что-то слышали о том, как трудно выехать. Вот еще, Польша — это же не Китай или там... какая-то ГДР! Кто хочет, выезжает. Хотя бы я!

Мы стыдимся компрометирующей правды и стыдимся властей, как и они стыдятся перед нами. Но больше всего стыдятся они перед внешним миром — опровергают, отклоняют высосанные из пальца обвинения, объясняют истинные намерения обвинителей, срывают маску с определенных сил, приводят цифры и примеры.

Мы прячем наш террор наравне с властями. Хоть это и террор, пусть даже извне привитый, а все-таки наш, польский, здесь, на этой земле, этими руками взращенный и польской технической, экономической, психологической мыслью модернизированный.

«Народ с партией», «Партия с народом» — это не пустые лозунги. Наши основные желания параллельны и... в бесконечности, можно сказать, встречаются. Мы хотим жить нормально, «как люди». Мы хотим быть руководимыми. Власти хотят руководить «хорошо» и хотят, чтобы мы «хорошо» работали. И к нашему общему недоумению — загорается партком. Выработав не слишком четкую, но собственную картину событий (на основе всеобщего нерушимого убеждения, что истина — посередине, т. е. между «Свободной Европой» и последними известиями польского телевидения), мы возвращаемся к наивным вопросам: Почему, собственно, толпы идут к парткому разговаривать с властями? И почему партком удирает? и присылает своих представителей с дубинками, газами и автоматами? Почему партком подожжен? Почему на улицы въезжают танки? Почему в современном европейском государстве стреляют на улице? Да вы что, не знаете, что ли? — прервет дискуссию кто-нибудь интеллигентный — Уж это-то мы вроде можем прямо сказать (только умоляю — пусть это останется между нами): за Бугом — Советский Союз.

И на какое-то время всё снова становится ясным.



На 1977 год мне подарили крохотный календарик. На один месяц приходится одна страничка, на один день — одна строчка; записи, сделанные обычно *ex post*, по необходимости кратки. Отдельные слова, эквиваленты предложений, зафиксировали ритм моей жизни за первое полугодие — тем более заметный, что календарик содержит ряд слов-сигналов, повторяющихся через каждые несколько — или несколько десятков — строчек. Среди них: схватили, допросили, обыскали, вызвали, выписали, забрали, прописали. И другие, которые во втором полугодии вытесняют первые: отняли, лишили, уволили и т. п. В календарях многих моих друзей и знакомых (если они записывают события) нашлись бы другие опознавательные знаки: арест, тюрьма, освобождение, голодовка. У некоторых: избили, били ногами.

Читателю, которого в первом полугодии 77-го года (или раньше, или не его, а его знакомых) не «хватали», не «арестовывали» и ничего у него не «изымали», я вынужден дать краткие комментарии.

Запись «вызывали» в моем календарике означает, что я получил повестку — вызов, обязывающий (или не обязывающий — это зависит от того, как заполнена соответствующая рубрика) меня явиться в определенное место в определенный час. Если вызывает милиция, результат вызова (предположительно) — допрос. Он мог касаться, например, следующего:

- места жительства (см. дальше «выписали-прописали»);
- Станислава Баранчака;
- книг, которых не следует читать и иметь (напр., Чеслава Милоша, Витольда Гомбровича, Лешека Колаковского, Джорджа Орвелла), стихов, которых не следует переписывать (напр., Станислава Баранчака);
- денег, которых не следует собирать;
- ожидающихся нарушений общественного порядка (заупокойная служба, отправка коллективного письма).

«Вызывали» может означать также телефонное приглашение кого-либо из родственников или окружающих на беседу в ГБ с целью косвенного предъявления обвинений (напр., деятельность в ущерб Польскому Государству), или же приглашение на беседу с деканом, суть которой — шантаж. Это особенно злостная форма «вызова»: органы преследования сваливают часть своих служебных обязанностей на научные авторитеты.

Комплекс «прописали-выписали» коннотирует комплекс действий, связанных с вынужденными переменами места жительства. Тут мне приходится привести пример: лицо, которое сдало мне квартиру (комнату), вызывают (ср. «вызвали») и информируют, что мое дальнейшее пребывание в сданном помещении отразится на работе, семье, жилье и проч. этого лица. Далее события развиваются по схеме «выписка-прописка» и — по новому кругу.

«Обыск» — это неожиданный визит по месту жительства (ср. «прописали-выписали»). Гости представляются сотрудниками отделения милиции и приступают к обследованию полок, шкафа, дивана и т. д. Выходят гости с предметами, являющимися вашей собственностью (напр. пишущая машинка, колечко, книги, письма), которые оказываются объектами «обыска». Нередко обыскивающие забирают с собой и хозяина с целью допроса (ср. «вызвали»). «Обыск» означает также контроль содержимого карманов, ботинок, портфеля, швов одежды — по месту допроса. Присвоение (конфискация, изъятие) в первом случае — правило, во втором — не всегда.

«Забрали» — это тоже нежданный визит в доме, обычно с утра. Цель визита — транспортировка в отделение милиции, и дальше см. «вызвали». Внимание: если мы в этот момент в гостях у забираемого, нас тоже положено забрать.

«Схватили». Что это такое — каждый видит. Пример: в центре города днем, став поперек тротуара, нам загораживает дорогу машина с сотрудниками. Вскоре мы уезжаем вместе с ними, наблюдая, как быстро уличная жизнь возвращается в норму. Непосредственной причиной похищения может быть намерение допросить, но размах возможных финалов эпизода «похищение» весьма широк. Поэтому из всего, что уже описано, это действие особенно изматывает: до последней минуты не знаешь, куда и зачем едешь, а чем больше «Фиат» набирает скорость, тем навязчивей становится мысль о дорожном происшествии.

Появляющиеся в заметках слова «отняли», «лишили», «уволили» скрывают целый комплекс невыгодных для меня происшествий, связанных с потерей, напр., литературной стипендии, платы за сделанную работу, должности заведующего галереей, некоторых гражданских прав (работа учителем, поездка за границу), возможности издания книги на родине или публикации в официальной прессе.

Вернусь к одному из предыдущих пунктов. Почему я называю обыск неловким словом *rewidowanie*, а не нормальным

польским *rewizja*? Потому что это второе я использовал (и использую) для заметок о кассационных судах по делу моих друзей.

Весной 1976 г. Станислав Баранчак был под судом по обвинению в попытке подкупа государственного служащего. Получил год условно. Служащий же, начальник местечка Пушиково под Познанью, получил прибавку к зарплате. Потом Баранчака вышвырнули из Института теории литературы при Университете им. Адама Мицкевича в Познани. Станислав до сих пор живет и работает у своей матери (вместе с женой, тоже доктором польской филологии, и двумя детьми). В квартире три небольших комнаты, одна из которых — зубоврачебный кабинет. (Кабинет, впрочем, бездействует: прежде чем судили Баранчака за взяточничество, была наказана мать. Доцент д-р Зофья Баранчакова, сотрудник Медицинской академии в Познани, заплатила огромный штраф за «нелегальную практику», которая и была ей запрещена. Штраф вlepили, исходя из оценочного подсчета доходов от частного лечения. Предположительное число пациентов в день умножили на число будней, воскресений и праздников... В принципе, каждый оstepененный специалист проводит такую — боле или менее «легальную» — врачебную практику, дополняя таким путем, с молчаливого согласия властей, хворое государственное здравоохранение. Случай Зофьи Баранчаковой — один из многих, что в последние годы помогли нам, гражданам ПНР, понять, что все мы виновны перед властями, но они нас наказывают только тогда, когда посчитают нужным. К примеру: ежедневно в квартирах по всему свету собираются люди, и только недавно оказалось, что подобный поступок в ПНР может оказаться проступком, если власти квалифицируют дружескую встречу как «нелегальное сборище.») Так вот, когда кооператив отказался предоставить Баранчаку давно оплаченную квартиру, которой он дожидался 12 лет, будущий обвиняемый решил купить дом под Познанью. Согласно предписаниям, требуется согласие на куплю-продажу от начальника города. Начальник, позднейший свидетель обвинения, долго тянул с решением. На одной из аудиенций объявил, что город Пушиково нуждается в помещении для библиотеки и что местные власти присмотрели как раз первый этаж этого дома. Но, говорил он также, у города нет средств на покупку выбранного помещения. К следующему визиту он все еще не принял решения и продолжал жаловаться на нехватку денег в городской казне. Наконец, последний прием: пан начальник объявляет, что город отказывается от приоритета покупки первого этажа несчастной дачи. Счастливый Баранчак достает 2 тыс. злотых и

вручает их начальнику на покупку книг для будущей библиотеки. Начальник вызывает секретаршу в свидетели происшествия и поднимает телефонную трубку. Воеводские власти узнают, что гражданин Баранчак пытался подкупить начальника. Ну и — процесс.

Когда мы, окружив осужденного Баранчака, выходили из здания суда, где приговор первой инстанции был утвержден, я поделился с товарищами опасением, как бы не пришлось нам время от времени так же встречать то одного, то другого из нас, все равно что приятеля, который возвращается домой после службы в армии, поумневший и повзрослевший. Мы поглядели друг на друга: кто следующий? И в чем он будет обвинен? Вскоре в той же компании мы встретились в зале суда, где моего друга и соученика по университету Ежи Новацкого (актер Театра Восьмого Дня, основатель познанского Студенческого комитета солидарности, полонист, по решению воеводских властей уволенный с должности заведующего Домом культуры в поселке под Познанью, после многих месяцев безработицы служит теперь в жилищном кооперативе за 2300 злотых в месяц, вместе с женой и ребенком занимает одну комнату в квартире ее родителей) осудили на год условно. Госбезопасность обнаружила, что Новацкий получал одновременно пенсию за покойного отца и студенческую стипендию, в силу чего многократно присвоил себе излишек в размере 300 злотых. Пенсия приходила на адрес матери, так что Ежи не знал, что совершает «систематическое преступление». Адвокат вообще считал, что никакого преступления не было, но аргументация того, кто защищает преступника, не могла быть принята судом во внимание.

Среди тех, кто тогда встречал Баранчака, были актеры Театра Восьмого Дня. Этот театр, существующий более десятка лет (и я там несколько лет проактерствовал), известен и по-прежнему популярен в Польше, выступал он и почти во всех странах Европы. В эти самые дни специальные лекторы «политграмоты» излагали в познанских лицах, что театр этот — банда уголовников. Театр, однако, играет дальше, вполне официально, и их новый спектакль принят публикой с восторгом. Тем не менее, мужская часть коллектива сейчас дожидается процессов. (Летом они устроились на физическую работу в странное какое-то предприятие «Водные товарищества». Там обнаружилась хозяйственная афера, и меч справедливости настиг именно их, сезонных работников. Их обвиняют в получении лишней зарплаты в размерах от нескольких сот до нескольких тысяч злотых. Кстати, допрашиваемые видели в деле фирмы «Водные товарищества», где я не только никогда не рабо-

тал, но и не слышал прежде этого названия, мою «анкету» с фотокарточкой.)

В таком контексте напрашивается вопрос, почему записанные в моем календарике заголовки «процесс», «кассация» не касались меня лично? Адам Качмарек, зам. председателя правления Социалистического союза студентов, сказал мне, когда я еще заведовал галерей при правлении, что он разговаривал по моему делу в воеводском комитете партии: товарищи огорчены, что, несмотря на самые дотошные расследования, **п о к а ч т о** в моем прошлом преступной деятельности не обнаружено. (Вот тебе на, чуть не с каждой фразой являются новые термины. Скажу только, что «мое дело» и есть то, о чем я пишу.)

Зато лояльно признаюсь, что чуть не угодил в тюрьму. В обвинительном заключении по делу Баранчака было приложение: данные об окружении обвиняемого. В нем содержались фамилии трех лиц, с которыми обвиняемый поддерживает контакты: Криницкий, библиотекарь, судимый; Янишевский, экономист, под судом; и я — тот, кто будет под судом, ибо идет дознание по делу подделки студенческого билета. На самом деле: не дознание, а поиски; не подделка, а потеря; и не я был в положении обороняющегося, а государственные железные дороги, которые студбилет отобрали, и органы, которые его затеряли. Я искал свой билет полгода и нашел его, неизвестно почему, в прокуратуре, где документ отдали без всяких объяснений. Так что «данные» были неточными, тем более, что Баранчак не знал, кого именно из актеров Театра Восьмого Дня звали Янишевский.

Есть еще тип событий, отмеченных в календарике, которые меня касаются, хотя и происходят без меня. Речь идет о заметке, далее называемой «спрашивали». Она означает, что в такой-то день официальное лицо (милиционер, следователь, чиновник) задавало вопросы лицу физическому (коллеге, работодателю, студенческому деятелю, научному сотруднику) о подробностях моей жизни и планах на будущее (склонность к алкоголизму, длина волос, собирается ли посвятить себя научной карьере, имеет ли влияние на X, имеет ли на него влияние Y, можно ли вернуть его обществу и т. д., и т. п.). Разумеется, я мог отметить только те «спрашивали», о которых мне сообщали: «Про вас снова **с п р а ш и в а л и**»; «Старик, у меня тут были, о тебе **с п р а ш и в а л и**». Нелегко узнать, о чем спрашивают, когда спрашиваемый связан со спрашивающим рыцарским уговором и, естественно, удерживается от передачи содержания разговора заинтересованному лицу. Но не могу сказать, что мне не

давали доказательств доброжелательности — заменяя информацию призывами типа: «Про вас снова спрашивали — имейте в виду!», «Старик, у меня тут были, про тебя спрашивали — будь осторожней!» Масса моих знакомых поддается на «спрашивали». Случается, что одно и то же лицо бывает и объектом «спрашивали» и, на другой раз, лицом спрашиваемым. Если лицо, о котором как раз собирают информацию, с согласия (с поощрения) спрашивающей стороны извещается об этом факте, для него это означает перемену в общественном положении, а все чаще повторяющееся «спрашивали» становится формулой предостережения от зачисления в более узкую социальную группу — к тем, кого привычно, но неверно зовут диссидентами.

* *

*

Сколько же вместилось в такой «малогабаритный» календарик...

Что было в мае? Первого был праздник рабочего класса (в моем французском календарике это звучит не так буднично: «Fête de Tr.»). Я не принимал в нем активного участия, хоть и социалист по убеждениям. Последний же раз я праздновал публично в 71-м году в Познани. Хорошо помню, передо мной шло здравоохранение. Когда я, с верою глядя вперед, проходил мимо трибуны, рупорный диктор патетически приподнятым голосом сообщил, что «медицина (ура, ура) это не только лечение (гип, гип), но еще и (слава, слава), но еще и про-фи-лак-ти-ка!». Много других деталей отвратило меня от майской демонстрации, так что теперь праздную в кругу друзей, подальше от городских торжеств...

Дальше строчки календаря я оставил незаполненными, чтобы оставить пространство между полнолунием (18 апреля) и едва заметным серпиком полумесяца. На 21 мая я записал — раньше — выпускной вечер*; позже — на 23 мая: «заупокойная служба». Ex post отметил возле 20 мая «схватили на ул. Гвардии Любовой в 19.00».

Как раз в эти дни в Познани ожидали студенческих выступлений солидарности. Пару недель назад в подворотне на ул. Шевской в

* Везде далее, где речь идет об окончании университета, о выпуске и выпускном вечере, имеется в виду так наз. «абсолюториум» — окончание без защиты диплома. После этого выпускники еще защищают дипломную работу, получая степень магистра, — только тогда высшее образование считается законченным. — Прим. пер.

Кракове нашли труп студента-полониста Ягеллонского университета Станислава Пыяса. Пыяс был связан с оппозиционными кругами. Перед смертью он получал анонимные письма: грозились убить. Он извещал об этом прокуратуру.

Официально организованные студенческие Ювеналии (ежегодный весенний праздник студентов — Прим. пер.) превратились в двухдневную траурную демонстрацию. Шествие молча двигалось по улицам Кракова. Кучки одураченных пестро наряженных студентов, вытолкнутых на улицу штатными активистами, чтобы веселостью подавить траурные настроения, — присоединялись к демонстрации. Под стенами Вавеля, замка польских королей, прошел тихий, молчаливый митинг. На митинге было объявлено о создании Студенческого комитета солидарности. Пропели национальный гимн, минутой молчания почтили память погибшего товарища. Эти факты быстро дошли до других университетов страны и вызвали понятное волнение. Заявление краковского СКС, размноженное в большом количестве экземпляров, уже дошло до Познани.

«Органы», как всегда, ожидали «худшего». Мельканье сотрудников в штатском, пеших и моторизованных, было куда больше обычного... «Фиаты» нагружены гебистами. Едут медленно. Ускоряют. Стоят. Филеры за углом, за выступом подворотни, в здании Университета. Топтун торчит у кабинета Баранчака — час, третий, пятый. Сосредоточенный, читает. Смущается, уходит, приходит другой — студент как с картинки, но чужой какой-то... Где-то, за какими-то дверьми, совещание. Надо звонить в Варшаву. Девушка, соедините. Соедините меня, девушка, немедленно — с товарищем, с полковником, с департаментом, с центром, с мозгом. Обмотайте меня сетью телефонов, донесений, инструкций, управляй мною, говори моим голосом, занимай мою решительную позицию, моя партия, мое сердце, мое кровообращение. Действовать. Противодействовать. Радикально перед лицом. Да нет, ради Бога, соедините меня, девушка. Товарищ, дошли ли уже до вас. До меня доходят всё новые. Да, безусловно. Что вы на это. Что предлагает. Будем держать контакт. Да-да, жду, что скажет Варшава... Продолжать наблюдать. Нет, пока нет. Ладно, ладно, еще будет случай. Ох, чего вы мне говорите, что это неуместно. Или вы не понимаете, что, может быть, завтра? Вы в некотором роде отвечаете за возможные, вы меня поняли?

Если бы в такой момент эвакуировать жителей, оставляя наблюдающих, следящих за ходом событий, соединяющихся с Варшавой, — город продолжал бы жить особой жизнью. Я знаю этот

механизм и все-таки временами испытывал ощущение, что ГБ знает что-то большее, нежели я, «что-то», что вызвало боевую готовность ГБ, нервное возбуждение ректоров, стычки партийных деятелей, таинственно-тревожные взгляды «только что проинформированных», «серьезно озабоченных» и «полных опасений». Может — война?... Почему молчит радио? газеты? Почему не останавливают уличного движения, не затемняют окон... Нет, нету войны. Есть ситуация. Определенная ситуация. Скажу больше — особая ситуация! Вы меня понимаете?! Так действуйте, и чем скорей, тем лучше!

«Кто-то очертил механизм сталинского режима сжатой метафорой, — писал Владислав Беньковский, тогдашний министр просвещения, в «Пшеглёнде Культуральном» в октябре 1956 г., — если одна баба на рынке в Рыпине обругала правительство — в ход шел весь аппарат госбезопасности; если то же сделало 20 человек, объявляли частичную мобилизацию. Только благодаря этому механизму, действующему со слепым автоматизмом, стала возможной чудовищная — фактически и исторически — венгерская трагедия».

* *

20 мая. Машина с надписью «Связь» стоит перед домом Марцина Кеншицкого, моего коллеги по семинару теории литературы и актера Театра Восьмого Дня. В машине четыре заплывших лица; соскучившиеся, решительные взгляды. Перед тем как я вышел от Марцина, звонил Новацкий: он только что вернулся с допроса, и хорошо, что поймал меня, у него есть кое-что мне сказать — лучше всего с глазу на глаз. Как выяснилось позже, офицер признался ему, что хотел бы поговорить со мной — и в тот же день. Похоже было, что хотят меня взять из дому или уже там ждут. (Новацкого формально вызвали на этот день для дачи показаний по делу выше-названных «финансовых злоупотреблений»). В участковом отделении милиции его ждали чины госбезопасности. «В любой момент могут превратить его в ничто». Приказали выехать из Познани сразу после завтрашнего выпускного вечера. Ежи согласился, оказавшись перед альтернативой: если он хоть как-то проявит траур по Пыясу, будет арестован по обвинению в систематическом преступлении против государственного имущества. У Н. были все основания принимать угрозу всерьез. Пыяс — в могиле, деятели КОРа — по тюрьмам. Может, кто-то сознательно провоцирует? Может, кому-то нужна анархия? Кто-то нацеливается взять власть, как 9 лет назад?... Открытие уголовного дела против Н. повлекло бы за собой сообщение

институтским властям, и даже если до истечения 48 часов дело аннулировали бы, администрации хватило бы времени лишить неудобного студента его прав, а это означало бы закончить обучение без диплома.)

Я пошел в сторону улицы Гвардии Людовой, любопытствуя, что узнал Новацкий во время допроса. Сначала я зашел в парикмахерскую. Парикмахер, с преувеличенно ухоженной бородкой и неряшливо одетый, как это бывает у людей его профессии, орудовал над чьей-то головой, в то время как порядочная группа мужчин ждала своей очереди, усевшись рядом вдоль стенки и тупо водя взором за ловкими ладонями ремесленника. Я провел с ним краткую доверительную беседу о шансах на быстрое обслуживание. Результат был негативный, и только на улице я осознал, что ... «спалил» собеседника: не исключено, что в очередь подсядет кто-то, кто попытается установить, кому и какую информацию передает дальше парикмахер. На улице Красной Армии я подумал о другой неприятности, которую я могу навлечь: филеры придут за мной к самой двери Ежи, я позвоню, хозяин откроет, увидит кучку людей... Я скажу: «Ежи, это не мои знакомые»? Ежи и так увидит, что это филеры, и знает, что это не могут быть мои знакомые. Тогда: «Ежи, эти господа не со мной...» Так он же видит, что они именно со мной! Воистину идиотская ситуация. (И лишь частично плод воображения. Когда-то приплелся за мной почтенного вида и возраста агент прямо к дверям Баранчака. Он явно спешил стать вместе со мной у порога, и — звонок, Станислав открывает, я кособоко машу в сторону человека в кожаном пальто, он спрашивает, принимает ли зубной врач, я говорю «привет, Сташек», Сташек отвечает «привет, Лех, зубной врач не принимает»...)

Мне надо было влево, я пошел по улице Костюшко, имея как вариант, чуть подальше, Мархлевского.

* *
*

С Кеншицким я разговаривал о завтрашнем выпускном вечере, точнее — о неожиданностях, которые могли бы там случиться, — хоть и не от нас пошли опасения относительно хода завтрашнего торжества. От кого — этого я не пытался установить, достаточно того, что ими поделились с деканом Пешиковским. В течение дня декан искал меня по телефону, искал поэта Адамкевича, Кеншицкого и, кажется, еще кого-то. Нашел Кеншицкого и очень любезно просил, ссылаясь на взрослость, рассудок, разумность и т. п., чтобы

завтрашняя церемония прошла в согласии с установленной программой. В противном случае декан будет вынужден ее прекратить. Кеншицкий не мог успокоить декана, который, как кажется, ошибся адресом. Опираясь на всё, что нам было известно, мы пытались представить себе, какие непредвиденные происшествия вынудили бы ректора принять суровые меры, но воображение — наше — отказало. Может, черные повязки на руках — символический знак траура по полонисту Пыясу, который погиб перед самым выпуском, были бы тем неслыханным инцидентом, что запятнал бы честное имя Университета? Потом, в течение нескольких дней после церемонии, я собирал разнообразные комментарии, проливавшие свет на существо опасений декана. Один слух гласил, что Баранчак должен был выступать в черном костюме, а поскольку пришел в свитере, я устроил ему скандал! Говорили, что некий студент должен был перехватить микрофон и произнести нечто ужасное, но душевное. На этот случай якобы была приготовлена лента с записью «гаудеамуса». Согласно сообщениям из других кругов, выпускники, вместо того чтобы петь студенческий гимн, молчали бы в течение минуты. И на этот случай вроде бы что-то приготовили. «Мы были готовы ко всему», — заявил потом деятель университетского комитета союза студентов, из сектора пропаганды. Он получил сведения, что выпускники возложат букеты цветов с черными лентами к памятнику Мицкевича. Тогда, — хвастался деятель, — мои люди, смешавшись с толпой, засыпят постамент огромными букетами без лент. К сожалению, ни мне и никому другому в голову не пришло соединить траурные символы к цветам. Цветы же возлагают к памятнику по давно установившемуся обычаю.

Вроде кто-то, кто об этом помнил, еще ночью предупредил кого надо, чтобы случаем на площади Мицкевича не избили студентов и их семьи дубинками за то, что воздают честь национальному поэту. Вообще не исключено, что пока свежеиспеченные полонистки сладко спали, готовились стратегические планы, как дать им отпор. На территории Университета штабом командовал ректор Миськевич. Он-то и соединялся с «Варшавой» — как потом говорили, «уговорил, чтоб не избивали».

И выходит, что все силы, у которых на сердце лежала забота о порядке, отличились безудержным воображением, а нам, студентам и выпускникам, остается только устыдиться.

* *

*

Я проехал две остановки трамваем и вышел на Видлецкой площади, не оглядываясь. Минута — и я уже возле нужных ворот, берусь за дверную ручку, не замечая, как прямо на меня наезжает милицейская машина с радиопередатчиком. Еще бы полтора метра — и от меня осталась бы мемориальная доска. Припертый к стенке, я рискнул предположить, что я и есть герой акции, и пошел по лестнице. Я еще верил, что хоть на минутку зайду к Ежи. Лестничная клетка наполнилась сопением, заглушавшим топот ног: бежало двое. И я ускорил шаг. Так мы мчались и дорвались бы, если б не ляп, о котором мне стыдно вспомнить. Я услышал вопрос, с характерной познанской интонацией: «А куда это вы так бежите?» Я думаю: люди в форме, в чинах, задают мне простой вопрос, без грубостей, — надо ответить. Эх! Да отвечать-то надо было на бегу, а я — остановился. Ибо вопрос был столь банален, что я задумался, в самом ли деле он банален. Начал я с ответа самому себе: «Да, ошибки быть не может, я бегу к Новацкому. Сообщив ему об этом по телефону, я информировал об этом и ГБ, так чего ж они спрашивают?..» Я еще раз реконструировал ситуацию, основываясь на очевидностях: я бегу по лестнице; вверх; в направлении квартиры Е. Н.; позади меня бегут милиционеры. Значит, в вопросе никакой хитрости, и в ответе не будет ничего, что можно было бы против меня использовать. Ответ был готов, оставалось только произнести его с глубоким внутренним убеждением: «К Новацкому!» Спустя мгновение мы уже были возле машины. Все-таки вопрос был хитростью, да еще какой изощренной. Ну, спроси он меня: «Зачем вы бежите?» — остановился бы я? Нет. «От вас убегаю», — ответил бы я, не задумываясь. Почему милиционер не крикнул попросту: «Стой!»? Он знал, что делал. На такую бессмысленную команду я бы не отреагировал, как ему надо, раз намерение мое было как раз бежать! Сколько же опыта нужно, чтобы перехитрить органы преследования...

* *

*

Было еще совсем светло, и в тот момент, как я вступил в этот погибельный разговор, какие-то люди срывали свежесклеенные траурные извещения о дне и часе панихиды за упокой души Станислава Пыяса; декан искал меня безрезультатно; кто-то кому-то рапортовал; кто-то другой добивался результатов

профилактических мероприятий; кто-то соединялся с Варшавой. Несколькими днями позже, во вторник, в воеводском правлении союза студентов говорили (я всё еще был заведующим галереей при правлении), что в то самое время, как я был в отделении, я расклеивал траурные извещения, листовки, плакаты и т. п. Председатель правления Янушовский получил даже сведения, что меня поймали за руку. И до сих пор, как я узнаю из третьих рук, всё кто-то ловит студентов за руку. Метод примитивный, но действенный... На основе доносов выделяют какого-либо студента как опасного для дела порядка (напр., слишком горячий спорщик, поклонник Театра Восьмого Дня или ходил в гости к Баранчаку). Чем более стихийно и массово бурлит студенчество, тем больше усилий прилагают «органы», чтобы убедить университетские власти и преподавателей, что это всего лишь некий Х ведет себя неправильно, а У провоцирует на бузу равнодушную массу вежливых учеников. Декана (ректора и т. п.) информируют — известно кто, — что вчера, в 12.45, схватили студента Х на месте преступления, когда он раздавал листовки. Декан вызывает студента и заявляет: «Вчера, в 12.45, схватили вас за руку, которая раздавала листовки. Что вы на это скажете?» Х: «Неправда, что вчера в 12.45 поймали меня на раздаче листовок, раз я в это самое время был на занятиях по марксистской философии. Кто это, интересно, меня поймал?» Декан: «А вы не догадываетесь?» Студент Х догадывается, декан заводит опять: «Что вы на это скажете?» Х — опять, что он очень хорошо знает, где был в 12.45. Декан уже слегка взбешен. «Вы что, не отдаете себя отчета в том, как ОНИ хорошо информированы?» Х собирается с мыслями, декан его опережает: «Может быть, вы хотите сказать, что меня ввели в заблуждение?» Х не хочет этого сказать, ему еще при этом декане учиться и учиться...

Несколькими неделями позднее замдекана Мистерский вызвал выпускника полонистики Кеншицкого по делу о письме солидарности с краковским СКС-ом. Вследствие недоразумения студенты в течение нескольких дней подписывали два разных варианта письма. И вот замдекана, известный своим послушанием, на этот раз превзошел самого себя. Он обратился к К. со следующим делом: приходят к нему студенты и просят совета, какое письмо подписать. Он-то знает, что ходят два варианта и хотел бы студентам помочь, да не знает, какой текст настоящий. Потому-то и просит Кеншицкого помочь ему, разъяснить недоразумения, наросшие вокруг письма. На слова К. о том, что он очень сожалеет, но он

уже выпускник и не во все студенческие предприятия посвящен, замдекана изрек: «А вот Русинек тоже говорил, что не знает, а я тем временем получил информацию, что он-то как раз всё и знает, и теперь уж я со студентом Русинеким по-другому буду разговаривать!» Потом он еще прибавил, что помнит оккупацию и советовал бы таких писем не подписывать, а то это пахнет конспирацией... Ох, город мой, город! Под конец он спросил, встречается ли К. с паном Д., с которым ему хотелось бы немедленно поговорить, но поскорее поправился, назвав мою фамилию вместо произнесенной сначала, несколько схожей фамилии студента-стукача.

* *
*

Как я писал, было еще совсем светло, и возле открытой, пустой милицеской машины, стоящей поперек тротуара возле кино «Вильда», с капотом почти на ступеньках у ворот, сгрудилась в безопасном отдалении кучка прохожих. Мы вышли втроем, словно на сцену, и казалось, что всем не по себе. На лицах граждан я обнаружил просьбу разъяснений. Я назвал себя. Поскольку ничего, ну совершенно ничего не переменялось, я сказал тоже самое еще раз... Ни аплодисментов, ни удара дубинкой. После такого антракта я попросил уведомить Станислава Баранчака, что вот-де в какой ситуации я оказался (мы с ним договаривались поужинать). Что-то удержало меня от сообщения адреса и номера телефона Станислава — впечатление, что я и так говорю слишком долго и не успею всего стоящего сказать. В последних словах я попросил уведомить Комитет защиты рабочих. Ни с кем из КОРа я на этот день не уславливался, речь шла о гарантии безопасности. Только что погиб Пыяс, а несчастья ходят друг за дружкой. Я допускал всякие предположения: могут меня как следует двинуть или пнуть ногой, могу удариться головой о что-нибудь твердое — вот несчастье и готово. Волнения в городе могли внушить кому-то, кто беспокоился за завтрашний день, желание опередить события, действуя на свой страх и риск.

Еще до смерти Пыяса, после разных нападений на членов и сотрудников КОРа (в том числе и на адвокатов), совершенных «неизвестными личностями» (на улице, в здании суда, в квартире), я по-своему страховался каждый день — точнее, каждую ночь. Жил я в это время в нескольких десятках километров от Познани, в деревне, в доме, стоящем довольно-таки на отшибе. У дверей

стояли вилы для позиционного сражения, а под кроватью я держал садовый инструмент для рукопашного боя. Увидели это у меня Кеншицкий и Новацкий. Когда я объяснил им, зачем в комнате вилы и этот странный инструмент, мы все вместе покатались со смеху. Но вилы остались на своем месте... Ребята приехали ко мне с конкретным делом. Откуда-то дошли слухи (может, специально пущенные), что вот-вот, во время моего предполагавшегося на несколько дней отсутствия, домишко обыщут. А это означало бы не просто незваных гостей. После недавних обысков актеры Театра Восьмого Дня лишились пишущих машинок, конспектов лекций, глав дипломных работ, личных писем и даже личных ценностей. (У Радомского тогда забрали, между прочим, мой самиздатский машинописный сборник стихов с эпиграфом из Милоша на первой странице: «Не спи спокойно. Поэт не забудет. Убьешь поэта — поднимется новый. Слово и дело записано будет».) Мы сделали несколько пакетов: стихи, письма, документы, дипломная работа. Ребята поехали отвозить вещи в безопасные места, а пишущие машинки забыли... На обыск приехали с хозяином домишки. Бумаги мои и книжки просмотрели, говорят, поверхностно, зато старательно обыскали гараж и даже ... отодвигали бетонную крышку колодца.

* *

*

Эти три слова (комитет, защита, рабочие) вырвали милиционеров из летаргии, и через секунду я уже через заднее стекло увидел поблизости от кино людей, глядящих вслед радиомашине, как вслед пришельцам из отдаленной цивилизации, которые только что высадились, проверили, что идет в «Вильде», и полетели обратно. Спросив, куда, зачем и в каком направлении мы едем, в соответствии с принятым обычаем я узнал, что узнаю. В приемной пожилой милиционер беспокойно потоптался и спросил: «А что, эти люди, которым вы кричали, знают, что такое КОР?» Я правдиво ответил, что не кричал, а говорил, — это поставило его втупик. Он потоптался еще и снова спросил: «А что, студентам нынче и впрямь так плохо?» Я возразил, что не могу отвечать, пока не узнаю, по какому делу я здесь. Он признал мою правоту, но замолк: он и сам не знал, по какому делу приказали ему схватить человека на улице. Я смутился, мне его стало чуточку жаль — но меньше, чем себя. Наконец пришел штатский, мой ровесник

(его запомнили с процесса Баранчака — тогда он вместе со своими устраивал искусственный шум в зале), и начал так: «Только, пожалуйста, без глупостей, договорились?» Я спросил, что он имеет в виду, он не ответил. Штатский постарше, дожидавшийся меня в кабинете, встретил меня вопросом: не странно ли мне, что мы снова встречаемся (этого я помнил в форме поручика по прошлогодней беседе после создания КОРа). Вопрос мне был непонятен: одет он был заурядно, мебель в кабинете стандартная, вроде бы ничего странного. А то, что стражи порядка похищают людей, — ну, так это же вам не Швейцария!

* *

*

Было уже темно, лил дождь, из квартиры Кеншицкого как раз выходили гости. Они пришли, если я не ошибаюсь, сразу после того, как я вышел от Кеншицких. Раньше они навещали родителей Марцина на рабочих местах, доводя этих достойных людей до сердечных и нервных приступов и до полной депрессии. Угрожали потерей работы и прочими неприятностями. Во всей этой суматохе Кеншицкие забыли спросить, что собственно является предметом их визитов, что собственно натворил их сын против государства, права и морали и, если уж дело касается Марцина Кеншицкого, почему сыщики не обратятся прямо к нему. А Марцин — человек достойный, порядочный, нравственный, только, как всякий, не без слабостей: играет в Театре Восьмого Дня и поддерживает отношения со своим университетским преподавателем д-ром Баранчаком. В этот раз вроде бы пообещали выполнить угрозы, если М. К. примет участие в панихиде или еще как-нибудь обнаружит траур.

* *

*

По просьбе поручика я вывернул карманы. Поручик схватил какой-то смятый листок и торжествующе воскликнул: «Телефоны... Наверняка краковские!» Я не помню, были ли там телефоны и краковские ли. Но воистину восторжествовал поручик, когда развернул пакетик с... черной лентой. Поручик смерил обхват рукава, вышло сантиметров 25, при делении 5-ти метров ленты получалось 20 человек. Он потребовал от меня эти двадцать фамилий... Я спросил, по какому делу я здесь. Поручик развернул ленту: «Вот по этому». Я заметил, что, когда меня хва-

тали на улице, ленты еще не было. Недовольный моей позицией, он пригрозил задержанием на 48 часов, из-за чего я пропустил бы выпускное торжество. Это было невозможно, о чем знали обе стороны. Если бы я не объявился утром, это могло бы значить, что со мной произошел несчастный случай, и тогда ход праздника, вероятно, сильно отличался бы от запрограммированного. После утомительной торговли мне предъявили обвинение и по моему требованию прочитали соответствующие статьи. Оказалось, что моя деятельность направлена на подрыв польского государства, и далеко не первый день. Я предположил, что меня с кем-то перепутали, и решил отвечать на вопросы, хотя теперь, будучи подозреваемым, уже и не должен был. Обвинение было фиктивным — у сторон не было в этом сомнений, хоть они об этом и помалкивали, чтобы не усложнять ситуации.

Поручик хотел знать, что я вручил коллегам на вчерашней репетиции выпускного торжества. Я охотно ответил: это было подписанное мною открытое письмо — я рассчитывал, что раньше или позже оно все равно дойдет до ГБ. О краковском происшествии говорили много, а я не знал, что должен я и что могу в этом деле — для Пыяса уже закрытом — сделать. Я чувствовал, что окружающие ждут какой-то инициативы, в том числе и от меня, — я же не испытывал желания плакаться публично или устраивать траурную демонстрацию. Тогда я написал письмо, в котором информировал о дате и обстоятельствах смерти Пыяса, о траурной демонстрации в Кракове, о дне и часе панихиды в Познани, о том, что я сам буду на панихиде и надену завтра знак траура. В конце я выразил уверенность, что адресаты письма поступят так же. Для большинства студентов, которые только краем уха слышали об обстоятельствах несчастья, письмо должно было послужить средством информации, для ближайшего окружения — скажем, мобилизации. Содержание письма было занесено в протокол, и мне доставило некоторое удовлетворение диктовать цитату из проповеди капеллана краковским студентам: «Вы пришли сюда, чтобы сотворить вокруг алтаря каменную стену. Вы — живые камни оборонительной стены»; и слова из Священного Писания: «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы». Приводя источник второй цитаты, я назвал сначала Священное Писание, поправился, сказав о Евангелии, произнес также слова «Новый Завет». Под давящим взглядом ведущего протокол продиктовал окончательно: «Здесь следует цитата из Библии». Спросили о вере в Бога, я ответил утвердительно.

Встретив мое молчание на рубрике «организационная принадлежность», гебист заглянул мне в глаза и удовлетворенно спросил: «А молитвенный кружок? Или, может, нет?» Поручик быстро задал следующий вопрос: действительно ли я верю, что Пыяса убила милиция. Я сказал, что физическая смерть — факт, а не предмет веры. «Разве вам недостаточно статьи в «Трибуне Люду», где точно сказано, сколько промилле алкоголя в крови было у Пыяса?» Нет, статья публициста, ввиду серьезности события и волнения общественного мнения, не может мне заменить официального коммюнике. «Кто это должен был издать коммюнике?» — «Следственные органы». — «Вы что, думаете, какая-нибудь полиция публикует факты до окончания следствия?» Так откуда же публицист знал, сколько чего было в крови жертвы? И еще много вопросов без ответа... Было уже поздно, и беседа с подозреваемым в деятельности, подрывающей польское государство, обнаруживала симптомы глубокой паранойи, чего всё еще не замечали торжествующий поручик и тот, что вел протокол. Кажется, это заметил старший офицер (тоже знакомый), который решил отправить подчиненных и закончить встречу. Увидев его в дверях, я поздоровался с ним, испытывая некоторое облегчение и надежду, что этот трагикомический «театр факта» с торжествующим поручиком в главной роли закончится. Как старший и как тот, что слушал разговор, не присутствуя при нем, он как раз годился для его прекращения. И верно: признав, что поздно, что все устали и что во взглядах мы расходимся, так что в интеллектуальной сфере все равно не договоримся, начальник сказал мне, в конце концов, чего они хотят — вообще и от меня. Хотели они спокойствия в городе (что поразило меня, но обрадовало) и ждут, что я обеспечу это самое спокойствие и порядок завтра и в ближайшие дни. Если мне это не удастся — вина моя будет доказана, и я пойду в тюрьму. Понятно? Пан Дымарский — мы ведь друг друга поняли? Друг друга мы поняли, хоть и не до конца. На вопрос, откуда такие страхи за «порядок», офицер ответил: «Мы хорошо знаем, что вы готовите». В том-то и дело — ничего они не знали, и отсюда паника, раскаленные телефоны, незванные гости, шантаж и охота на улице. Я боюсь деятельности наших органов, но стыдиться не приходится: они сами демонстрируют, что — как пишет поэт — «это они всех сильнее трясутся».

* *

*

За два часа до церемонии, в субботу утром, директор Института польской филологии проф. Мацеевский собрал нескольких научных сотрудников на срочное совещание. Мысль о его необходимости подсказал ректор. Достоверные слухи гласят, что там рассматривались разные гипотетические варианты развития ситуации в университетском актовом зале. Обсуждали возможное вторжение милиции. Говорят, директор и все собравшиеся заявили ректору, что в этом случае будут на стороне избиваемых. По слухам, проф. Мацеевский явился в кабинет с одеялом, запасом носков и туалетными принадлежностями — на случай массовых арестов...

Несколько заспанный, я вошел в актовый зал, где почти все уже сидели по местам. Выступала какая-то почтенная дама, потом студентка-младшекурсница — а может, и наоборот. Память моя не зафиксировала содержания выступлений, помню только, что говорилось об «этих священных стенах», которые мы оставляем, о пороках и достоинствах молодости — светлейшего периода жизни и о новом жизненном этапе, в который я вступаю с доверием и с приобретенными знаниями, которые теперь принесут плоды мне и отечеству в труде по профессии. В это время молодой гебист (знакомый с процесса Ст. Б., там он тоже изображал толпу), переодетый в костюм, белую рубашку и галстук, «документировал» меня «флэшем», т. е. фотографировал с использованием лампы-вспышки. В зале чувствовалась натянутость. У сидящих за столом: декана Пешиковского, ректора Миськевича и доцента Грухмановой мины были такие, словно, прислушиваясь к тиканью своих часов, они стараются увериться, что не сидят на бомбе. Как донесли мне потом, замдекана Мистерский, пожимая мне руку, скривился вроде бы в отвращении. Мы не посмотрели друг другу в глаза, и, может, лучше, что я повернул лицо в направлении органов (тех самых), ибо на нем читалось нечто тоже не любезное.

* *

*

В понедельник с 5-ти вечера над городом летал милицейский вертолет; служба началась в 6. Кучки филеров стояли перед костелом доминиканцев и на другой стороне улицы. «Куда черт не может, туда не лезет...» Панихида была короткой, только раз было произнесено имя покойного: отцы тоже были под давлением ГБ.

Позже я слышал, что молодые студенты расходились, разочарованные приглушенностью траурной церемонии. Офицер хотел спокойствия, но эти, «в сером», под стенкой костела, — они тоже ушли разочарованные?

*
*

Допрос в пятницу закончился конфискацией черной ленты. Булавки мне оставили. Протоколировавший проводил меня вниз и спросил: «Ну, и надо было КОР на помощь звать?» Я сказал, что если в будущем меня схватят на улице члены КОРа — вызову милицию. Не знаю, услышал ли он это, а тем более — понял ли.

Мне запомнился еще один момент допроса. Поручик спрашивал, знаю ли я, что меня разыскивает декан, и не хочу ли прямо сейчас позвонить ему. Мое «разумеется» поручик воспринял как блеф. «И вы бы сказали ему, что сидите в милиции? Нет, конечно?!»

Еще одна деталь. После предыдущего вопроса поручик спросил: «Я слышал, у вас в семье кто-то умер?» Последний раз я видел родителей два дня назад... «Я ничего об этом не знаю». — «Как же это? Вы же собираетесь носить траур?» Ага, теперь ясно. Но несколько секунд я был готов к худшему. После такой шуточки трудно мне вспоминать о поручике с нежностью. А все же... И у поручика есть семья — как всякая семья милиционера, несколько привилегированная, но не настолько, чтобы не подчиняться общим для нас, извечным законам природы! Так что шутка, хоть и продиктованная соображениями пользы для допроса, была — как бы на это ни посмотреть — неуместной. Мы, люди, — еще раз напомним — не ведаем дня, ни часа. А то бывает и так, что без остатка посвящаем себя государственной службе, работаем сверхурочно, собираем и получаем множество сведений и... заболеваем раком. И не знаем про это ничегошеньки, хотя нам известно, о чем говорят такие-то супруги в постели, чем больна жена такого-то и что ел на завтрак Куронь. Но я не желаю этого ни поручику, ни его семье и никому; а тем, кто за ненавистью забывает о жизни, желаю, чтобы смирились, ибо все мы только люди и Страшный Суд у нас впереди.

Обеднев на 5 метров черной ленты и еще что-то, трудно подающееся измерению, я с опозданием побежал ужинать. У тебя всегда найдется повод опоздать, — сказал мне в дверях заспанный Станислав Баранчак. Так всё это и было, а фамилий и адресов я не изменил.

ДЫМАРСКИЙ Лех — польский поэт и критик, родился в 1949 г. В Польше издал одну книгу стихов «Первые признания» (1974). Следующая, «Нет причин беспокоиться», не смогла выйти в свет в связи с участием Дымарского в акциях протеста и солидарности. Активный участник сегодняшнего польского самиздата.

Марта Кубишова, Ладислав Гейданек и Ян Шабата, глашатаи Хартии-77, 22 июля обратились с письмом к советскому послу в Праге, протестуя против осуждения Александра Гинзбурга, Виктораса Пяткуса и Анатолия Щаранского. «Они осуждены, — говорится в этом документе Хартии-77, — ибо хорошо знали, как выполняются Хельсинкские соглашения в их стране и информировали об этом мировое общественное мнение. На своем собственном опыте мы знаем, как легко суд превращает искренние устремления в так называемую «антигосударственную деятельность», чтобы на основе таких интерпретаций преследовать инакомыслящих граждан, чтобы обманывать и запугивать общество произносимыми приговорами».

ИСТОКИ

ИЗ МАТЕРИАЛОВ СБОРНИКА «ПАМЯТЬ»:

НА ДОКЛАДЕ ЖДАНОВА

Рассказ Д. Д.

Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград»», принятое 14 августа 1946 г., было первым в ряду послевоенных «руководящих указаний» по вопросам литературы и искусства. Они были призваны пресечь робкие тенденции к раскрепощению духовной жизни, спонтанно возникшие в военные годы, и «освежить» в памяти интеллигенции жесткий партийный курс 1930-х годов по отношению к культуре.

Из писателей главными жертвами нападков стали А. А. Ахматова и М. М. Зощенко, которым августовское постановление закрыло путь к любым публикациям на несколько лет. Хотя творчество этих авторов во многом возвращено советскому читателю — в целом постановление ЦК от 14. 08. 1946 до сих пор остается в силе. (Из всех «постановлений» 1946-48 гг. отменено только одно — «Об опере В. Мурадели 'Великая дружба'». См. специальное постановление ЦК КПСС от 28. 05. 1958.) Вплоть до 1955 г. августовское постановление 1946 г. изучалось в советских школах и до настоящего времени входит в программы всех вузов.

В Ленинграде предвестием готовящегося удара можно считать беглое упоминание о «низкой в идейном отношении продукции журналов 'Звезда' и 'Ленинград'» в речи заведующего отделом пропаганды горкома ВКП(б) И. М. Широкова на пленуме горкома 26. 07. 1946 («Ленинградская правда», 30. 07. 1946, № 177). Имена Ахматовой и Зощенко еще не были тогда названы.

Сама кампания по разгрому литературы началась с доклада секретаря ЦК по идеологии А. А. Жданова, сделанного им перед

Предисловие и примечания (воспроизводимые «Континентом» лишь частично) принадлежат редакции сборника.

партийным и писательским активом Ленинграда в Смольном. На одном из этих двух собраний, состоявшихся между 15 и 20 августа 1946 г., и побывал автор публикуемого рассказа.

В середине августа 1946 года секретарь Ленинградского отделения Союза писателей А. Прокофьев¹ и редакторы «Звезды» и «Ленинграда» В. Саянов² и Б. Лихарев с ближайшими сотрудниками были приглашены в Москву на совещание. В день их возвращения домой — в редакцию «Звезды» рано утром явился А. Еголин и представился заведующей редакцией Е. Карачевской как назначенный из Москвы сюда на работу. Заведующая редакцией не удивилась — так бывает. В редакции никого из литературных работников в эти часы еще не было, кроме Д. Золотницкого из «критики». Еголин пригласил его в редакторский кабинет. Расспросил о работе, о том, о сем, между прочим задал вопрос и о Зошенко — понравился ли его рассказ про обезьяну. Золотницкий, ничего не подозревая, отвечал, как и подобало сотруднику журнала, в котором работаешь: рассказ как рассказ, всем нравится, «в общем ничего, читается хорошо». Еголин поблагодарил, и на этом беседа кончилась.

Явившиеся позже В. Саянов, Б. Лихарев, Д. Левоневский, П. Капица ничего о московском совещании не рассказывали, а на все расспросы отвечали загадочно: «Завтра всё узнаете». Все предполагали какие-нибудь реорганизационные перемены в журналах.

На другой день были розданы всем приглашения в Смольный на собрание. Зошенко, потом говорили, тоже приходил в секретариат Союза за билетом, но ему вежливо, под каким-то предлогом, отсоветовали ходить.

В начале пятого мы шли в Смольный. Кончался серый августовский день. Шли, еще ничего не зная. Каждый говорил о своем.

Первые же минуты в Смольном насторожили (я там никогда до этого не был). Исторические залы, трехкратная проверка документов, большое число приглашенных писателей, работников газет, кино, радио, издательств, общая атмосфера торжественности и строгости придавали всему не только деловой характер, но и чего-то большего.

Докладчик вышел справа, позади сидевших, в сопровождении многих лиц. Он шел спокойно, серьезный и молчаливый, отделенный от зала белыми колоннами. Он был в штатском³. В руках папка. Его волосы под сиянием электричества блестели. Казалось, он хорошо отдохнул и умылся. Все встали. Заплодировали. Он поднялся на трибуну.

Собрание началось в пять.

Как обычно, вслух выбрали громкий президиум. Даже чуточку посмеялись — писатели забыли назвать своего Прокофьева. Докладчик улыбнулся, сказав тихо что-то смешное. Торопливо успокоились. Президиум сел. Сдержанный шумок затих. Докладчик секунду помолчал и заговорил.

И через несколько секунд началась дичайшая тишина. Зал немел, застывал, оледеневал, пока не превратился в один белый твердый кусок.

Доклад ошеломил. Писательнице Немеровской стало дурно. Она хотела выйти, бледнея, встала. Шатаясь, пошла между рядов. Ей помогали. Вышла в боковой проход, дошла до входной двери, но... ее не выпустили. Огромная белая дверь зала плотно закрыта, двое часовых с винтовками по бокам. Оказывается, выход из зала запрещен. Немеровская присела где-то в задних рядах. При упоминании в постановлении фамилии Марии Комиссаровой ее муж, Николай Браун, сидевший в президиуме, побелел и начал беспокойно искать ее глазами среди сидевших в зале. Алéксандр Прокофьев, секретарь Ленинградского отделения Сою-

за, всё узнавший еще в Москве, сидел красный, с головой, ушедшей в плечи.

В перерыве, как водится, кое-кто окружил докладчика — каждый со своей просьбой и нуждишкой; всегда есть такие, кто никогда не забывает, чья рубашка ближе. Колпакова потом всем хвасталась, как она таким образом добилась ускорить издание своей залежавшейся очередной книги по фольклору.

В прениях выступили немногие, в том числе и Николай Никитин, но из-за своего волнения неудачно: один раз перепутал имя и отчество ответственного докладчика — в зале раздался смешок; в другой раз сказал: «С этой эстрады, с которой великий Ленин провозгласил...», — слушатели зашумели, зашикали. Он покраснел, запутался и, оборвав себя на какой-то короткой фразе о собственном состоянии, сконфуженно сошел с трибуны.

Уходили с собрания молча. Шел первый час ночи.

В августе ночи уже темные. Смольнинский сад стоял в осенней серой дымке. Тускло расплываясь, горели электрические шары фонарей. Листва еще не облетела, но в саду было тихо — неподвижные деревья будто невольно прислушивались. Со ступенек высокого парадного входа не раздавалось ни слова, ни шепота. Несколько сот человек выходили из здания медленно и бесшумно. Так же молча прошли длинную прямую аллею до пустынной в этот час площади и молча разъехались на последних троллейбусах и автобусах.

Всё было неожиданно и непонятно. Согласиться сразу было трудно. Единственная мысль: значит, сейчас так нужно.

Через несколько дней доклад в смягченном виде опубликовали в газетах⁴. В редакции газет и журналов посыпались торопливые письма людей, согласных с постановлением. Июльский номер «Звезды», где была напечатана зощенковская «Обезьяна»⁵, задержали,

хотя небольшая часть тиража уже разошлась. Рассказ вынули. Номер перепечатали и выпустили сдвоенным с августовским, со статьей Л. Плоткина «Проповедник безыдейности — М. Зощенко». Главным редактором журнала (до этого был просто «редактор») временно был назначен А. Еголин с совмещением работы в ЦК; он стал раз в месяц приезжать в Ленинград. Редакционную коллегию «Звезды» расширили. В нее вошли: Б. Лавренев — ведать отделом прозы, он тоже начал наезжать из Москвы; вызванный из армии В. Друзин возглавил отдел критики, Е. Кузнецов — отдел искусств, А. Прокофьев — отдел поэзии, Б. Чирсков — драматургии. К каждому были приданы редакторы.

Журнал «Ленинград» прекратил свое существование.

Зощенко заболел. Он заперся у себя дома на канале Грибоедова. Его покинули друзья. Перестали звонить по телефону. Если он выходил на улицу, знакомые старались его не замечать. Домашняя обстановка, и без того беспокойная, осложнилась.

Анна Ахматова держалась стойче. Известно, что женщины ленинградскую блокаду во время войны переносили относительно легче мужчин. Первую она претерпела в Ташкенте, вторую — личную — здесь.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ После полной смены редколлегии «Звезды» в августе 1946 г. (с № 7-8) А. А. Прокофьев — единственный из старого состава — сохранил свое место в новой редакции.

² Заслуживает внимания, что хорошо осведомленный Саянов уже тогда связывал постановление непосредственно с именем Сталина: «Вообще-то Сталин прав, нет хорошей прозы в журнале, а без нее журнала не сделаешь» (цит. по кн.: Дм. Хренков. Виссарион Саянов. Л., 1975, с. 126).

³ Автор отмечает штатский костюм А. А. Жданова, так как во время только что оконченной войны тот носил мундир генерал-лейтенанта.

⁴ «Смягченный вид» («Ленинградская правда», 21. 09. 1946) представлял из себя выражения типа: «Зощенко, как мещанин и пошляк», «только подонки литературы могут создавать подобные 'произведения'», «пусть убирается из советской литературы», «не то монахиня, не то блудница, а вернее блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой», «Журнал «Звезда» ... стал журналом, помогавшим врагам разлагать нашу молодежь», «пошляк Хазин», «смело бичевать и нападать на буржуазную культуру, находящуюся в состоянии маразма и растрепанности», «весь сонм буржуазных литераторов, кинорежиссеров, театральных режиссеров стараются отвлечь внимание передовых слоев общества от острых вопросов политической и социальной борьбы и отвести внимание в русло пошлой безыдейной литературы и искусства».

⁵ Рассказ М. М. Зощенко «Приключения обезьяны» впервые был опубликован в детском журнале «Мурзилка», 1945, № 12 под названием «Приключения обезьянки» и с некоторыми изменениями перепечатан в разделе «Новинки детской литературы» журнала «Звезда», 1946, № 5/6 (а не в № 7, как сообщает Д. Д.). Постановление обычно связывается с судьбами только двух журналов. Однако на деле оно коснулось всей литературной периодики. «Мурзилка», например, оплатился за «Приключения обезьянки» почти полной сменой редколлегии. В нее вплоть до № 7 (1946 г.) входили С. М. Алянский, А. П. Бабушкина (ответственный редактор), В. В. Бианки, Ю. А. Васнецов, В. В. Лебедев, С. В. Михалков, А. К. Покровская, К. А. Федин, И. И. Халтурин, К. И. Чуковский, Е. Л. Шварц. На обложках №№ 8/9 и 10/11 состав редколлегии и имя ответственного редактора отсутствуют. В новом составе, объявленном в № 12, сохранились только В. Бианки, В. Лебедев и С. Михалков. В содержании журнала также произошли перемены — в сторону более ярко выраженной «идейности», строгости и меньшей сказочности. Например, была оборвана публикация сказки К. И. Чуковского «Приключения Бибигона» (ср. №№ 7 и 8/9).

Спорт и политика

Эммануил Штейн

«МАЛЕНЬКАЯ ВОЙНА»

В пору своих опоязовских увлечений Виктор Шкловский предложил ввести в литературу «гамбургский счет». Жизнь не реализовала этой возможности: уж слишком трудно расставлять литературу по ранжиру. Не менее сложное положение в шахматах, хоть, на первый взгляд, турнирные таблицы легко решают уравнения со многими неизвестными. Действительность намного запутаннее любой многоходовой комбинации, и шахматистам — как познавшим тайнства игры, так и любителям — приходилось, а то и сейчас приходится сражаться с дьяволами.

Итальянские шахматные летописцы сохранили сказку о Паоло Бои, великом маэстро XVII века. Однажды он вынужден был играть с самим чёртом и объявил ему мат в два хода — дьявол колдовством заменил белого ферзя черным, но и после этого шахматист переиграл соперника.

В наше время черти значительно повысили силу игры: «Я сам подставил себя под вечный шах, объявившись советским человеком. Конечно, каждый из ста раз есть какой-то оттенок: другое слово, другая интонация!.. Боже мой, как я быстро скатился. Он-таки меня переиграл. Фигуры сдвинуты, мат признан». Так протекала партия, проведенная А. И. Солженицыным со следователем-бесом. Нынешние черти постигли оттенки черно-белого квадрата. Как сказал Георгий Владимов, «серые начинают и выигрывают».

Когда летом 1976 г. Виктор Корчной перешел на положение невозвращенца, «серые» разыграли гроссмейстерскую эпистолу, выдержанную в чисто сталинском духе.

В четверть-финале турнира претендентов Виктор Корчной вырвал победу у «железного Тиграна» Петросяна. Для кумира Армении матч, однако, закончился в Москве. «Серые» лишили экс-чемпиона мира редакторского места в уважаемом приложении к газете «Советский спорт» — «64».

В полуфинале судьбу Петросяна разделил другой советский гроссмейстер — Лев Полугаевский. «Серые», впрочем, пока что провели свой полуфинал с одним из лучших специалистов по коневым эндшпилям в мире, председателем шахматной федерации СССР гроссмейстером Юрием Авербахом: председательское место перешло к ... космонавту В. Севастьянову.

В финале турнира претендентов невозвращенца В. Корчного не смог задержать экс-чемпион мира Б. Спасский, с советским паспортом проживающий во Франции. Драматические перипетии этого поединка происходили на стыке 1977-78 гг. в столице Югославии, а Москву в то же время захлестнул «день открытых убийств», шахматной мартирологии. Президиум федерации — «как вырубленный поредел». В числе новых членов этого шахматного ЦК — Евгений Петрович Питовранов, фамилия, неизвестная мировой шахматной периодике. Так бы и не узнали любители прекрасной игры о Евгении Петровице, если бы Джон Баррон в книге «КГБ» не сообщал: «Генерал КГБ Питовранов — страстный и безжалостный охотник».

Читатель, надеюсь, согласится, что играть сейчас в шахматы совсем не просто — даже Спасскому и Корчному.

Их поединок в Белграде войдет в шахматную историю как одно из сложнейших и драматических событий.

Впервые за 33 года, с момента второго матча между А. Алехиным и Е. Боголюбовым, два русских шахматиста вели спор за мировую корону вдали от родины, хотя советский флажок и находился на столике гроссмейстеров.

Борис Спасский был дважды чемпионом мира (один раз среди юношей), многократным чемпионом планеты в командном зачете, сумел поставить мат даже Леониду Ильичу, принудив его разрешить брак шахматиста с французской гражданкой. В. Корчной в своей «Автобиографии», опубликованной на нескольких европейских языках (но, увы, не на русском), так говорит о творческой и человеческой сути своего соперника:

«...не знаю человека, более способного к самосовершенствованию, чем он. Им пройдена тернистая дорога. Спотыкаясь и падая, вновь поднимаясь, он добрался до Олимпа — до звания чемпиона мира. Потом с честью, в борьбе он уступил трон сильнейшему. Как личность — Спасский тоже шел извилистым, крутым путем. Попадая под влияния отдельных лиц, перерастая их, он из рядового члена советского общества — безликого, нерассуждающего, покорного, постепенно превратился в инакомыслящего.

Будучи чемпионом мира, Спасский вел себя в политическом смысле довольно независимо. Известен случай, когда он отказался подписать коллективное воззвание за освобождение Анджелы Дэвис. Смело, проявляя свободомыслие, выступал он с лекциями. Хотя они-то были на шахматную тему, но ведь в Советском Союзе всё связано с политикой. Однажды на лекции в Новосибирске у Спасского спросили, почему Керес так никогда и не стал чемпионом мира. Тысячной аудитории он ответил: «У Кереса, как у его страны, трагическая судьба!» ... Вся «ересь» прощалась великому русскому человеку, чемпиону мира. Но когда он оступился — проиграл матч Фишеру — ему припомнили все его грехи...»

«Послужной список» Виктора Корчного, хотя качественно и уступает достижениям Бориса Спасского, но намного превосходит показатели гроссмейстерской

элиты. Сегодня он второй шахматист мира, второй призер «шахматного Оскара». В течение десяти лет он участник турнира претендентов, трижды выходил в финал этого сложнейшего соревнования. За 32-летнюю карьеру побеждал в сорока крупнейших турнирах, четырежды был чемпионом СССР.

Вот уже три десятилетия Спасский и Корчной ведут свой шахматный спор. Впервые они встретились в 1948 г. в Ленинграде. Тогда на 12-м ходу победил более взрослый Корчной. С тех пор они сыграли между собой 33 партии (10 побед с каждой стороны и 13 ничьих). Как правило, в турнирных поединках Корчной был сильнее Спасского, но в киевском финале матча претендентов 1968 г. был практически разгромлен будущим чемпионом мира. С середины 1974 г. гроссмейстеры поддерживали теплые, дружеские отношения. Оба испытали на себе силу пресса шахматной федерации СССР, оба были политическими единомышленниками. Виктор Корчной присутствовал на свадьбе Бориса Спасского, которая состоялась в тесном кругу друзей.

К началу белградских сражений отношения между друзьями, однако, испортились. Корчной стал невозвращенцем и, несмотря на то, что в СССР остались заложники — члены его семьи, бесстрашно начал разоблачать «новый класс» и его систему. Спасский, поселившись с женой во Франции, не только сохранил советский паспорт, но и с удовольствием принял тренерскую помощь черносотенца И. Бондаревского. Этот «мезальянс» был скреплен ежемесячной дотацией из Москвы в 1500 долларов. Получив такую помощь от советской отчизны, Спасский оповестил: «Иду на вы», назвав финал турнира претендентов «маленькой войной».

В защиту «агрессивного» Спасского можно лишь напомнить, что, к сожалению, отношения между чемпионами мира и претендентами всегда были далеки

от нормальных: Алехин не разговаривал с Капабланкой, Фишер использовал новейший арсенал психологического оружия в борьбе с тем же Спасским. Единственным настоящим шахматным рыцарем был В. Стейниц, который 26 мая 1894 г., проиграв матч Э. Ласкеру, воскликнул: «Троекратное ура новому чемпиону мира!»

В канун матча Корчной вместе со своим секундантом, английским гроссмейстером Кином, попал в автомобильную катастрофу и чудом избежал смерти. Забегая вперед, отметим, что это потрясение, кроме как в первой партии, не повлияло на игру претендента. Старт финала был отложен на несколько дней, во время которых участники шахматной премьеры провели две отдельные пресс-конференции. Ответы гроссмейстеров в какой-то степени передают суть околошахматного накала страстей, предшествовавшего первому ходу в поединке. Вот примерное резюме ответов претендентов.

Б. СПАССКИЙ:

Матчи на звание чемпиона мира проводятся по установленным ФИДЕ правилам. Поскольку Р. Фишер добровольно покинул арену, очень трудно определить, кто же настоящий чемпион.

Если счастье мне улыбнется и я одержу верх над Корчной, то, прежде всего, буду играть с чемпионом мира, хотя не возражаю и против матча с Фишером.

Фишер внес более значимый вклад в мировую шахматную культуру, чем Карпов.

Подход Фишера к многоплановым проблемам игры носит классический характер: он всегда ищет на доске истину и, как правило, находит ее.

Сильнейшая сторона творческого почерка А. Карпова — глубокие стратегические оценки позиции и умение их тактического решения.

Сила игры чемпиона мира проявляет тенденцию роста.

В 1972-74 гг. моя нервная система была подвержена сильным перегрузкам. Теперь я чувствую себя хорошо.

Матч с Корчным как в практическом, так и в психологическом аспекте не будет столь сложным, как была борьба с Фишером.

Считаю, что игра Корчного по сравнению с нашим матчем 1968 г. (выиграл Спасский с разрывом в 3 очка. — Э. Ш.) приобрела большую стабильность и практицизм.

Меня не волнует, что зрители иногда «болеют» не за меня. На качество моей игры это не влияет.

Вопрос о том, вернусь ли я в СССР, не желаю комментировать.

Мой матч с Корчным, как и всякий матч, — маленькая война.

К сожалению, советская федерация зачастую относится к одному шахматисту, как к сыну, а к другому — как к пасынку.

Стать чемпионом мира легче, чем защитить это звание, претенденту ведь нечего терять.

В. КОРЧНОЙ:

В последние годы советская шахматная федерация была против нас обоих. Спасский особенно остро почувствовал это в 1974 г. во время своего матча с Карповым, хотя мое положение было еще сложнее. Я уверен, что если бы мне удалось сравнять счет в моем матче с Карповым (последний победил Корчного со счетом 12,5:11,5. — Э. Ш.), то я мог бы стать жертвой несчастного случая.

Режим, существующий у нас в стране, ненавистен мне. Я представляю свободный мир, Спасский же выступает под советским жупелом.

Самым важным фактором в нашем матче будет практицизм. В последние годы Спасский стал очень рационален.

Шахматы — уникальная комбинация знаний, искусства, спорта. Бесспорно, что самый значимый элемент в этой комбинации — спорт.

Без риска в современных шахматах невозможно достичь успеха. Я, как и Спасский, довольно часто рискую.

Я покинул СССР не для того, чтобы улучшить свое финансовое положение, но, тем не менее, за полтора года моей свободы я заработал столько денег, сколько за всю предыдущую жизнь.

Эрудиция Фишера в области модернистских веяний в шахматах потрясает, его преданность игре безгранична.

Сила игры Карпова за последние два года значительно возросла и, бесспорно, будет расти. Однако манера его игры, отношение его к игре — малопривлекательны.

Карпов использует идеи, которыми вынуждены одарять его ведущие гроссмейстеры СССР.

Чемпионы мира Таль и Фишер в значительной степени способствовали прогрессу шахмат. Творчество Петросяна сыграло отрицательную роль. Достижения Карпова находятся где-то посередине.

Несмотря на то, что Спасский в этом году выиграл ряд матчей (тренировочный с Кавалеком, официальные с Гортон и Портишем. — Э. Ш.), ему еще не приходилось скрестить шпаги с игроком моего класса.

По рейтингу Эло, матч наш должен закончиться со счетом 10,5:8,5 в мою пользу, т. е. на 19-й партии.

Прогноз этот оказался единственным в интервью Корчного. Был ли он проявлением нескромности или реальной оценкой возможностей соперника? Незамедлительно ответим: матч окончился даже на один «раунд» раньше. Предполагая свою победу, даже с указанием счета, В. Корчной, конечно же, не имел в виду коэффициента Эло — скорее всего, ссылая на него была дипломатическим шагом. Думаю, что не подсчитывал Корчной и количества «попыток» Спасского по пути к финалу. Только он один сумел разобраться в том психологическом климате, который присутствовал в его встречах со Спасским за последние девять лет. За эти годы Корчной ни разу не произнес экс-чемпиону мира грустное «сдаюсь». Дважды: в Пальма-де-Майорка и на турнире памяти Алехина — белыми побеждал Корчной. Думается, что именно этот показатель определил оптимизм прогноза «страшного Виктора».

Темперамент и индивидуальность, творческие и личные судьбы двух выдающихся гроссмейстеров глубоко отличны, но все же есть точки соприкосновения, которые сближают их, пожалуй, и сегодня. Их элитарное положение в советском шахматном мире опиралось на высокоразвитое чувство собственного достоинства, выгодно отличавшее обоих от лакейства большинства. Довольно часто отечественная инквизи-

ция вынуждена была отступать перед силой их незапрограммированного творчества. «Исход» Корчного и переезд Спасского во Францию привели к тому, что «шахматоведение» стало заниматься только двумя пластами: Фишер, Спасский, Корчной и — гебисты от шахмат Антошин, Котов, Батуринский. Третий же слой: Тайманов, Авербах, Гуфельд — практически прекратил существование.

По регламенту ФИДЕ белградский финал был ограничен 20-ю партиями, пока один из соперников не достигнет рубежа в 10,5 очка. В случае же равенства (10:10) матч продлевался бы на две партии, опять-таки пока кто-то не наберет в них полтора очка.

«Тренировочный лагерь» Спасского возглавлял Бондаревский. Корчного готовили англичане Кин и Стин и бывший советский мастер Мурей. Секретарь группы Корчного, госпожа Лиуверик, хорошо знает игру «серых»: в 1948 г. она была арестована по ст. 58 и провела в лагерях Воркуты и Северного Урала десять лет.

В первой партии, которую по жребию белыми начал Корчной, был разыгран английский дебют. В момент перехода партии из серединной фазы в эндшпиль Спасский не разобрался в тонких маневрах соперника и получил проигранный эндшпиль. Цейтнот, однако, помешал Корчному довести накопленный перевес до победы. Точнее, из-за того, что рука Корчного была в гипсе, он не смог записать все ходы и, сбившись со счета, сделал лишний, 41-й ход, упустив победу. В день доигрывания противники согласились на ничью.

Вторая партия продемонстрировала бескомпромиссность обоих гроссмейстеров, их жажду борьбы. В остром варианте французской защиты черные применили новинку. Спасский вечным шахом мог форсировать ничью, но отказался от этой возможности. В надвинувшемся цейтноте он, однако, защищался неточно, и ... главный судья матча Божидар Кажич

зафиксировал первую победу черных. Психологический эффект этой партии труден для оценки: Спасский проиграл белыми, так и не сумев за 40 ходов не только рокировать своего короля, но и привести в движение ферзевую ладью. Корчной же впервые за 15 лет победил экс-чемпиона мира черными.

В третьей партии Спасский допустил грубую ошибку, после чего в его матчевой таблице появился второй ноль. Очередная, 4-я партия после повторения позиции причалила к ничейной гавани. В пятом и шестом поединках стойкость в «партере» продемонстрировал Корчной, заставив активно игравшего противника согласиться с мирным исходом.

Седьмая партия — тактическая магия Корчного, которой позавидовали бы все шахматные романтики от Морфи до Таля. Комбинация, начатая белыми тихим ходом 27Фb1. и дополненная 30. х 3., бесспорно, станет классической и войдет во все шахматные учебники — кроме советских, конечно. Формальность, доигрывание этой партии, продолжалась недолго: на 48-м ходу Спасский признал свое поражение. В следующей встрече, в теоретической дуэли на «французскую тему», экс-чемпион переиграл противника. Партия была отложена в критической для Корчного позиции. Доигрывание стало первым «чудом» матча: Спасский допустил просмотр и вынужден был сложить оружие. Бесцветная 9-я партия закончилась вничью, и счет матча стал 6,5:2,5 в пользу Корчного. Могло показаться, что матч практически окончен, но тут-то Спасский продемонстрировал миру свое новшество — «кабинные шахматы».

Перед матчем, по требованию Спасского, по бокам сцены были поставлены две специальные кабины для отдыха игроков. «Дзот» Спасского находился за спиной Корчного, так что последний как бы ощущал на себе взгляд соперника, в то же время не видя его. «Кабинщик» мог анализировать позицию на большой

демонстрационной доске, расположенной в центре сцены. Почти всю 10-ю партию экс-чемпион вел из своего укрытия, появляясь на сцене только для того, чтобы сделать ход и переключить часы. В хорошей позиции советский гроссмейстер допустил ряд оплошностей, и после доигрывания Корчной повел в матче с еще большим разрывом: 7,5:2,5.

Пятая победа Корчного, однако, оказалась пирровой: он не сумел сразу перестроиться и обезвредить новую тактику соперника. Появилась неуверенность, а за ней озабоченность и подозрительность. В 11-й партии «кабинные шахматы» помогли, наконец, Б. Спасскому одержать первую победу в матче. Партию эту Корчной играл исключительно нервно и ниже своих возможностей.

После партии Корчной потребовал устранить демонстрационную доску из поля зрения претендентов. Главный судья матча и апелляционное жюри признали протест правильным и решили демонстрационную доску со сцены убрать. В ответ экс-чемпион мира не явился на очередную партию, и ему было засчитано поражение. Организаторы матча, однако, боялись, что представитель СССР покинет поле боя и поединок не будет доведен до конца. Вся тяжесть создавшегося положения была искусно перенесена организаторами на плечи Корчного. Дело дошло до того, что он отказался от «плюса» в 12-й партии, а Спасский без слов благодарности подарок принял. Судейский аппарат проявил небывалую беспринципность, последствия которой сегодня еще рано предвидеть. Прибывший в Белград президент ФИДЕ Макс Эйве тоже не разобрался в нюансах «кабинных шахмат». От личных переговоров с бывшим другом Спасский категорически отказался. Фактически на условиях 10-й партии Корчной провел две следующие. В 12-й, в ничейной позиции, на 38-м ходу он просрочил время, в 13-й без компенсации отдал ферзя. Шахматы «из укрытия»

принесли свои плоды: Спасский одержал три победы кряду. Всё и все (кроме болельщиков) обернулось против Корчного. Проявленное им желание компромисса, отказ от очка в 12-й партии привели лишь к тому, что югославская шахматная организация перед лицом Старшего Брата оказалась парализованной. Наконец Корчной решил, что ни на какие уступки больше не пойдет, и предъявил судейской коллегии ультиматум: если его требования не будут удовлетворены, он немедленно покинет Белград и потребует от ФИДЕ доиграть матч в другой стране. Предупреждение возымело действие, и кабины гроссмейстеров были заменены так, что они могли видеть в них друг друга. Одержав победу на «кабинном» фронте, Корчной допускает серьезную психологическую ошибку: по советам своих болельщиков, он принимает решение вести 14-ю партию тоже из кабины. Результат был плачевным: экс-чемпион мира буквально изничтожил соперника, пополнив свой арсенал четвертой победой. Четыре «прокола» Корчного подряд должны были решить исход поединка в пользу Спасского.

Благодаря огромной воле, Корчной нашел силы, чтобы перебороть «новые» шахматы и доказать превосходство открытого человеческого мышления. Необходимо отметить, что с ростом экстравагантности игры Спасского росла ее мощь и целеустремленность. В 15-й и 16-й партиях Корчной наконец-то нашел себя и добился двух важных ничьих, 17-я закончилась блестящей победой «страшного Виктора», в 18-й Спасский отклонил мирные переговоры и затем совершил ошибку — партия стала последней в матче. Со счетом 10,5:7,5 Корчной одержал в «маленькой войне» почетную победу. Только однажды, в 1886 г. в США, Стейниц, проиграв четыре партии подряд Цукерторту, все же победил в матче. 92 года спустя такое же удалось Корчному.

16 июля в городе Багио на острове Лусон (Филиппины) начинается «священная война» — матч на звание чемпиона мира между нынешним обладателем короны Анатолием Карповым и претендентом Виктором Корчным. Фаворит, бесспорно, Карпов. Дело не только в том, что он моложе и что его коэффициент Эло выше. Корчной будет бороться не только за шахматный трон, но и за жизнь заложников, членов своей семьи. И в этой борьбе претендент — один против команды «серых».

ШТЕЙН Эммануил. Филолог и историк. Родился в 1934 году в Белостоке (Польша). В эмиграции с 1968 г. Лектор Славянского отделения Йельского университета (США). В зарубежной периодике выступает на литературные и шахматные темы. За последние годы опубликовал антологию русской «шахматной» поэзии «Мнемосина и Каисса» и библиографический справочник «Поэзия русского рассеяния 1920-1977». Член группы «А» Международного союза журналистов, пишущих на шахматные темы.

ИСКУССТВО

Эрик Э г е л а н д

ВСТРЕЧА С НЕИЗВЕСТНЫМ

Но выше жизни и смерти,
Пронзающее, как свет,
Нас требует что-то третье,
Чем выделен человек.

.....

Тревожаще и прожекторно,
В отличие от зверей,
Способность к самопожертвованию
Единственна у людей.
Единственная, Россия,
Единственная моя,
Единственное спасибо,
Что ты избрала меня...

*(А. Вознесенский. «Неизвестный —
реквием в двух шагах с эпилогом»)*

Имя Эрнста Неизвестного впервые пролетело по всему миру совсем не так, как должно было бы пролететь — на крыльях славы — имя одного из самых больших современных художников. Специфика советского образа жизни, в частности, состоит в том, что не крылья славы, а крылья скандала могут вынести то или иное имя за пределы занавеса из колючей проволоки... Столкновение с Хрущевым на знаменитой выставке в московском Манеже в 1962 году обратило внимание всего мира на скульптора, который, живи он в любой стране свободного мира, стал бы знаменит

еще за несколько лет до того: его, как это и полагается художнику, прославили бы его работы.

Но в СССР молодой, талантливый, с тягой к монументальности и грандиозности скульптор, едва начав свой путь, столкнулся с глухой стеной соцреализма. Самим фактом своего существования он представлял опасность для всех жизненных норм советского искусства, прагматически расчисленного и пропагандно служебного. Духовность сшиблась с ремесленничеством лакеев. Настороженное внимание к Неизвестному стали проявлять еще задолго до пресловутой выставки, но, к счастью, никто из непосвященных не заподозрил, что Эрнст Неизвестный был одной из центральных фигур катакомбной культуры. Лишь после того, как скульптор покинул свою родину, это стало известно.

...«Выставка была быстро закрыта, переделана для просмотра ее руководителями партии и правительства. Когда первый секретарь КПСС — он же и первый министр — в сопровождении примерно семи десятков членов правительства и ЦК спускался по лестнице, он орал на весь манеж: «Грязь, мазня, позор! Говно собачье!»

Толпа художников молчала. Кто-то указал пальцем на Неизвестного как на подлинного лидера и в какой-то мере организатора выставки. Хрущев бросил на него нетерпеливый взгляд — ждал ответа. Неизвестный сказал: «Вы можете быть премьер-министром, но не здесь. Около своих работ художник сам себе премьер-министр, а потому поговорим на равных». Вмешался кто-то из членов правительства: «Да кто ты такой? Как ты разговариваешь с председателем Совета министров? Да ты у нас мигом на урановые рудники загремишь!» Тут же два «искусствоведа в штатском» схватили скульптора. Не обращая внимания на них, он обратился к Хрущеву: «Вы разговариваете с человеком, который в состоянии покончить с собой

в любой миг. Так что ваши угрозы для меня мало что значат».

По указанию того самого министра, который угрожал урановыми рудниками, кагебисты отпустили скульптора...»

Этот репортаж взят из книги об Эрнсте Неизвестном английского искусствоведа Джона Бергерса («Art and Revolution», 1969). Тут обращает на себя внимание спокойное отношение скульптора к Смерти — это очень важный момент, один из ключей к его творческой философии. Бескомпромиссное признание приоритета достоинства человеческого духа перед всем, из чего состоит жизнь. «Кесарево — кесарю, а — (НО!) Божье — Богу»...

Эрнст Неизвестный уже умирал однажды. Он и верно был почти мертв — а считали его мертвым довольно долгое время. Когда он ушел добровольцем на фронт в возрасте шестнадцати лет, он почти сразу же был ранен в грудь налетом разрывной пулей, которая перебила ему позвоночник. Вот как описывает это поэт Андрей Вознесенский в уже процитированном тут стихотворении:

...взводик твой землю ест,
Он доблестно недвижим.
Лейтенант Неизвестный Эрнст
Идет наступать один!

Лейтенанта сочли мертвым и оставили за линией немецких окопов. Но ему суждено было воскреснуть.

Когда после университета, Академии Художеств и напряженной самостоятельной работы определилась творческая манера и стиль скульптора, большое место в его творчестве занял мотив страдания и гибели — солдаты, искалеченные или смертельно раненные, часто встречались среди его работ тех лет. Если попытаться охарактеризовать его стиль, можно сказать,

что это — фигуративный экспрессионизм. Трагическая тема и сильная, напряженная до предела жизнеутверждающая форма. Она включает в себя — в самых смелых сочетаниях — элементы чуть ли не всех направлений современного искусства.

Несколько лет тому назад Неизвестного привлекла тема рождения. Он создал что-то около пятисот офортов по мотивам всех мыслимых легенд, на ней построенных: Адам, рожденный из земли, Ева — из ребра, Афродита — из морской пены, Дионис — из бедра Зевса и т. д.

На фоне спиритуалистического мировоззрения Неизвестного, уходящего корнями в недогматическое христианство, переход к этой теме представляется парадоксальным: естественно было бы ожидать, что его искусство должно всячески избегать апологий телесного. Однако — наоборот: его скульптуры — воплощение осознанного в пропорциях фигур. Джон Бергерс рассказывает, что в тесной, темной московской мастерской скульптор работал почти наощупь — больше доверяя ощущениям собственных пальцев, чем зрению, бесполезному в слабом свете. Есть и еще немало парадоксов в личности этого замечательного художника. Я не знаю ни одного скульптора, который был бы так досконально — не по-дилетантски — знаком с современной математикой, физикой и прочими естественными науками. Дело не только в университетском образовании — научный подход чувствуется в самом решении пространства, в идеях композиций, в невероятной широте выбора техники и материала: от электроники и кино до дерева, стали, стекла, пластика, бронзы, камня... Его скульптуры одухотворены теми же антигеометрическими силами, силами органическими, живыми, которые определяют и формы человеческого тела, и завихренность корней дуба... В общем, в цельности мировосприятия скульптор видит синтез всего, что многие века лишь анали-

зировалось. Синтез в формах современного гигантизма.

К парадоксам же его житейских коллизий можно отнести тот факт, что, впервые встретившись с Хрущевым как с врагом, скульптор впоследствии стал его другом. Позднее семья сброшенного с трона вождя просила, чтобы памятник на его могиле был выполнен только Неизвестным.

Эрнст Неизвестный родился в Свердловске в 1926 году. Отец его — хирург. Мать — биолог и детская писательница. Внутри семьи постоянно шла бурная борьба между марксистскими и антикоммунистическими взглядами. «Моя война началась в раннем детстве и с тех пор никогда не прекращалась. Я всю жизнь — на линии фронта», — рассказывает скульптор.

Он невысок, атлетического сложения. Движения быстры и точны, как у боксера в момент атаки. Задумчиво и твердо смотрит он на собеседника. Я спрашиваю: «Почему вы добивались выезда из СССР?» — «Как художник, я там был обречен. Мои работы не лезли в официальные рамы. Ни форма, ни метафизическое их содержание не могли соответствовать государственному взгляду на искусство. Более семнадцати лет у меня вовсе не было заказов. Только в последнее время, когда более современную скульптуру стали осторожно допускать в интерьеры научно-исследовательских институтов, власти почувствовали нужду в таких скульпторах, как я». Но исполняя эти заказы, как отмечает Неизвестный, мастер всегда чувствует себя в напряжении — прежде всего, из-за ожидания самых нелепых идеологических придинок. Заказы эти принесли Неизвестному очень большие деньги, но приходилось работать на том уровне, который был для него пройденным этапом чуть ли не полтора десятилетия тому назад.

«Художник не может постоянно ковылять позади самого себя, — говорит он, — я чувствовал себя, как

тот молодой актер, который всю жизнь мечтал сыграть Гамлета, но не получил этой роли. Когда же, состарившись, он хотел сыграть короля Лира, ему сказали: вот теперь ты можешь играть Гамлета».

Произведения Неизвестного раскиданы по всему миру. Некоторые из них, как я уже говорил, хранятся на даче семьи Хрущева, часть прибыла вместе со скульптором в семнадцати авиаконтейнерах, остальное находится в частных руках — от Италии до Финляндии.

«Непосвященные могут считать, что всё это — отдельные работы. Для меня же это — только фрагменты к одному-единственному, главному произведению — «Сердце человеческое». Это всё — части одного целого». В этой грандиозной работе весь смысл его жизни.

В течение семнадцати лет — до самого дня своего отъезда из Москвы, Неизвестный все свои творческие силы отдавал этой работе — грандиозному символу человеческого Духа и Познания. Теперь он надеется осуществить эту небывалую композицию в одной из стран свободного мира.

Это произведение — динамический поиск всеобъемлющего видения. Оно возникло из той метафизической традиции, из той духовной истории человечества, которой пренебрегает сегодня Запад и которую подавляют идеологические шаманы в СССР. Неизвестный ищет духовного соединения искусства с современной наукой, единства Веры и Знания, которые на самом деле не противоречат друг другу — наоборот, лишь в единстве обогатив друг друга, они дают цельный духовный мир.

Современное жизнеощущение — наше понятие о месте, которое человек занимает в системе мироздания, — меняется самым фундаментальным образом. В человеческом сознании категории Времени и Пространства незаметно трансформируются — это меняет

наше отношение ко всему. Даже некоторые перемены в глубинах нашего подсознания — и те как-то связаны с последними научными открытиями — прежде всего, в области физики. Творчество Неизвестного связано и с этим новым видением мира, и с древнейшими духовно-понятийными традициями западных и восточных культур. Это видно и в его произведениях, это же подтверждает он и сам. Пресловутые симптомы духовного кризиса в современном мире ему не кажутся столь серьезными и роковыми, как это представляется столь многим деятелям западной культуры.

«Я не настолько знаю нынешнее западное искусство, чтобы его оценивать, но то, что я видел, свидетельствует совсем не о кризисе, а скорее о локальности устремлений, о детальности поисков вообще в современной цивилизации. Происходит, например, процесс разделения между разными специальностями в рамках какой-нибудь одной науки, растут пропасти между различными профессиональными кругами, есть опасность, что скоро один физик не сможет понять другого, работающего над смежной проблемой. В науке эти процессы еще как-то объяснимы, но в искусстве, я думаю, им нет места. Задача искусства как раз в том, чтобы дать *цельную* картину мира. Это не право художника, а его долг. Ибо он живет прежде всего интуицией и должен быть способным познавать всё не поэтапно, а непосредственно в единстве. У Оппенгеймера есть целая теория расщепления науки: наука у него развивается как бы радиально — в разных направлениях от единого центра, от начальной точки. Кажется, что Оппенгеймер и его единомышленники напуганы информационным взрывом. Но, вероятнее всего, в будущем информация будет становиться все более компактной и более доступной. Ведь когда-то знание таблицы умножения было признаком высокой учености. Монополией немногих ученых монахов. А со временем это стало школьным учебным материалом.

Когда я сам изучал физику, я не мог усвоить теорию относительности. А теперь моя дочь уже в школе восприняла эту истину весьма легко: просто ее научились выражать в таких символах, которые точны, а потому доступны. Так что не думаю, что развитие науки будет столь трагичным...»

— Ну, а прикладные науки, техника, которые стали в последнее время играть огромную роль? Они, видимо имеют над нами все бóльшую власть?

«Когда люди высадились на Луну, ко мне в Москве пришли журналисты — хотели узнать, какое впечатление на меня произвело это событие. А мне интересен был не сам факт, меня занимало одно: а что это за люди? А может быть, это какой-нибудь из персонажей Достоевского? Ведь человек, летящий в ракете, может вполне иметь духовный и моральный уровень пещерного жителя! Ведь нажать кнопку даже проще, чем выстрелить из лука!»

— А не привязаны ли мы все к этой специфике технического прогресса?

«Я считаю достойными внимания лишь ценности духовные и интеллектуальные. А техническое развитие вовсе не проявление духовности или даже интеллекта. Самые сложные приборы состоят из очень простых элементов и в наше время не становятся уже выражением человеческого духа. Техническое развитие — комбинация весьма банальных усилий, большей частью. В том и состоит тайна современной науки, которую иные ученые тщательно скрывают... Для меня технология — по сути, продолжение человека в том смысле, как ложка — продолжение руки. Если так смотреть — ясно, что глубины человеческого сознания от этого фактически не меняются...»

Наша беседа переходит к источникам мировоззрения скульптора. Он прежде всего замечает, что за последние столетия был утрачен тот синкретизм, в силу которого искусство было частью мистического

целого, отражавшего метафизические и космогонические идеи.

«Возьмем, к примеру, какой-нибудь из древних храмов — ведь это модель мироздания в пространственном выражении!»

— Каким образом вы пришли к такого рода взглядам? Ведь вы росли в годы сталинизма, юность ваша тоже прошла в среде полностью контролируемой стражами марксистской догматики...

«В 1947 году в послевоенной Москве я взял на себя инициативу собрать круг людей, способных создать то, что условно можно назвать катакомбной культурой. Этот круг продолжает действовать и поныне. Меняются люди, одни уходят, другие приходят, но главная цель этой работы остается: изучение, защита и порой создание всего, что возможно, — в метафизическом аспекте. Люди самых разных профессий и интересов включились в эту работу. Иные впоследствии отошли от нас и стали видными деятелями партийного аппарата. Однако и они оказались полезны: когда многие области знания официально были запрещены, мои друзья получали все же доступ к материалам, могли изучать определенные духовно-исторические проблемы, делать из них политические выводы. В период «оттепели» власти нуждались в людях с такими знаниями. Тогда люди эти покинули «подполье» и перешли в официальную жизнь».

— Какого рода знания от них хотели получить власти?

«Ну, например, знание китайской истории и философии могло бы дать возможность для понимания китайского образа мышления, и, когда усилились разногласия между СССР и Китаем, это понадобилось. Были из этих людей эксперты и по другим странам — по Индии, например, и вообще по религиозной и духовной жизни Востока... Но это всё было меньшей частью нашей работы. Главное — мы хотели про-

биться сквозь официальные культурные барьеры. Мы читали Фому Аквинского, переведенного для нас одним из моих друзей, Блаженного Августина, Киркегора, современных экзистенциалистов. Такие писатели, как Олдос Хаксли и Джордж Орвелл, тоже были переведены и размножены в ограниченном количестве экземпляров. Однако основное значение придавали мы не современной философии, а эзотерическим учениям».

— Традиции Достоевского, Соловьева? Идея Святой Руси?

«Да. Но это было больше, чем традиция, — для меня во всяком случае. Я вырос в интеллектуальной семье. В нашей домашней библиотеке были и книги русского духовно-философского возрождения начала века: Соловьев, Бердяев, Розанов и другие. Все это стояло у нас на полках... Кроме того, опять же в начале века существовало значительное философское направление — в России оно было связано с именами Анни Безант, Блаватской, Рудольфа Штейнера. Я читал его антропософские работы. Досконально знаком и с его первым «храмом» в Дорнахе — Гетенаумом, который был сожжен... Эти школы издали множество книг в самых различных областях знаний. Была сделана и попытка соединить ритуалы дионисийства и кое-что из зороастризма с христианством...

Итак, для нас возникали самые разные проблемы. Нашей задачей было переводить и подпольно издавать книги, в том числе и написанные людьми из нашей среды. Более полутора десятка из этих книг уже переправлены на Запад. Один из наших друзей, который владеет двадцатью пятью языками, ныне преподает семантику в Сорбонне».

— А КГБ? Что знали там о вашей деятельности?

«Видимо, ничего. Мы были крайне осторожны. И надо отдать должное нашим друзьям, которые, поднявшись в свое время в официальные круги, нас не предали».

— Верно ли, что ваш круг волновали исторические предвидения о судьбе России, призванной дать миру новый духовный Ренессанс?

«До известной степени это нас тоже вдохновляло. Но внутри сегодняшней русской оппозиции надо различать разные течения. Мне, в моей собственной классификации — точнее, в собственных терминах, представляется это всё таким образом: необходимо отличать горизонтальные, что ли, культурные течения от вертикальных. Оппозиционеры типа академика Сахарова — рационалиста, которого я, исходя из его жизненного поведения, считаю святым, действуют, по сути, в горизонтальном направлении культурных усилий. Их действия социально обращены вовне. Наша же катакомбная культура «вертикальна» и занята духовными вопросами. Где-то в точке пересечения этих линий находятся такие личности, как Достоевский, Толстой и, видимо, Солженицын.

Оба культурных усилия стоят перед множеством опасностей. Оппозиционеры, настроенные прежде всего на социальное, думают, что носители катакомбной культуры уходят от насущных проблем. Это ошибка. И они начинают понимать, что без «вертикальных» «горизонтальные» усилия изматываются. Растет потребность в знаниях, собранных нами за период с послевоенных времен и до нынешнего дня. Катакомбная культура никогда не может совпасть с советской идеологией. Поэтому она всегда в опасности частичной ассимиляции. Ведь официальная культура не способна на свободный анализ и потому — бесплодна. Поэтому она вынуждена исподтишка питаться катакомбной культурой».

— Каким образом?

«Вот вам личный пример: мои работы — продукт моей деятельности в катакомбной культуре. Но в известной степени они повлияли на официальную — просто возникли подражатели, которые, хотя и не

понимали моих идей, но поверхностным образом копировали и распространяли фрагменты моих работ. Другой пример — мой друг Булат Окуджава. Его лирические и романтические песни так и не стали официальными, но его интонации и метафоры растаскали по карманам многие из подражателей, занимающих какое-то место в официальной литературе».

— Как много осталось вам сделать для вашего главного произведения?

«Большинство скульптурных фрагментов готово. Модели выполнены. Их предстоит лишь увеличить. Все инженерные расчеты также сделаны. Остается реализовать проект — это композиция 150 м в высоту и примерно столько же в ширину».

Неизвестный приносит фотографии различных скульптурных групп и фотографии модели всего «Сердца человеческого» в собранном виде.

«Вот. Это — семь спиралей, образующих ассиметричную форму сердца. Оно должно быть помещено в углублении огромной чаши. Оно в ней — как Древо Жизни, с семью корнями, уходящими в землю, каждый корень — один из семи смертных грехов. Они создают систему тоннелей — подземный лабиринт со статуей слепца в семи версиях.

Семь путей Посвящения лучами сходятся к монументу. По ним зритель приближается к огромной букве. Она — ворота к смыслу. Пройдя эти ворота, зритель может уже всматриваться в подробности монумента с разных точек. На круге, охватывающем монумент, будет выгравирована на четырех мировых языках библейская молитва вселенского содержания (времен разрушения Соломонова храма).

Вверх по центральной оси можно будет подниматься — транспортное приспособление будет иметь остановки у каждой из семи спиралей. Тут тоже множество различных скульптур...

Соломонов храм был замкнутым пространством с интерьером и видом снаружи, но это была своеобразная модель вселенной.

«Сердце человеческое» не монумент только, но и не интерьер... Открытые формы... Находишься одновременно и внутри и снаружи.

Это очень важно с точки зрения наших современных понятий о времени и пространстве. Это образ бесконечности, неразрывность духовного с математической и формальной логикой. А метафизически это как бы выражение сверхчувственного мира. Это произведение для меня как для художника особенно важно тем, что оно дает доселе еще незнакомые возможности чувственного восприятия. Понятие расстояния отсутствует. Вы находитесь одновременно и вне вещей и внутри их. Когда мы внутри скульптуры — мы сами как бы часть ее...»

— В соответствии с древней метафизикой это похоже на Тело Господне?..

«Да. Это — сердце пророка. И Тело Господне...»

Я беседовал с Неизвестным непрерывно в течение пяти часов, и еще на другой день мы прихватили часа два. И я не заметил в нем ничего такого, что мы привыкли иронически называть «причудами гения». Только настороженная внимательность и мужество.

После смертельного ранения он живет с поломанным позвоночником и поврежденной печенью. У него недостает нескольких ребер. Когда он вышел из госпиталя, то его признали нуждающимся в постоянной помощи — тяжелейший случай инвалидности первой группы...

«Теперь я вполне здоров — после того моего опыта, который можно определить и вне религиозных категорий... Но русские люди, сохранившие свою традиционную веру, могут счесть его прежде всего опытом религиозным».

— Как вы думаете, почему многие верующие среди русской интеллигенции не причисляют себя к той или иной Церкви?

«Я тоже... Нашему поколению не свойственен какой-то определенный религиозно-догматический опыт. А духовная потребность чрезвычайно велика. Люди чувствуют необходимость, но средства, пути приближения к Богу у каждого свои...»

Неизвестный рассматривает себя — и многих русских интеллигентов — как людей недогматически верующих. Он признаёт, что душа и тело — не антагонистические понятия: христианское аскетическое отношение к телу — антитеза античному взгляду — это, по его мнению, следствие схоластических моментов. «Пытаешь тело — терзаешь дух». Но он признает и исключения. Об этих вопросах он беседовал с католическими монахами, гостя в одном из польских монастырей.

В его произведениях телесность — всевластна.

Стилизованные или только деформированные и просто абстрактные элементы стремятся к единой гармонии. Достичь этого соединения и было одной из главных проблем скульптора.

И он, видимо, решил задачу, которая была бы по силам лишь немногим: Микельанджело, Родену, Эдварду Мунку, задумавшему написать «Фриз Жизни». Я вспомнил эти имена.

«И ваш соотечественник — норвежец Густав Вигеланд, — добавил русский скульптор, — ведь он разработал великолепный план! Но его ограничивали возможности материала, и потому форма не отразила всех идей его так, как он хотел...»

Кстати о Вигеланде — у Неизвестного с ним еще и то общее, что оба они выступили на фоне небогатой и сравнительно молодой скульптурной традиции. Правда, в России была народная резьба до тех времен, когда Петр Великий привез в новую столицу первые

классические скульптуры, а Вигеланд обращался к европейской готике, но за спиной его тоже была народная — экспрессивная по стилю — скульптура времен викингов, имеющая очень много родственных черт с древнерусской резьбой. Правда, перед глазами Вигеланда была еще и скульптура барокко, и ренессанса, и всё, что в России получило место лишь в тени живописи — да и то только в XVIII веке. А русская живопись имела свои, совершенно особые иконописные традиции; сочетание которых с европейским влиянием дало неповторимое своеобразие... Но всё это лишь схематические объяснения. Они весьма приближительны.

Важно, по-моему, что на фоне именно таких традиций выступает самый честолюбивый скульптор в русской истории. Это страстное противоборство прагматизму времени. Как же он сам определяет свою задачу в общем?

«Я отнюдь не хочу сравнивать себя с великими — речь идет просто о логике творчества, — но если Пикассо разобрал мироздание, как машину, на детали, то мне хочется снова смонтировать его, но в ином плане. Анализ в искусстве уже исчерпан. Теперь настало время искать синтез!»

ЭГЕЛАНД Эрик — норвежский художник, искусствовед и журналист. Родился в 1921 году в Осло. Окончил там же государственный Художественный Колледж. После войны учился в Академии Жюльен в Париже и в университетах Осло и Калифорнийском. Автор книги «Искусство в хаосе» и еще четырех искусствоведческих работ. Постоянный комментатор по искусству крупнейших норвежских газет.

СЛОВО ПРОЩАНИЯ

После непродолжительной, но тяжелой болезни скончалась замечательная русская женщина Людмила Львовна д'Агьяр, урожденная Гарганова. Она родилась в 1920 году, в Кисловодске, в семье инженера. Вывезенная из России в грудном возрасте и зная свою родину только по рассказам родителей, старших друзей и отечественной литературе, Людмила Львовна, тем не менее, до конца дней сохраняла в себе беспредельную любовь к родной земле, неизменно отдавая себя служению ее культуре, ее благу, ее духовному возрождению.

Продолжая семейную традицию, покойная всю свою сознательную жизнь занималась самой широкой просветительской, культурной и благотворительной деятельностью в различных общественных учреждениях Русского Зарубежья: была бессменным членом Центра Помощи в Монжероне, а в последние годы — его почетной Председательницей, учредила французский Центр по приему культурных деятелей Восточной Европы (ССА), принимала активное участие в работе Ассоциации друзей «Континента».

Людмила Львовна оказалась одной из немногих в старой эмиграции, кто, вопреки известным предубеждениям своей среды, сразу же пошел навстречу новым изгнанникам из России, с которыми у нее завязались вскоре самая сердечная дружба и доброжелательное сотрудничество. Во многом только благодаря ее жертвенной самоотверженности здесь утвердился и встал на ноги Русский музей современных нонконформистов, при ее решающем участии проводились все благотворительные акции в пользу вновь прибывающих интеллектуалов; трудно найти теперь в новой эмиграции человека культуры, который бы не был обязан ей за помощь и доброе слово.

Человек большого сердца и душевной чистоты, Людмила Львовна д'Агьяр была достойной дочерью великой страны — России.

Мир и память праху ее!

Ассоциация друзей «Континента»

Литература и время

Наум К о р ж а в и н

«ДОБРО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СТАРО»

29 сентября 1976 года в Москве произошло событие, имеющее, как я убежден, большое значение для нашей литературы — в издательстве «Советский писатель» был подписан к печати сборник стихов Олега Чухонцева «Из трех тетрадей».

Можно сказать: **наконец** был подписан, ибо у этой книги долгая и странная история. Следы ее есть даже в аннотации издательства, где говорится, что поэт впервые опубликовался в 1958 году. Это значит, что первая книга вышла только через восемнадцать лет после первой публикации. Иными словами, человек, родившийся в день первой публикации Чухонцева, мог за это время и сам несколько раз опубликоваться. Кроме того, из нее же видно (сказано, что Чухонцев родился в 1938 году), что в день выхода первой книги поэту было столько же лет, сколько Пушкину в день смерти.

Всё это было бы вовсе не странно, если бы Чухонцева вообще не печатали, если б его имя было запрещено. Но ничего такого не было. Печатался он почти всё время — только в периодике, а не фундаментально. Тем не менее, был рано замечен и хвалим критикой, получил признание у читателя (знаю людей, переписывавших его стихи из журналов), стал членом Союза писателей и вообще известным поэтом. Тем не менее, книга его каждый раз «зарезалась».

Правда, был связан с его именем и один случайный скандал — в связи с опубликованием в «Юности»

стихов о князе Андрее Курбском. Дело было не в самих стихах («неправильных» стихов редактор «Юности» Борис Полевой никогда бы не пропустил), а в том, что номер с ними вышел как раз после какого-то нашумевшего бегства из страны (не то А. Кузнецова, не то А. Белинкова — теперь не помню), в связи с чем такие строки, как, например, «Чем же, как не изменой, воздать за тиранство», получили слишком злободневное звучание. Разумеется (хотя формально стихи критиковались не за это и не в связи с этим, а за некую «научную несостоятельность»), это осложняло положение поэта. Однако через некоторое время всё вернулось на круги своя. Поэта печатали, хвалили, а книгу неизменно «зарезали» — в разных издательствах.

Если решать вопрос в общем виде, то, конечно, в судьбе этой книги виновата власть. Положение, при котором поэт может общаться с читателем только через систему госиздательств, — это ее заслуга. И то, что на ответственных постах в этих издательствах сидят люди, для которых всё талантливое и самостоятельное — подозрительное, тоже сделала она: все ответственные знают, что своей подозрительностью выражают отношение еще более ответственных, потому и стараются. Но стараются самостоятельно. Не думаю, чтобы недостаточность объема этой книги (не вместившей даже некоторые уже опубликованные в советской периодике стихи), ее мизерный для России (если речь идет о человеке, которого читают) тираж в 20000 экземпляров были прямо «спущены» в издательство из Кремля. Нет, сами местные товарищи постарались. Знали, что речь идет не о сыне (как, допустим, Р. Рождественский), а о пасынке, из чего и исходили. Правда, это дало побочный (хотя и вполне предвиденный) результат — книга в первый же день стала библиографической редкостью и вызвала то, что начальство называет: «нездоровый ажиотаж» — т. е. стал действовать эффект полузапретного плода.

Но таков уж характер «научного предвидения» советского руководства — стихи Чухонцева здесь ни при чем: они в таком допинге не нуждались. И не провоцировали его.

То, что случилось с этой книгой, — особенно вначале, когда Чухонцев был незащищенным начинающим, — не что иное, как проявление существующей и в советских условиях (правда, существующей в изуродованных формах) борьбы вкусов, обычной литературной борьбы. Хотелось бы несколько отвлечься от ее форм и коснуться ее сущности. Но для этого надо хоть немного поговорить о самом Чухонцеве.

С его творчеством я познакомился довольно давно, в конце пятидесятых, когда работал внештатно в «Литературной газете» и бывал там чуть ли не каждый день. Однажды в кабинет, где я сидел, постучался некто, мне не знакомый до этого, извинился и попросил прочесть «хотя бы одно» стихотворение «одного мальчика». Я согласился скорее из вежливости, чем из других соображений. В стихи мальчиков в тот период я верил мало, считая, что им в той обстановке не на чем формироваться*. Первое из прочитанных мной стихотворений показалось мне неплохим, но моего недоверия не поколебало. Оно было недостаточно отчетливо и определенно, чтобы свидетельствовать о появлении нового имени. Таким же было и второе. Таким же как будто обещало быть и третье. Тем более, что тема его была банальна: «Человек родился». «Что действительно он появился на свет, / Выдал загс за печатью ему документ» — помню я до сих пор

* Это ощущение оказалось преждевременным. Его опровергло появление Чухонцева и Кушнера. Но, с моей точки зрения, оно, к сожалению, оправдало себя позже. Только теперь, кажется, начинает нащупываться (реально, а не программно) система ценностей, на которую смог бы опереться молодой поэт (чтоб чем-нибудь заняться, а не погрязнуть в различных видах самоутверждения).

одно из первых его двустий. Все остальные были такими же — как будто хорошими, что-то обещавшими, но — несамодостаточными. Рассказывалось о том, что этот «родившийся» получил собственный экипаж, в котором выезжает — вместе с другими такими же — на бульвар, «где листва опускается на тротуар» и где все они спят в своих колясках. Всё это было трогательно, но не более того. И вдруг вслед за этим и по этому поводу: «А вокруг в переулочке — шелест... шаги... / Подрастают друзья... Подрастают враги...»

И пусть стихотворение, содержащее эти строки, было несовершенным, пусть Чухонцев даже и прав, не включив его в свой сборник (хотя оно тогда же было напечатано в «Литературной газете» и, вероятно, это и есть та первая публикация, о которой упоминает аннотация), пусть известность ему принесли другие, написанные позже стихи — я до сих пор горжусь тем, что, прочитав эти строки, тут же отбросил в сторону все свои построения и уверенно сказал то, что от меня слышат редко: «Это — поэт». Друзья очень удивлялись: «Конечно, мальчик не без способностей, но так, сразу, по двум строкам: «поэт»... На тебя это непохоже...» На меня это, действительно, было непохоже — в основном, я всё ругал. Но и строки эти тоже были непохожи на то, что я ругал. Они не могли появиться просто так — за ними стояла личность, отчетливый опыт ее взаимоотношений с миром, позиция, выработанная этим взаимоотношением, точка, с которой смотрит поэт. Разумеется, не только это. Ибо не всякая позиция, не всякий выход из внутренней сумятицы — выход в поэзию. Точка, с которой поэт рассматривает жизнь, расположена достаточно высоко — иначе было бы невозможно, как здесь, обнять взглядом всю жизнь как единый образ (с которым соотносится конкретное переживание автора и только в нем, на его фоне, по отношению к нему —

запечатлевается). В сущности, это и есть то образное мышление, без которого действительно невозможно искусство, но за что в светских разговорах — для чувства причастности к тайнам — принимается нечто совсем другое: некие технические приемы, значение которых механически мистифицируется. Разумеется, высота этой точки должна быть подлинной, т. е. быть вызванной не стремлением соответствовать некой — пусть правильной — норме, а действительно существовать как чувство и характер восприятия.

В сущности, **выраженность** — это раскрытие тех причин, благодаря которым переживаемое автором имеет значение не только для него. Меня могут обвинить в том, что я говорю о такой примитивной вещи, как **содержание**, в то время как среди литературной и считающей себя таковой эмиграции утвердилось мнение, что говорить прилично только о «форме» или еще лучше — о революциях в ней. Но содержание — если под ним понимать не внешний «смысл» или зарифмованные мысли, а органически проявившееся содержание личности (в этом случае и прямое присутствие мыслей не мешает — они прямо вытекают из стихотворения) — вещь совсем не примитивная. «Форма» и есть форма его проявления, оно присутствует и выражается в переживании, в восприятии. И если оно есть, о нем и заботиться не надо. Можно смело писать любое легкомысленное стихотворение — пушкинское «Подъезжая под Ижоры», например. И если это содержание подлинно, нажито, органично, то и стихотворение будет содержательным. Неподлинность, т. е. любое постороннее соображение, любое желание казаться (обмануть можно себя, но не стихи), всё равно проявится в стихотворении и подорвет его подлинность, особенно ту подлинность высоты, о которой только что говорилось. Поэтому я могу и сейчас сказать то, что сказал уже давно: «Поэзия от непоэзии отличается прежде всего со-

держанием». Двустилие Чухонцева, о котором я говорил, как раз и поразило меня наличием, выношенностью и выраженностью такого содержания — внутренней законченностью.

Последнее утверждение может вызвать недоумение: ведь я сам говорил обо всех остальных строках этого стихотворения как о недостаточных. Но я говорю сейчас не о законченности стихотворения, а только о законченности и отчетливости замысла. Стихотворение, о котором идет речь, не было законченным произведением. Законченным было только одно двустилие, по которому я почувствовал в Чухонцеве поэта. И, кстати, именно по отношению к этому двустилию проявилась недостаточность всех остальных. А так — что ж... Эти остальные выглядели вполне поэтично и литературно. Сейчас по обе стороны железного занавеса поэзия буквально тонет, не видна за колоссальным количеством стихов, в которых есть только такие неопределенные строки. Но поскольку строк, подобных чухонцевским строкам о подрастающих друзьях и врагах, в большинстве из них нет (как нет и определенности замысла), их недостаточности не на чем проявиться, и они выглядят почти безупречно. Это совсем не безобидно. Когда этой спрессованной выраженности нет, и чувство не отливается в чувство, а растекается по дереву, читатель, при всем уважении к чувствующему автору, не чувствует ничего. Хоть часто, стесняясь того, что не понимает искусства (которое проявилось перед ним с такой таинственной, а потому наглядной поэтичностью), начинает уговаривать себя, что он восхищен или что произведение вообще-то замечательное, но он лично сегодня не в настроении (вариант: «мне лично это не близко»). Между тем, до того как мы почувствовали произведение, до того как оно стало близким, мы просто не можем знать, что оно замечательно. Всё это притворство не столь безобидно, как кажется, ибо создает норму,

которая закрывает от людей поэзию. Один видный диссидент, искренний, неспособный на такие игры с собой человек, так мне и сказал однажды: «Знаешь, я стихов больше не читаю. Не могу — их слишком много. Инфляция в поэзии».

Инфляции в поэзии, конечно, нет и никогда не будет. Но есть инфляция определенного рода стихов, с которыми этот человек сталкивался: и на воле, и в лагере. Нет, это не стихи на гражданские темы — таких тем тонкие, в том числе и диссидентские, стихотворцы стесняются, как грубой прозы и дурной наследственности. Впрочем, дело не в теме — при любой теме эти стихи подчинены не чувству, а неопределенному чувствованию и авторскому любованию собственной поэтичностью. Читая такие стихи, поначалу теряешься: всё как будто искренне (а по-человечески, вероятно, и впрямь искренне), а ты, в лучшем случае, можешь только посочувствовать, а чувствовать — не получается. И я твердо убежден, что почти любой человек, который прочтет стихи Чухонцева, во всяком случае — лучшие из них, поймет, что разговор об инфляции поэзии беспредметен. Не может быть инфляции отчетливых достижений чувств, да и случаются они в стихах не так уж часто...

Впрочем, литературные представления, о которых я здесь пишу, свойственны отнюдь не только оппозиционным ценителям. На этой не очень тонкой утонченности вполне учились писать и почти все «официозные»* литераторы. Официозный литератор

* С этим термином надо обращаться осторожно. Неуместно не только забывать о многих честных людях, имеющих официальный статус советского писателя, но и не помнить, что и некоторые совсем не безупречные люди (например, Наровчатов) иногда прорывались к поэзии и имеют значительные (хотя и немногочисленные) достижения. Наровчатова никак нельзя превращать, как это делается в некоторых статьях, в эталон бездарности. В том и трагедия, что он блистательно талантлив. Так же неосновательно,

тоже учился «мастерству» (большим поклонником этого термина был и такой друг советской и всякой литературы, как Иосиф Сталин, — удобный был для него термин, превращавший писателя в обычного «специалиста своего дела»), тоже знает, что искусство — мышление образами и что одной политики для искусства мало. Такие литераторы точно так же оглядываются на расхожие представления «серебряного века», в частности — о «форме» и «содержании».

Короче говоря, первый раз книгу Чухонцева зарецензовали потому, что рецензенту издательства она показала «эпигонской».

Поразительное дело! Столько выходит во всем мире (в том числе и в «Советском писателе») стихов, похожих на стихи собратий, и никого это не беспокоит. Наоборот, все отыскивают непохожие места. А тут — заело. Думаю, что стихи Чухонцева показались эпигонскими только потому, что были похожи не на стихи собратий, а на поэзию как таковую. То есть волновали, хоть и не злоупотребляли образностью. Конечно, и рецензент знал, что поэзия не всегда нуждается в принятых аксессуарах поэтичности, но знал он также, что без этого обходились только крупные поэты, которым было что сказать. А тут — мальчишка! (двадцать лет назад Чухонцев безусловно был мальчишкой), мальчишка, пользующийся такой свободой, — никем, кроме эпигона, по мнению рецензента, быть не мог.

Однако по этой книге явно видно, что мог и был. Впрочем, сегодня уже мало кто сомневается в этом. И попробуй сомневаться, прочитав, допустим, такие стихи:

например, и объявлять М. Дудина (какой он там ни есть Герой соцтруда) эталоном темноты. Предосудительное их поведение остается при них, и о нем можно и нужно говорить как угодно неласково, но за этим поведением, за никому не нужными стихами надо все-таки уметь разглядеть и стихи блистательные — тоже не поддающиеся инфляции. Таких стихов у них немного, но ведь и не меньше, чем у многих, ныне освободившихся.

Этот город деревянный на реке,
Словно палец безымянный на руке.
Пусть в поречье каждый взгорок мне знаком,
Как пять пальцев... А колечко на одном.

Эко чудо — пахнет лесом тротуар.
Пахнет тесом палисадник и амбар.
На болотах, где не выстоит гранит,
Деревянное отечество стоит.

И представишь: так же сложится судьба,
Как из бревен деревянная изба;
Год по году — не пером, так топором —
Вот вам стены, вот и ставни, вот и дом.

Стой-постой, да слушай вьюгу из окон,
Да поленья, знай, подбрасывай в огонь;
Ну, а окна запотеют от тепла —
Слава Богу! Лишь бы крыша не текла!

Вот стихотворение. При чтении его не возникает потребности сочинять нечто среднее между идейной биографией и психопатологическим очерком об авторе (что стало хорошим тоном в эмигрантской периодике — сразу превращает исследуемого в классика, а исследующего — в тонкого мыслителя и знатока). Они сами содержат всё, в них начало и конец, самодостаточность. Разумеется, они родились из внутренней жизни автора, но отпочковались от нее и теперь живут собственной жизнью. Читая их, меньше всего думаешь о переживаниях и взглядах автора — переживаешь сам. Конечно, стихотворение было бы мертво, если бы не передавало состояния его автора в данный момент. Но этот момент ощущается в данном стихотворении не слишком конкретно, без психологической подоплеки. Впрочем, эта подоплека нам здесь и не нужна, ибо мы имеем дело не с психологией, а с вы-

ходом из нее — с откровением. Нас может еще интересовать духовная предыстория этого момента, но и она о себе открыто не заявляет. Только чувствуется. По отбору деталей, по интонации, с которой о них говорится, можно понять, что всё это не просто так возникло, а в процессе ответа на вопросы, которые ставила перед автором жизнь и с которыми сталкивалась присущая ему, как поэту, острая потребность в гармонии бытия. Здесь опять-таки проявилось восприятие жизни как единого образа.

Но прежде всего — это стихотворение о маленьком деревянном городке и о любви к нему. Этому чувству подчинено всё в стихотворении, а остальное проявляется как бы попутно, остальное — только «содержание чувства».

Начинается это стихотворение со странного сравнения «города деревянного на реке» с «пальцем безымянным на руке». Но мы почему-то воспринимаем это сравнение как вполне естественное. Вполне возможно, нас заражает уверенность интонации. Этой уверенности способствует то, что строки крепко связаны двойной рифмовкой. Рифмуются не только окончания строк, но и их середины. Причем нехитрая внутренняя рифма «деревянный-безымянный» связывает не только слова, но и смыслы. Остается ощущение, что речь идет о чем-то скромном, незаметном, дорогом и очень ценном. Концы строк рифмуются более изысканно, что придает всему двестишию и тому, о чем оно говорит, некоторое изящество. Всё это существует не само по себе, а только несет в себе нечто, что, как мы чувствуем, должно раскрыться, разрядиться потом. Это определенным образом настраивает читателя. Это настроение усиливается вторым двестишием, где город, расположенный на одном из взгорков, знакомых автору, как пять пальцев, сравнивается с колечком на одном из них, т. е. опять-таки с чем-то уютным, неотрывным и светящимся. Это ощущение

праздничности, уютиности и незаметности не проходит, естественно, и когда мы начинаем читать второе четверостишие. Только там это уже взгляд не извне, а изнутри: «Эко чудо! Пахнет лесом тротуар, / Пахнут тесом палисадник и амбар», но, в общем-то, это опять-таки усиление общего радостного впечатления от этого города. Но не может ведь быть, чтоб только для этого писалось это стихотворение. Все его детали явно что-то обещают, во что-то хотят отлиться. И — отливаются: «На болотах, где не выстоит гранит, / Деревянное отечество стоит». Конечно, замечание это самое простое, но для того, чтоб так почувствовать и написать, надо было многое пережить и передумать. Надо было хоть раз увидеть, как не выстаивает гранит, или хотя бы испугаться, что он может не выстоять, чтоб так обрадоваться незыблемости деревянного отечества, так поверить в эту незыблемость.

За этим стихотворением многое: и радость от осознания (а то и обретения) почвы, и приобщение к неотъемлемой от смысла поэзии изначальной и простой сущности бытия, и смирение перед его трагизмом. Трагизма этого в стихотворении, собственно говоря, почти нет, только на один миг он показывается на свет в виде посвиста вьюги из окон, но всё стихотворение — некое подобие защиты от него: от дисгармонии и хаоса. Какое-то убежище — может быть, скалочное.

Впрочем, с дисгармонией поэты обращаются не всегда так, как в этом стихотворении. Иногда они идут на нее в «лобовые атаки». Олег Чухонцев никогда не боялся, что прямой разговор уведет его от поэзии. Когда поэт выражает собственную сущность, а не занимается решением «общественных вопросов», такая опасность ему не грозит. Тогда гармония «поселяется» в той тревоге, которая заставляет его «идти в атаку», но все равно живет в его стихах. Как, например, в этих:

Я не помнил ни бед, ни обид,
жил как жил — и во зло, и во благо.
Почему же так душу знобит,
как скулит в непогоду дворняга?

Почему на окраине дней,
самых ясных и самых свободных,
так знобит меня отблеск огней
и гуденье винтов пароходных?

Верно, в пору стоячей воды
равновесия нет и в помине,
и предчувствие близкой беды
открывается в русской равнине.

И присутствие снега и льда
ощущается в зябком дыханье,
и такая вокруг пустота,
что хоть криком кричи в мирозданье...

...Мы срослись. Как река к берегам
примерзает гусиною кожей,
так земля примерзает к ногам,
а душа — к пустырям бездорожий.

Видит Бог, наше дело труба.
Так уймись и не требуй огласки.
Пусть как есть торжествует судьба
на исходе недоброй развязки.

И, пытая вечернюю тьму,
я по долгим гудкам парохода,
по сиротскому эху пойму,
что нам стоит тоска и свобода.

Так что иногда можно говорить то, что хочешь,
совершенно прямо, и все равно это будет поэзией.

(Хотя такая же искренняя декларация своей любви к родине может ею и не оказаться.) Любовь эта в стихах Чухонцева остается такой же серьезной, когда взгляд поэта с лица всей России переходит на лицо ее единичного представителя — старухи, с которой автор иногда любит «говорить неспешным разговором» «о житье-бытье»:

День-деньской она всё шьет да порет,
моет пол да сажит огород
и за мукой-мученской не помнит,
сколько лет спокойной жизни ждет.

Да и то ей, бабе деревенской,
что ей помнить, темной да босой?
Николай-угодник, не побрезгуй,
одели дешевой колбасой.

Почти, можно сказать, народничество, почти шестидесятничество — однако же существует, однако же факт личной жизни, а не абстрактной «любви к народу». Впрочем, от шестидесятничества это стихотворение отличается еще тем, что, хотя некоторая естественная дистанция между автором и героиней сохраняется, все-таки героиня для автора — не представитель «меньшого брата» («меньшой брат» — вообще абстракция, нарушение живого вкуса), а тоже личность, хотя и не очень счастливая личность. Первый так в поэзии заговорил о народе и с народом А. Т. Твардовский, которого в эмиграции совершенно зря недооценивают как поэта. Кстати, и о шестидесятничестве — не могу удержаться, чтоб не отметить, что основной вред от шестидесятничества для развития нашей культуры был вовсе не в прямом влиянии его прагматического отношения к искусству. Это довольно быстро кончилось и почти не оставило следов (Лефовский нигилизм происходил не от шестидесятни-

ков, а наоборот, от крайнего эстетизма). Основной вред шестидесятиничество принесло тем, что вызвало снобистскую реакцию на себя, которая длится до сих пор, помогая многим людям оправдывать свое равнодушие к Богу и ближним и считать себя при этом тонкими эстетами, а иногда и христианами. Но это, как говорится, только к слову.

К сожалению, невозможно процитировать целую книгу. Впрочем, мне хотелось бы отметить одно стихотворение, которое в книгу почему-то не вошло, хотя и было когда-то опубликовано в журнале «РТ» («Радио и телевидение»). Это стихотворение о старческом доме «Чуфут-Кале» (Крым). К сожалению, оно слишком велико для цитирования, и поэтому первую половину я вынужден опустить. Вот вторая:

Затем ли оглашали степь набеги,
Алланы, караимы, печенеги,
Раскат повозок, цоканье подков,
Чтоб слышать ныне в каменной долине
Лишь скрип протезов, да напасть полыни,
Да ветряную сыпь известняков.

Нет, легче сгинуть в нетях монастырских,
Где нет ни дальних помыслов, ни близких,
Где только Бог в кругу Своих щедрот,
Чем в доме, где казенная свобода,
Где, кроме доживанья, нет исхода,
Где неизвестно, чей пришел черед.

И мы туда же?.. Как остановиться
У бездны, из которой дым клубится?
Не знаю. Что заигрывать с судьбой?
Коль выйдет срок расплачиваться кровью,
Не приведи Господь под эту кровлю,
Под этот кров с дымящею трубой.

Почему это стихотворение выброшено из книги, понять трудно. Невозможно поверить, чтоб автор не захотел его печатать сам. Так что же — тема? Конечно, это стихотворение о жизни и смерти — лет двадцать назад писать об этом так нельзя было. Но теперь эта тема вполне легализована, и даже в этом сборнике есть замечательное стихотворение о крематории («Гибрид пекарни с колокольной»). Значит, дело не в теме? Или решили дозировать — на эту тему хватит? Или побоялись, что это примут за критику советской системы обеспечения старости?... Кто поймет наше начальство... Но это, на мой взгляд, замечательное стихотворение, строгое и полнозвучное, в котором жажда жизни и сознание ее трагической и даже грубой ограниченности слились воедино, в котором напряженность примирения с неизбежным перекрывается острой жаждой жизни, яркости и даже каким-то сдержанным и таким естественным протестом против нее. Всё это не могло бы существовать без формы, ибо без формы не услышишь голоса, а только голос, живой голос, переданный точными словами и интонациями, превращает все «банальные истины», которым посвящено стихотворение, в открытие, в современную тему.

Быть современным — это вовсе не цель или задача искусства, но, не будучи современным, оно становится никаким, теряет выход к вечности.

Между тем, ощущение вечности никогда не покидает Чухонцева, о чем бы он ни писал. Эту связь с вечностью в наши времена на всех широтах надо отстаивать всеми способами — в том числе и прямо. Особенно остро это проявляется, естественно, в тех стихах, которые посвящены искусству и творчеству. Лучшее из них — «Баллада о реставраторе». Главное в нем — тоже не психологическая подоплека, а духовные основания, на которых стоит искусство, выход к откровению. Вот как оно кончается:

Зло крыто охрою. История в крови.
Но ангел падший домогается любви.

И снег всё пристальней, но как бы ни мело,
Утишим зло — у нас такое ремесло.

Проверим заново — ты кисть, а я — перо.
Что нам в укор? Добро не может быть старо.

И кто-то в будущем таким же декабрем,
Быть может, вспомнит нас — с печалью и
добром.

Е. Евтушенко, как явствует из его снисходительной, но доброжелательной в общем статьи в «Литгазете» об этом сборнике, считает слова «Утишим зло» слишком примирительными по отношению ко злу — видимо, он жаждет борьбы. Вполне похвально, но к этим стихам эта проблематика отношения не имеет. Да и вообще — «у нас такое ремесло», и ничего тут, на мой взгляд, не поделаешь.

Впрочем, главное в этом отрывке не это восклицание, а совсем другое, хотя и не противоречащее этому: «Добро не может быть старо». Именно эта уверенность слышится почти в каждой строке Чухонцева. Именно она придает каждой строке свободу и освобождает ее от необходимости самоутверждаться, доказывать себе и другим, что она значительна. Мне кажется, что в этих словах — главная потребность времени, условие его освобождения от всяких паутин, в которых запуталось его сознание. В них то, что умудренная страшным опытом Россия должна нести миру. Такие «простые» слова под силу далеко не всякому.

Хорошо, что вышла эта книга, хорошо, что у нас есть такой поэт и что он еще сравнительно молод.

О ПИСАТЕЛЕ ЮРИИ ДОМБРОВСКОМ

Жизнь романа «Факультет ненужных вещей» только начинается — трудными путями идут к читателям самые лучшие русские книги. Жизнь автора окончена, Юрий Осипович Домбровский умер. Умер друг, умер старший, один из тех немногих, кто в нашей бессловесной, огромной стране не только наделен был даром живой художественной речи, но больше — смелостью думать и поступать. Завязан еще один узелок на той то и дело прерывающейся ниточке разумения правды, или, как теперь говорят, исторического самосознания, которая выводит людей к свету.

Часто приходится слышать об исторической обреченности России; то припомнят Ивана Грозного, то охранное отделение, то славянофилов, то западников, предлагая как спасение научную объективность. Но не думаю, что изучение истории само по себе может упразднить все вопросы и открыть истину. Научное исследование констатирует факт, устанавливает связи, определяет происхождение, в худших случаях превращает в догму свои прогнозы, а то прикинется передовым учением и все перевернет вверх дном, то увлечется свободой, то необходимостью, абстрагируясь в целях научной объективности от того, кто производит весь этот исторический грохот или гибнет под обвалом. Думаю, что смысл устанавливается *желанием* того или иного смысла, человеческой позицией.

Что же значит само это желание? Неужели цель его — ряд научных абстракций, к которому пришла гуманистическая наука и уважение к которым надо воспитывать (оставим в стороне вопрос о методах воспитания). Вот странность — эти же абстракции появляются в самом неграмотном сознании, для которого почти не существует культуры, как возникают они и в культурной среде. Но как там, так и здесь это — больше, чем влияние культуры, это основа, ее

создающая. Короче, мы возвращаемся к донаучным понятиям о душе и совести.

Про Каина и Авеля может знать любой. Но не всякий сможет символический выбор сделать реальным жизненным выбором, не каждый осилит перенесение эстетического идеала в этическую реальность. Мысль движется от символа к символу, живая совесть называет живые вещи, и чем совесть больнее, тем невозможнее совершить подмену, которая, объявив, скажем, справедливость классовой, на этом софизме выстраивает систему символов, называемую идеологией, чтобы реальный факт убийства соотнести с символической гуманностью. Крайние течения гуманизма породили целый ворох таких систем, но здесь не место об этом рассуждать, замечу только — к счастью, ни одна из них не оказалась способной искоренить совесть, хоть и объявлялась она репрессивным фактором культуры. Тут заложена предопределенность человеческих оценок, которая может быть как угодно извращена, но не может быть уничтожена как таковая.

Люди верующие называют это религиозным чувством. Неверующие, из тех, кто, по крайней мере, не отрицает самого эмпирического факта — чаще всего не называют никак. Но всё громче и громче, всё увереннее раздаются голоса, которые возвращают безымянному полузабытое имя. Неслучайно многие из них принадлежат русским. У нас решительный пролетарский гуманизм отгрохал такую реальность, которой не прикроешь никакими символами. Замечательно, что не только нерационалистическое сострадание («Архипелаг ГУЛаг»), но и логическая мысль («Зияющие высоты») отрицают эту реальность в качестве возможной для человека среды обитания. Замечательно и то, что небезопасное «возвращение к ленинским нормам партийной жизни», не партией или партиями устанавливаемые нормы возвращают к моральным ценностям, а одинокое, личное и беспартийное противостояние совести любым доктринам, даже на краю гибели.

С этих позиций легче было бы назвать роман Ю. Домбровского возвращением к христианству. Если бы... если бы декларации не были так чужды роману. Если бы номинативная поспешность не погружала в пучину мелких и крупных

разногласий, да что разногласий — просто грызни, самолюбий, программ, в пучину духовно-артельного промысла, который, собственно, отрицает то «чувство равенства со всеми живущими», в котором только и возможна жизнь души, требующей постоянной честности к себе и другим. Нет, несмотря на то, что роман то и дело возвращается к евангельской теме, в нем не ставятся собственно религиозно-духовные проблемы, пока речь идет о понимании, правда, не только подкрепленном опытом жизни и культурной памятью, но и предрешенном. Откуда эта предрешенность? Ответа все еще нет...

Для такого писателя, для такого человека невозможно из Христа сочинить новую идеологию, которой можно было бы просто заменить господствующую. Что ж, христианство как символ? Символ хорош. Но для меня он реален ли? Очень дорого стоит эта робость, эта застенчивость, эта постоянно проверяющая себя, не вдруг решающаяся назвать совесть совестью душа. Тут и другое — просто назвать себя христианином, как этот, этот и этот? И более глубокое и вызывающее преклонение — неужели освобожу себя верой от ответственности? Ведь и такое бывает.

Теперь, когда умер Юрий Осипович и завершено дело его жизни, мы можем, не оскорбив его души непрошеным вторжением, сказать — вот он, невольный исповедник. И сколько их еще, молчаливых, кто знает?

Но предрешенность предрешенностью, а литература разворачивает содержание притчи, движимая непреодолимым стремлением в каждом человеке увидеть его суть, вобрать чужое понимание, чужую правду, чтобы внести внеисторичность в как будто уже сформировавшееся историческое суждение, чтобы предостеречь от предвзятости групповых оценок. Понять не для того, чтобы простить, а чтобы рассказать «всё, как было», не упустив ничего. И тогда не мертвым звуком, а живым словом правды звучит древняя истина. Тогда причины и следствия, имевшие место в 37-м, чреватом страшным будущим году, обернутся сегодняшним разговором, сегодняшними делами. Моим, твоим, нашим сегодняшним выбором. Не знаю даже, кому станет нужнее этот роман — современникам 37-го года или тем, кому двадцать и тридцать сегодня. И тем и другим, наверно, он очень нужен.

Как ни бейся, а исторический опыт лишен очевидности. То есть существует, конечно, очевидность политическая, экономическая, очевидность военного превосходства, даже очевидность исторической справедливости. Но ими не исчерпывается смысл индивидуальной судьбы.

Не заводя разговора о месте романа в нашей литературе, об этом было уже сказано*, мне хотелось бы рассмотреть поближе людей, с которыми знакомит нас автор. С кем сталкивается герой романа Зыбин в 37-м, роковом для него и для многих году.

Один из удивительных — директор музея (у него Зыбин работает). Первое его проявление в романе — охранительная речь. «Сказать на лекции студентам «товарищ Сталин ошибся» — это-таки настоящее государственное преступление... Что значат слова «не знаю, что имел в виду Иосиф Виссарионович, но факт тот, что после спартаковского восстания Рим просуществовал еще 550 лет и сделался мировой империей»? А ведь товарищ Сталин написал совершенно ясно и просто: «Варвары и рабы с грохотом повалили Римскую империю». Значит, вот это и есть научная истина». И еще упрек, по принципу сословно-классовому: вот и у бригадира Потапова тоже брата арестовали (и расстреляли), но «простой мужик колхозник» про свою родную советскую власть думает как? «Раз взяли брата Петьку, значит было за что взять». А вот интеллигенция, «хитрая да лукавая...» Кроме того, известно из повести «Хранитель древностей» (к ней мы еще вернемся), что Директор — комбриг в отставке, то есть исторически фигура как будто ясная, герой той самой гражданской войны, которая закрепила нынешнюю диктатуру. И еще важное обстоятельство — очень уж он раздражает образованного молодого человека Володю Корнилова, ссыльного сына отца, «который при царе был какой-то шишкой». Так что ему, как будто, — по рождению и исторически — прямо следует быть противодиректором и ненавистником диктатуры. И если вслушаться в его глумливое «а товарищ Сталин корифей всех наук», «а в учении товарища Сталина нет ничего мелкого», в его честно-нетерпеливую интонацию «значит, революция рабов, да? И еще ждать мне 550 лет,

* Ф. Светов. Новый роман Юрия Домбровского. Вестник РХД, № 123.

а? А не пошли бы вы все в это самое? А?» — то так оно и выходит.

Вышло бы, если следовать романтической эстетике социализма. Но этой цели автор не предполагал.

Принадлежность к исторически-сомнительной справедливости не лишает самостоятельного благородства. Несправедливость истории не делает героем, не дарит правоты. О директоре, члене ЦК и депутате Верховного Совета, еще будет время сказать, а вот Корнилов, хороший и несчастный... Начнем с него. Он — одна из главных загадок романа.

«Хороший, честный, он всюду правду говорит. Другие хитрят, таятся, а он прямо, без никаких... Он говорит, а все молчат. Говорят одно, а думают другое. Вчера был героем, наркомом, портреты его висели, кто о нем плохо сказал, того на десять лет. А сегодня напечатали в газете пять строк — и враг народа, фашист... И опять — кто хорошо о нем скажет, того на десять лет. Ну какой же это порядок, какая же тут правда?»

Даша хочет ясности.

«Вот Корнилов не такой. Он молод, горяч и, как говорит Державин, к правде черт... У Корнилова все ясно, четко, недвусмысленно...»

И Зыбина привлекает ясность, ему в этих обстоятельствах она никак не дается — «крутят по миру какие-то черные, чудовищные протуберанцы и метут, метут все, что ни попадется на пути».

А директор, минуту назад, казалось бы, — воплощенная историческая ясность? «Я, Кларочка, потому попросил вас остаться, что хочу серьезно поговорить о нашем Хранителе... Ну вот что вы, например, думаете о Корнилове?»

И кроме этого — еще несколько глухих упоминаний в первой части романа, несколько намеков, вызывающих даже какой-то отпор в читателе (чего нажились?), но разгадка оставляется автором «на потом». И читатель недоумевает о беззащитности Корнилова и готов связать эмоциональное противоречие с детективным сюжетом, с пропажей золота и появлением чекистов. Не с ним ли случится беда? Что означает как будто мимоходом брошенная фраза — «эти дни потом Корнилову приходилось вспоминать очень часто. Все самое непоправимое, страшное в его жизни началось именно с этого дня...» Но что, собственно, вспоминать? Непоправи-

мое и страшное произошло с Зыбиным, это его арестовали, и кажется — в этом разрешение тягостных предчувствий первой части романа. Буквально этой же фразой начинает автор третью часть, прибавив к «непоправимому, страшному» еще и «стыдное». Речь пойдет о Корнилове-предателе.

Не жестокий суд, а неподкупное сочувствие звучит в авторском эпиграфе — постскриптуме: «Он умер и сейчас же открыл глаза. Но был он уже мертвец и глядел, как мертвец». Вот оно что, не одни внешние жуткие обстоятельства 37-го года, а что-то такое, что существовало давно и существует всегда, какой-то внутреннй изъян, излом, неизбежно ведущий к гибели. «А мы что, плохие? Мы ведь тоже ничего себе. Одна только беда — не понимаем мы многого. Вот Зыбина посадили, и вы не понимаете, как, за что и почему, а вот если бы вас посадили бы или меня, он сразу понял бы, и почему и за что. Он ведь историю Французской революции назубок знает!» Обвинение гипотетическое, условное, «понял бы», состоящее, собственно, в том, что кто-то пытается думать (а со мной не делится!), приходит к каким-то выводам (а я как же?) и вообще молчит, из чего можно заключить (притворяется!), что ему понятно, как, когда и почему надо поступать. Короче — формула обиженного, требовательного недоверия к другому, подозреваемому в героизме. Есть у Корнилова претензии и более широкие, уже почти ко всему человечеству с его представлениями о добре и зле: «Рыцарь бедный, Ян Гус, Дон Кихот, Франциск Ассизский... — он съел какое-то имя, ну еще кое-кто. Что они принесли в мир, зло или добро?.. Не пытаются ли они мир добром и жалостью? Ведь вслед за ними идут несчастья, убийства, сумасшествия, за святым Франциском — святая инквизиция. За Гусом — гуситские войны. Одним словом, после мучеников всегда идут палачи». Вот это и есть доблестная логика нигилизма, страдание нашего века — преимущественный интерес к низости. И если бы то был интерес, стремящийся низость и пределы ее понять, чтобы от нее отречься, то и возразить было бы нечего. Но удивительным образом, а может быть и закономерно, он почти вытеснил интерес к высокому, как-то скучно стало об этом говорить. Как будто предательство заранее, до поступка, собирает аргументы, делающие его только закономерным и человеческим. Не может быть упрека сильнее, убийственнее,

чем «он оказался лучше нас» (а следовательно, надо бы у него поучиться), нет, это он нас предал, и поступил недемократично, отказавшись от компромиссов, на которые мы идем ежедневно. Он во что-то верит? Но ведь известно, к чему ведет вера (она слепа) и поклонение авторитетам (это ущемляет личность).

И зависть к совести не делается ревностью о ней. Совесть сложно отрицается во имя... свободы. Но вот беда — без совести свобода никак не получается. К себе-то требуется отношение по совести. И даже по «максимальной» совести. А я... Я еще не знаю, какой я и чего от меня вообще можно требовать. Прежде полагалось бы во всем разобраться, а историю на время приостановить, но где отыскать «стоп-кран»? Негде? Ну тогда я пока живу по способности... Принцип вполне коммунистический — вообще совесть есть, а в частности нету. Совесть ничья. Общая. А при социализме — государственная. Только ли в 37-м году?

Искренний, чуткий, ранимый и... говорливый Корнилов, — в чем же его обвинишь? Вина простейшая — бывает, что надо сказать себе не «я мучался», а «я поступил подло». Это в конце концов с ним и случилось. Он умер и сейчас же открыл глаза, но был он уже мертвец и глядел, как мертвец.

Кто из тех, кого не миновала объективная целесообразность, так или иначе не соблазнился государственной совестью?

Герой... «он, что уж там скрывать, человек не особенно хороший, лентяй, пьяница, трепло несусветное, кроме того, труслив, блудлив, неблагодарен», — так думает о себе он сам. А сомнений и неуверенности, промахов, питающих смутное чувство вины, мучительных мыслей и воспоминаний — не меньше, если не больше, чем у любого другого. По ночам необходимым собеседником является к нему товарищ Сталин, «и вот что удивительно и странно — они каждый раз разговаривали очень хорошо, по душам», однако ни один не в силах убедить другого. Вздуроченная мысль Зыбина возвращается то к Французской революции, то к античному христианству... Но чтобы далее рассуждать о герое, необходимо вернуться к повести «Хранитель древностей», опубликованной еще в 1964 году.

Тот, кто хорошо ее помнит, может быть, согласится со мной, что повесть эта гораздо страшнее романа какой-то

угрожающей беспредметностью действия, отсутствием реального сюжета. Там явно заправляет несуществующий Бова-Конструктор, мифологический дракон, требующий все новых и новых кровавых жертв. Но там же он превращается во вполне реальную, обыкновенную змею, и тогда начинает проступать примитивный смысл происходящего. Однако это примитив, в котором запутаны очень непростые вещи, и называется он — насилие. Непросто увидеть, что за громадиной идеи «самого справедливого общества», в котором «самое дорогое для нас — человек», скрывается запланированное уничтожение этого самого человека, за которого всё отныне будет решать высший разум. Там, в повести, началось понимание, инспирированное частностью, там человек, которого все зовут хранителем и от лица которого написана повесть, только начинает констатацию лжи.

Настоящая жизнь, настоящие вещи, настоящая, собственно человеческая, история остались где-то далеко позади, там, где алмаатинский «апорт» назывался Гранд-Александр и его мерили вершками (от семи до восьми вершков в обороте!), там, где люди боялись землетрясения и думали, как строить дома, чтобы оно их не разрушило, где на роту солдат в окрестностях города Верного мог напасть тигр, и это событие запечатлевалось на полотне, где учитель французского языка был одержим раскопками и мучился мыслью, что одни и те же причины могут породить одни и те же следствия. Что-то от этой настоящей жизни осталось валяться на чердаках, — очевидно, за это любимых автором. Настоящим после обжитой и слишком понятной Москвы могло блеснуть экзотическое цветение южного города. Мог поразить странный художник. Но всё чаще и чаще поток жизни в повести перебивается арестами, доносами, угрозой доносов, уходя в тяжелый сон под страшную колыбельную песню.

Все люди-то спят,
Все звери-то спят,
Одна старуха не спит,
У огня сидит,
Мою лапу варит,
Мою шерсть прядет,

Курлы, курлы, курлы,
Отдай, старуха, мою лапу...

Зловещий старик Родионов, зловещая старуха Ван дер Белен. Предчувствие катастрофы видит ее во всем... «И тут вдруг кто-то совершенно ясно и отчетливо сказал мне в ухо: «Уходи, пока не поздно! Скажи, что получил телеграмму от матери, и уезжай! Чтоб завтра тебя здесь не было, слышишь!» (Вернемся к роману, прислушаемся к интонации — «Уже много времени спустя он понял, что в те дни в нем попросту жило предчувствие беды, и, увидев Дашу, он сразу понял — вот беда и пришла». Это начало падения Корнилова.)

Так что же? Бова-Конструктор или апокалиптическая саранча, разговор о которой входит в повесть так просто, так естественно, так равнозначно всему ее духу, что даже и тени натяжки не ощущаешь? Похоже, очень похоже на саранчу — «...ее ничего не трогает — ни смерть, ни боль — ничего, только бы оголить всю землю дотла». «...Это начало общего понимания, это обобщение ощущения, но мысли, одновременно и трезвой, и подавленной затянувшейся провокацией, нужна еще какая-то реальность, какая-то предметная уверенность. А кроме того — сходное понимание в других». Я сидел, слушал... и уже совершенно точно знал, что я ни на грош не верю ни в иностранного клеща, ни в расписку, выданную дьяволу... Но точно так же совершенно ясно и четко я понимал, что мой собеседник, человек трезвый и бывалый, свято верит каждому их слову и его никак не переубедить. Есть расписка, есть сознание, есть виновный, есть кара виновного, о чем же можно еще говорить?».

Ах, как ошибался хранитель! И как точно запомнил и написал эту ошибку автор.

А бригадир-то Потапов, оказывается, и не верил... «Но я посомневался... Я вот почему посомневался. Ни в какой Новосибирск брат не ездил, это мы тогда с ним нарочно такой фокус выкинули. Он от жены хотел уйти к бухгалтерше со свинцового завода; познакомились они на курорте, вот мы и ездили к ней в Чимкент. А тут слушок распустили, что это он едет в Новосибирск на месячные курсы складских работников... Вот почему я им не поверил».

Да еще как резко и непротиворечиво произошло тут уяснение абстрактного в конкретном: вот брат Петька, который в Новосибирск не ездил, а вот саранча, которая его погубила. Основание, на котором держится эта логическая конструкция, превосходит обычную разумную логику и не подчиняется ей: «Эх, не сумел я тогда отстоять брата Петьку. Не сумел. Оробел, струсил. Думал свою шкуру спасти».

Хранителю же сомнения все еще предстоят, путь впереди. Предстоит самое важное — поступок. А пока — чутьем, сердцем, мыслью поверивший Потапову, он, однако, сознает неотчетливо, какая реальность реальна, а какая — противоречит ей. Достаточно уединенного дома, окна, упирающегося в забор, ночного разговора, похожего на допрос, нескольких бумажек, в одной из которых значится и твоя фамилия, фальшивого доверия, которое должно вызвать обратную доверчивость, чтобы открывшийся было примитив опять оборот нечеловеческой сложностью. «Я шел по высокой траве, нес узелок, и колени у меня были уже мокрые, а башмаки хлюпали. Но я думал только о бригадире Потапове. Теперь мне многое представлялось в ином виде... он сильно переменялся, таскается по целым дням в горах и перестал обращать внимание на колхозные дела. Вилы же и топор после сегодняшнего разговора приобрели в моих глазах совершенно особое значение. Хотя к чему они — я все-таки объяснить не мог... Во всем этом было что-то и от настоящей тайны, и от чего-то совсем иного, раздутого, надуманного и не-серьезного. Но ложь об удаве! Но статья в немецкой газете! Но письмо германского консула! Ведь все это действительно печаталось, писалось, существовало...»

И все-таки реальной, чем этот подавляющий морок, оказалась обыкновенная змея, найденная все-таки Потаповым, априорная уверенность которого тоже, оказывается, нуждалась в точных доказательствах. Но опять — гораздо важнее уличающего предмета и здесь было что-то другое, что-то такое, что заставило хранителя увидеть за своими сомнениями — страх. И вот отсюда им идти вместе, Потапову и хранителю (из повести), который в романе станет героем и назовется Зыбиным. «Куда мы шли? Зачем мы шли? Кому мы несли этого дохлого змея...»

Некуда идти и нечего объяснять, но себя-то они убедили и теперь знали твердо свое место в неотвратимо наступаю-

щем будущем. И именно здесь отошел от хранителя Корнилов, именно здесь состоялось разделение предателя и героя 37-го года. Да и всех прошлых и будущих лет.

Сравнение повести и романа необходимо, чтобы понять меру писательской уверенности, с которой близкие в повести хранитель и Корнилов превращены в Корнилова и Зыбина романа. Мне кажется, что повесть была прологом романа, уяснением романа, необходимым, чтобы его начать. Вся первая часть полна прямыми отголосками повести, хотя бы в том смысле, что так или иначе упомянуты все ее сюжетные повороты. Тем самым связь устанавливается несомненная, то есть мы как будто имеем дело с продолжением. Однако это продолжение качественно новое. В повести неполное знание судило неполное знание, примерялось, больше интересовалось общностью («Так вы тоже с Чистых прудов?»), в чужом страхе видело свой, в другом человеке — себя. Неуступчивая правдивость заставляла и в хранителе подмечать черты той трусливой податливости, которая Корнилова сделала сексотом по кличке «Овод». О том, что всяческая неуверенность и страх не обошли хранителя, говорит не только повесть, повторяет и роман. О том, что именно памятью этого страха написан в романе Корнилов, интонационно бесспорно свидетельствует сравнение двух отрывков.

«Я остановился на краю обрыва и стал соображать, где же удобнее спуститься. Было уже так темно, что я не различал дороги. Чуть не коснувшись лица, мимо меня пролетела длинная, бесшумная как кошка, ночная серая птица. И только я нащупал дорогу и начал спускаться, как внизу в кустах ответно зажегся другой фонарик... И я увидел на фоне кустов, как при свете молнии внезапно появилась неподвижная белая фигура»... (Сейчас хранителю будут толковать, что Потапов немецкий шпион. Повесть).

«Отрезвление наступило внезапно. Впереди вдруг вспыхнул прямой зеленый луч фонарика, ослепил его и осветил высокую, тонкую женскую фигуру на тропинке»... (Это Корнилов сейчас узнает, что Потапова днем увезли в город. Роман).

Все это интересует меня особенно потому, что не только «одинаковые причины могут породить одинаковые следствия», но и потому, что одинаковые следствия могут быть

результатом совершенно разных причин. И особенно в том, что касается человеческих поступков. В самом деле, что, при одинаковой угрозе, одних делало предателями, а других нет?

Безусловное неприятие диктатуры? Но озабоченный мировыми вопросами Директор (завтра — война!) не отвергает ее в принципе, и те самые процессы, которые окончательно убедили Зыбина, в трепет его не повергают: «А что, разве у тебя есть причины сомневаться, что, скажем, Каменев или Зиновьев не враги народа? Или что Рыков не боролся против сплошной коллективизации, или что иудушка-Троцкий из-за рубежа не ведет борьбу на фашистские деньги против нашего ленинского ЦК и лично против товарища Сталина?» И нечего играть в этот самый бесклассовый гуманизм. Директор в партийную линию верит так же свято, как в собственное представление о справедливости. Ну а если враг не сдастся — его уничтожают, это Горький сказал... Неверное историческое мышление и несовершенное представление о праве? Вообще. А в частности? А в частности он сорок раз рискует головой, оберегая полюбившегося хранителя (хотя он, «руководитель учреждения», должен не предупреждать, а «меры принимать», и это ему отлично известно), беря на работу ссыльного Корнилова, потому что «парень ничего», унимая расхаживающую массовичку, которая с любой склокой и ради собственной безопасности не замедлит сбежать куда следует. Недостаточно логично, узко по-человечески поступает поборник пролетарского гуманизма. (Да не брат ли это Твардовскому, каким запомнил его Солженицын!) Потом окажется, что и душа не молчала у директора, и ум не дремал. Но это — потом. Медленно складывается историческое сознание. Скоро дело делается, не скоро сказка сказывается...

Бездумная цельность и ясность, «свободное от страха существование», которое легко создает гармонию мира из своей собственной? Может быть, тут спасительная истина? Появление прекрасной возлюбленной странно усиливает гнетущие подозрения — вот она-то его и посадит! Нет, не посадила, и сама выбралась невредимой. Несомненная любовь к жизни, то есть в данном случае полнота доверия единственно к себе, естественное отвращение к насилию сыграли такую же роль, как и доля авантюризма, не остановившегося перед риском использовать опасный шанс на спасение. Но —

«ее в мире не интересует ничего, кроме нее самой». А главное — эта непререкаемая логика пошлости: «Мир переделать на свой лад ты не можешь, принимать его таким, как он есть, — не желаешь... ну, значит?» Значит, значит... «Есть времена, когда слово — преступление. Мы живем сейчас именно в такое время. С этим надо мириться».

А если примириться невозможно?

Да и, кроме того, это в 77-м спасало, а в 37-м — вряд ли.

Примирение, следовательно, невозможно, но не только, оказывается, для Зыбина, а и для Корнилова: «Ведь и меня ждет то же самое! Возьмут, привезут куда надо и спросят: «А почему ты медведя не любишь?» И ничего не поделаешь — не люблю!.. А вот Зыбин любит! Только сейчас ему другие люди — тоже языкастые — объясняют, что он еще недостаточно медведя любит, что он еще недостаточно идейно его любит. А любить медведя не так — это страшный грех. Медведя надо любить не за то, что он мохнатый и столько людей подрал и пожрал — нет! это Боже избави! — а за то, что он рвет и ревет: «Помните, самое ценное на свете — человек», — и Корнилов засмеялся длинно, оскорбительно, глумливо».

Любит ли Зыбин медведя, он решит сам. Но к чему бы Корнилову предрешать его заведомое поражение? А для того, чтобы в чужой молчаливости не расслышать верного ответа. И о чем, спрашивается, молчат? Ключи у них, что ли, от истины? В чем это, интересно, они так уж уверены? И сбитое с толку, упирающееся любопытство тянется к бесконечному разговору. Но ведь самый-то интересный разговор будет с теми, у кого ключи явные, осязаемые, запрут в клетке и всё... К чему едкая подозрительность и горячий нигилизм, если при всем при этом дело сразу пошло как по маслу — «что нам тут валять дурака? Вы же советский человек. Так мы все здесь считаем. Прошлое прошло и кануло, а ваше настоящее у нас перед глазами. Вы советский человек, Владимир Михайлович? — Спасибо, — ответил Корнилов растроганно, — вы абсолютно правы! Я гражданин Советского Союза и я...» Материал на Зыбина он даст и будет мучиться этим. И с этим мучением его оставляет автор.

Отрицанием не продержишься, смешно до поры до времени, и значит идеологии этой власти должно быть проти-

вопоставлено что-то другое, что-то, с очевидностью себя доказавшее, бесспорное, то, во что веришь безусловно. И вот, отец Андрей Куторга во Христа веровал, евангельское учение знал. Но — «хитрая вещь мирская власть», кроме того чувство вины (все грехи отпускал, а какое имел право? пил, ел, жил не торопясь) требует покаяния; тут как раз советская власть «освободила от лжи», то есть сослала на Север лес валить, рыбу в море ловить, даже и акушерством заниматься, и узнал бывший архиерей вкус черного хлеба, самой горбушечки — «ведь вкуснее ее ничего на свете нет». Но тогда — что же он сделал со своей верой, этот усомнившийся в священстве поп? Спасителю поклонился, а Иуду по-человечески простил: «Ведь кто такой Иуда? Человек, страшно переоценивший свои силы. Взял ношу не по себе и рухнул под ней. Это вечный урок всем нам — слабым и хлипким. Не хватай глыбину большую, чем можешь унести, не геройствуй попусту. Три четверти предателей — это неудавшиеся мученики». Так они и беседуют, выпивая, Куторга и Корнилов, уже продавшие друг друга, во всем сторговались, цену всему определили, да только платить по-настоящему нечем ни тому, ни другому... Хитра, хитра мирская власть и не нашего ума дело — «поставь нас на их место, мы бы за пару месяцев все пустили ко дну». Стало быть и невозможно иначе? Ах, каяться бы Куторге перед Богом, а не перед «голубыми погонами», а главное — доносов не писать, не навязывать Промыслу сотрудничества с НКВД. Хотел, чтобы в покое оставили, потому и согрешил, новый крест счел непосильным. Испугался. Скоро сказка сказывается, нескоро дело делается.

Так что ни научное мировоззрение, ни отсутствие его, ни всеотрицание, ни насмешка, ни идеология вообще, ни цельность натуры в частности не укажут подлеца и не произведут в герои. Всею дает цену совесть.

Совесть не позволяет мысленно усложнить ситуацию настолько, чтобы черное можно было назвать белым, именно она расширяет круг невиновности, устраняя то трусливое соображение, что мною кончается единение верных, а далее — тьма, измена, враги. Так думает уже запуганный, но еще (или тем более) лояльный гражданин, уверенный в своей невиновности, но легко признающий виноватость другого, чтобы, отмежевавшись от врага народа, оградить себя еди-

нением с народом, органами НКВД и лично товарищем Сталиным. Так думает доносчик, верящий в единство доносчиков, органов НКВД и лично товарища Сталина, окруженных сонмом врагов, к которым могут быть причислены все прочие граждане. Следователи НКВД верят в единство следователей НКВД и товарища Сталина, окруженных сонмом врагов, к каковым с легкостью отнесут и доносчика. А товарищ Сталин? А товарищ Сталин — общий центр этих концентрических кругов лояльности и не нуждается в высшем авторитете, он нуждается в исполнителях.

О чем же говорил с ним во сне сторонний исполнительству Зыбин? Сонная мечта — одновременно объяснить и понять (здравый смысл не может поверить бесчеловечной бессмыслице). Сталин в этом разговоре вторит Великому Инквизитору. Для Зыбина его неопровержимая логика упирается в то, что они «поверили в право шагающего через все и всех и поэтому спасли нас от просто добреньких», и если они правы, то это значит, что человечество «только кулаку и служит, только кнуту и поклоняется, только в тюрьмах и может жить спокойно», и «тогда, значит, разум, совесть, добро, гуманность — всё... что выковывалось тысячелетиями и считалось целью существования человечества, ровно ничего не стоит». И «идиотская болезнь благодущие» должна быть выжжена каленым железом. Для Зыбина этот разговор — последнее обсуждение доводов идеологии, готовой вот-вот вцепиться ему в горло, сначала превратив в покорного соучастника. И если такого не происходит, то не только потому, что он с самого начала готов отстаивать ценность своей жизни, но и потому, что он готов измерять ее ценой жизни всякого человека, будь то хоть и преступник. «А с тобой нельзя только потому, что с бандитом так нельзя. Только потому!.. Пожалуйста, помни это, и тогда ты будешь себя вести как человек. В этом твое единственное спасение».

Идеология в качестве воли народа и торжества справедливости остается для Зыбина по ту сторону тюремных стен. Он арестован. Теперь он сам воочию узнает — тут нет абсолютно ничего, кроме вранья и убийства. Обвинение реально не более, чем Бова-Конструктор, зато полностью реальны бессонный конвейер, будильники, карцер... Поэтому — «— Товарищ Сталин уже проснулся. Доброе вам утро,

товарищ Сталин! Солнышко-то, солнышко какое сегодня, товарищ Сталин, а?» Вот и всё, отношения с товарищем Сталиным значительно упростились, нет больше нужды вести с ним абстрактные разговоры. Он обедает с гостями, а я валяюсь на цементном полу и держу смертельную голодовку. И никакой больше разницы нет, и никогда не было. И муза истории Клио не поможет разгадать тайну мира, но только распространит ее во времени. Да и какая тайна? «Каин, Каин, где твой брат Авель?»

Дверь захлопнулась. Тайны кончились. И жизнь замкнулась. А роман продолжается, и в разговор вступают новые лица. Зыбину, кроме сомнений и воспоминаний, оставлен поступок, имя которому от гуманизма — героизм, личный подвиг — от христианства. Помогает память, и оказывается, что через всю жизнь прошло сопротивление силе и жестокости. Мать была веревкой с криком: «Я тебя научу, садиста, гуманизму». В школе — председатель учкома Жора Эдинов, «смесь кандидата педагогических наук Передонова с Павликом Морозовым». В институте — сорванное им мероприятие. Собрание требовало смертного приговора тем, кто подвернулся в качестве жертв во время кампании по борьбе с богемой. Потом — свобода и море, но и там об этом напало... Краб! «Я ведь страшно мудрый тогда был. Я тогда вот какой мудрый был — я думал, посидит он у меня под кроватью, сдохнет и всё. Сейчас мне самому непонятно, как я мог пойти на такое. Боль и страдание я понимал хорошо...» И понемногу рядом с жизнью вырастает общее начертание судьбы. Сила жестокости, которой, иногда полубессознательно, противился, теперь придвинулась вплотную. Что отвечу я, вечный студент факультета ненужных вещей? Выбора нет, и это по-прежнему логически доказать нельзя. Из обреченной решимости рождается полная историческая ясность, подтвержденная собственной судьбой.

Невозможно не сказать еще об одной поразительной удаче последнего романа Ю. Домбровского. Пожалуй, впервые в такой последовательной полноте написаны работники социалистической бойни. Изумляют две вещи: сходство органов НКВД с любым другим советским учреждением и сходство его сотрудников с людьми. Скажут, что такое сходство легко предположить. И это верно, однако одно

дело — разумное предположение, и другое — знание, внушенное художником. Действительно, сравнить можно с любой овощебазой: план, отчет, учет, борьба с бесхозяйственностью, рацпредложения, драмкружок, профсоюз, буфет, кинопросмотры. Но в руках заготовителей врагов народа капустные кочаны оборачиваются человеческими головами. При этом исполнители могут быть кем угодно: от аполитичных уголовников до романтиков, мучимых «трагизмом мысли». Здесь возможно задушевно-целестремированное желание урвать и утвердиться и неуязвимый цинизм тех, кто не нюхом соображает конъюнктуру, а создает ее. О следователе Хрипушине сказано, что он «аполитичен в том специальном готтентотском смысле слова, когда считается справедливым только такой строй, который нуждается в таких людях, как он, выделяет их, пригревает и хорошо оплачивает. Всё остальное, что несет этот строй, такие люди принимают автоматически, но преданы-то они не только за страх, но и за совесть, и поэтому враги существующего порядка вещей и их враги». Этот тип не исчез и поныне. И даже, может быть, размножился.

Гуляев, начальник отдела, «корректный, точный, холодно-ласковый заморыш». Своей неторопливо-обстоятельной поведкой, не окончательно пошлым юмором он, по воле и к ним щедрого автора, успевает показаться приятным, и даже своя правда ему дана: «Для вас «проклятое старое время» это так, присказка, а я-то его нахлебался досыта. У меня отец холодный сапожник был... А жили мы как полагается, в подвале». Он чуть ли не положительен в сравнении с бурным энтузиастом Нейманом. До тех пор, пока мы снова не утыкаемся в то, что и как они делают.

«Прокурор был симпатяга, он не строил из себя Вышинского». Он появляется в тюрьме как будто посланцем какого-то брезгливого здравого смысла — чего лишнее городить? И одно отсутствие радостного зловредства сбивает с толку уже почти приученные к бесконечности кошмара читательские мозги — возникает интонация оппозиционного мнения у власть имущего, интонация независимости от следственного производства с его гробовым идеализмом и логикой, да что-то прямо либеральное (покажут нам в конце концов Чарли Чаплина?). О деле Зыбина он говорит по-деловому: «Я вчера просматривал его дело. Что они там затеяли,

честное слово! Ведь кроме него никто не привлекается, значит ОСО, восемь лет Колымы, *вот и все*. Или: «Вы его психиатру покажите... не по следственной части, а сами, от тюрьмы... Может, тут и дела нет никакого, а отправить его в Казань, в специзолятор, и пусть там содыхает».

Кто затеял? Нейман затеял, «дело-то планируется немалое... Открытый алма-атинский процесс на манер московских». Не дают покоя лавры столичного братца — начальника следственного отдела прокуратуры Союза, Романа Львовича Штерна (не лишне упомянуть, что прототипом его послужил известный советский писатель Лев Шейнин, чекистская карьера которого весьма напоминает штерновскую). Нельзя лучше объяснить подлость соцреализма, чем описав род истинных занятий и характер размышлений этого поверившего в свою обаятельность писателя-палача. Иной раз для него пишут и подследственные. И никогда этот идеалист не присутствует при «приведении в исполнение»... Толстенький коротышка уязвлен «трагизмом мысли», он, «следователь-творец», Ромка-Фомка Ласковая Смерть, мечтает о сотрудничестве с Достоевским («Какой бы следователь был!»), презирает весь род людской и при этом... хочет, чтобы его полюбила «хорошая девушка с кудряшечками». И чтобы «в случае чего» его помнила. Эта смесь наглости и простодушия действительно обескураживает и заставляет серьезно поверить в неисчерпаемость низости. Как хорошо все-таки думал о людях Достоевский, как добр был — дал Смердякову раскаяться. Советский Смердяков этого никак не сможет сделать даже под страхом смерти. Штерн, пожалуй, единственный из всех в этом большом романе, кого Домбровский не смог, хотя и хотел бы, удержать в пределах или по крайней мере на грани совести.

Итак, здесь тоже череда индивидуальных судеб, запоминающиеся лица — как это не похоже на однообразную серость многоэтажного здания наркомата, на однообразно-мрачный ужас, который исходит от него, на глухой слух, расползшийся по всей стране. Но разнообразие лиц несколько не нарушает хода зловещего дела, и если там, на воле, можно было говорить о степенях совестливости, то здесь цветет бессовестность разного калибра. Здесь тоже, в сущности, переживают время. Переживают обреченно, или холодно отстранившись от сути дела, или считая сутью

справедливость организованного убийства, когда-то давно остановив жизнь собственной души.

История настигает при рождении, застаёт врасплох и волоком волочет по всей человеческой жизни. И тут — кому как выпадет: случаются тихие времена, а то такое достанется, когда «спасибо, что на кол не сажают».

Широкие горизонты исторических сочинений открывают лицо эпохи. Но трудно, невозможно подчас охватить выраженное в цифрах горе. Другое дело — обстоятельная, последовательная, и не обобщенная, а частная, очевидность литературы. Тут прямой путь от человека к человеку, из времени во время. Роман не делает общих сравнений, он сталкивает правду и неправду конкретных лиц, и это исключает подмену понятий, определяющих свойства человека.

О романе Домбровского много еще будут говорить. И это будет разговор о подлинной русской литературе.

ГРУППА СОДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЕНИЮ ХЕЛЬСИНКСКИХ СОГЛАШЕНИЙ В СССР

27 апреля 1978 г.

№ 48

ДЕСЯТЬ ЛЕТ «ХРОНИКЕ ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ»

Движение за права человека в СССР сформировалось более десяти лет назад под влиянием и в непосредственной связи с важнейшими внутренними и внешними событиями того времени. Одним из важнейших факторов в формировании этого движения стало основание информационного издания «Хроника текущих событий». Первый номер вышел 30 апреля 1968 года. На титульном листе его — так же, как и во всех последующих номерах, так же, как и теперь, — текст статьи 19 Всеобщей Декларации Прав Человека:

«Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ».

Десять лет существования «Хроники текущих событий» — это десять лет борьбы за гласность с нетерпимостью и несправедливостью нашего общества, борьбы за его открытость, демократизацию и общую гуманизацию. Все эти годы и по сей день публикации «Хроники» являются наиболее объективным, полным и точным отражением фактов нарушения прав человека в СССР. Они широко используются как в СССР, так и за рубежом при защите прав человека. В частности, «Эмнести интернешнл» регулярно публикует «Хронику текущих событий» на английском и других языках и широко использует ее материалы в своей деятельности по защите политических заключенных.

Все эти годы «Хроника» героически противостоит репрессиям и провокациям властей, неся тяжелые потери: преследуются редакторы, издатели, те, кто собирает материалы для «Хроники», те, кто ее распространяет, и ее читатели. Одни из них сегодня в лагерях, другие были вынуждены эмигрировать, третьи продолжают свой ответственный, самоотверженный труд. И невозможно переоценить благородное воспитывающее значение «Хроники текущих событий» для всех участников правозащитного движения и бесчисленных читателей в СССР и за рубежом.

*Елена Боннэр, Софья Каллистратова, Мальва Ланда,
Наум Мейман, Виктор Некипелов, Татьяна Осипова,
Владимир Слепак*

ПРИГОВОРИТЬ К ИЗОЛЯЦИИ!

В наши дни, у всех на глазах, восточноевропейские «голуби мира», возглавляемые «пацифистом» номер один Брежневым и К^о, с триумфальным цинизмом хоронят эпоху прекраснодушных иллюзий, которую ее поклонники почему-то называли «детантом», хоронят при смущенном молчании тех, кто еще вчера бездумно торговал чужой свободой, чтобы сохранить жалкие остатки собственной, хотя бы ценой предательства и финляндизации.

Демократической доверчивости преподнесен еще один (какой уже по счету!) урок дипломатического лицемерия и международного бандитизма и теперь (в который уже раз!) западная цивилизация вновь поставлена перед дилеммой: сделать или не сделать из этого урока надлежащие выводы, которые в конечном счете станут для нее судьбоносными.

Заранее отменяя демагогическую риторику апологетов детанта о «поджигательстве» и «политическом экстремизме», я не призываю к максимализму в решении проблемы Прав Человека, я призываю к элементарному минимуму, которого может и должен придерживаться в наши дни всякий, кто считает себя честным интеллектуалом. Этот минимум исчерпывающе определен для нас Александром Солженицыным: «Не соучаствовать во лжи!»

Не соучаствовать во лжи их научных конгрессов, гуманитарных встреч, спортивных состязаний, технического сотрудничества, обмена в космосе, военных маневров, ибо для восточноевропейского и советского тоталитаризма всё это лишь дымовая завеса, под прикрытием которой осуществляется беспрецедентная

в истории тирания над поработенными народами, тирания, неуклонно распространяющая свою экспансию на весь остальной мир.

Разумеется, элементы насилия и нарушения Прав Человека еще имеют место и в Западном полушарии. Но демократия тем и сильна, что она предоставляет обществу бороться с возникающим злом в условиях свободного обмена мнениями, идеями, информацией. На наших глазах распались последние авторитарные режимы Европы, под нажимом мирового общественного протеста медленно, но неуклонно эволюционируют к законному правопорядку весьма недолговечные диктатуры Латинской Америки, рамки демократии стран Запада все более расширяются, уступая натиску новых сил и веяний. Свободное соревнование свободных личностей приносит свои плоды.

В современном мире осталась единственная твердыня, которая не только не поддается влиянию демократии, но и беззастенчиво использует ее противоречия в своих, сугубо агрессивных целях, и эта твердыня — советский тоталитаризм. Лишь осознав эту очевидную аксиому современности, мы сможем сообща преодолеть угрозу всеобщего рабства, где враждующим сегодня на Западе «левым» и «правым» суждено будет оказаться под крышей одного лагерного барака.

Мощной пробой сил в противодействии этому мог бы стать универсальный бойкот предстоящих в 1980 году в Москве очередных летних Олимпийских игр. Гигантский спектакль, с помощью которого жесточайшая в мире тирания хочет попытаться навести на свой звероподобный облик гуманистический грим, может быть сорван! Но это возможно только при условии объединения всех сил Свободы в разных концах земли. Хочу надеяться, что к такому бойкоту присоединятся и те, кто еще недавно страстно протестовал против участия в мировом чемпионате по футболу в Аргенти-

не. Если их совесть возмущается действиями военной диктатуры, существующей четыре года, то тем более она должна возмущаться диктатурой еще более беспощадной, за плечами у которой уже шестьдесят лет!

Я и мои друзья отрицаем насилие даже как метод сопротивления, мы признаем и применяем на практике единственную форму борьбы — борьбу идей. Но когда идея становится средством подавления и захвата, а не духовного и политического диалога, у нас остается последний вид полемики с нею — приговорить ее к общественной изоляции. Тогда она — эта идея — или задохнется в собственной пустоте, или в конце концов от этой пустоты рухнет.

Другой альтернативы нет!



Издательство ПОСЕВ

БОЛЬШОЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 1979 ГОД

**с 13-ю первоклассными репродукциями русских
православных икон, с полными святыми, Евангелием и
Апостолами на каждый день.**

Весь текст календаря, за исключением святцев, четырехъязычный — русский, английский, немецкий и французский. Календарь больше прошлогодного — 41 × 31 см (14" × 10"). Цена прошлогодня — 24 н.м. Оптовикам и церковным приходам — скидка.

POSSEV-VERLAG, Flurscheideweg 15,
D-6230 Frankfurt/Main - 80

Требуйте наш каталог!

Генеральному Консулу СССР в Гданьске

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

В последние дни мировое общественное мнение глубоко взволновано известием о процессе и приговоре к многолетнему лишению свободы доктора Юрия Орлова — заслуженного борца за права человека. Этот приговор свидетельствует, что торжественные обязательства, принятые Советским Союзом на конференции в Хельсинках, не соблюдаются. С приговором невозможно примириться: мировому общественному мнению не было представлено ни одного факта, подтверждающего вину д-ра Юрия Орлова. Единственная причина его осуждения — то, что он привлекал внимание общественности к фактам нарушения прав человека в СССР.

Трагическая судьба д-ра Орлова — прямое доказательство обожнования его критического мнения о том, как уважаются права человека и гражданина в СССР.

Мы, нижеподписавшиеся участники гданьских кругов польского Движения защиты прав человека и гражданина, глубоко потрясены приговором и через Ваше посредничество обращаемся к компетентным властям СССР с предложением о пересмотре дела д-ра Юрия Орлова. Мы надеемся, что пересмотр приведет к полному оправданию.

Будущее мира станет трагическим, если укрепится убеждение, что торжественные обязательства государств — всего лишь клочок бумаги, подписанный в пропагандистских целях, в то время как практические действия полностью противоречат взятым обязательствам.

От имени гданьских кругов Движения защиты прав человека и гражданина в Польше:

Петр Дык — член-основатель Студенческого комитета солидарности (СКС) Гданьска, Гдыни и Сопота

Александр Халль — член редакции «Братняка»*

Магдалена Модзелевска — член-основатель СКС Гданьска, Гдыни и Сопота

Аркадиуш Рыбицкий — член редакции «Братняка»

Ян Самсонович — ведущий Дискуссионного Клуба Движения защиты

Анджей Сломинский — член-основатель СКС Гданьска, Гдыни и Сопота

Тадеуш Щудловский — ведущий Консультационно-информационного пункта Движения защиты

Станислав Залуский — член Союза польских писателей

Гданьск, 7 июля 1978 г.

* Студенческий независимый журнал

Критика и библиография

МЕЖДУ ЛОЗУНГОМ И МУСОРЩИЦЕЙ

Светлое будущее — совсем не будущее. Вот всё то, что мы видим ежедневно, все мелочи, весь быт, вся эта «советская действительность», на которую, как известно, клеветают все, кому не лень и даже те, кому лень, — она и есть самый настоящий коммунизм. Никакие не «зримые черты» — просто «обыкновенный коммунизм». Эта мысль — может быть, и не самая главная мысль новой книги Александра Зиновьева, но она мне представляется тем стержнем, на который нанизан роман... Впрочем, роман ли? Если в «Зияющих высотах» — книге, построенной по типу античной сатиры (а отчасти и по типу раблезианской эпопеи-эссе — где Свифт, Платон, Марциал, Рабле, Щедрин, Монтень и Вольтер и еще неведомо кто на разные голоса разглядывают жителей Ибанска во всех возможных и невозможных измерениях), — если там сюжета как такового почти нет, то в «Светлом будущем» признаки романа как жанра выступают явно на первый план. Конечно, и здесь большую часть текста занимает то, что в поэзии называется «лирическими (или философскими) отступлениями» — но ведь «Дон-Жуан» Байрона или пушкинский «Онегин» тоже романы, хотя в первом из них отступления составляют около 70% текста, а во втором — около 40...

И, разумеется, необъятное количество идей, наблюдений, выводов охватить в рецензии невозможно, хотя они-то и составляют всё то, из чего складывается (прошу прощения за банальность!) эта энциклопедия советской действительности наших дней.

Но всё, затронутое в романе, сходится к двум грандиозным символам: один из них — это *Лозунг*. Его строят, ремонтируют, перестраивают, ломают несознательные граждане, опять ремонтируют, опять перестраивают... Как в

Александр Зиновьев. Светлое будущее. Lausanne. Ed. L'Age d'Homme, 1978.

«Зияющих высотах» вся жизнь общества вертится вокруг строительства Сортира, так тут — вокруг Лозунга. Ибо Лозунг — квинтэссенция того, теоретического коммунизма, которым и занимаются почти все действующие лица романа. А на другом полюсе — *мусорищица*, называемая «пьяной старухой», которая катит свою тележку сквозь всю советскую действительность, сквозь быт, сквозь героев... Это — символ того коммунизма в действии, в жизни, того, отнюдь не теоретического, при котором приходится жить, и тоже тащить свою тележку с мусором... Ибо каждый из нас — немного та самая старуха, которую никто полностью в коллектив так и не загнал; в этом, пусть мусорном, безнадежно нищем — но всё же персонализме — и есть слабая надежда на то, что «Светлое Будущее» не абсолютно, что оно разруσιμο... Ведь ниже старухи уж никого нет — а она всё же какая ни есть, но личность. И это в обществе, где «степень персонификации индивида зависит от уровня его социальной позиции», где чем ниже — тем неизбежнее нивелировка и обобществление духа...

Но обратимся к сюжету романа. Герой его — от лица которого ведется повествование — довольно высоко стоящий на социальной лестнице человек. Философ. Теоретик коммунизма. В общем один из тех, чей труд влит (не физически, конечно) в Лозунг. Он — либерал. Он — шестидесятник. И в момент, когда куций либерализм, вынесший его на своей мутноватой волне, уже становится nereкомендуемым воспоминанием, все страсти его направлены лишь на одно — пройдет или не пройдет он в член-коры. Характернейшее явление — герой рассуждает просто: лучше я буду наверху, чем какой-нибудь дурак или явный реакционер — ведь всё же я как-никак либерал... И шаг за шагом мы видим, что по сути этот порожденный хрущевскими оттепельными трюками либерализм и есть самое действенное охранительное оружие системы — ибо голый прямолинейный сталинизм (коммунизм в его классической форме) может, чего доброго, саморазоблачиться. А такие «ремонтники», как герой «Светлого Будущего», продлевают его существование. И если они кажутся опасными всяким Васькиным и Канарейкиным, то лишь потому, что те не о сохранении системы заботятся, а, не видя дальше своего носа, рвутся ухватить свое сию же минуту. Но его время прошло. Агонизирующей системе

не до либералов-ремонтников. Она рвется опять к незамутненному коммунизму, и если нет массовых репрессий, то лишь от боязни самих верхов — ведь теперь это коснется их самих... И вот ножницы: не сажать — значит сохранить следы «либерализма», сажать — можно привести систему к самоубийству... И всё же героя проваливают на выборах — не быть ему член-кором. Кончает самоубийством его дочь, не в силах вынести двойного существования, а более — того, что отец ее, как она в конце концов понимает, в свое время предал своего друга — Антона Зимина. Вот, собственно, и весь сюжет... Ничему не научился герой, хотя и всё понял... вернее, понимал всегда, лишь для удобства глушил себя лошадиными дозами самообмана. И после провала, после потери положения он всё еще надеется на что-то в смысле карьеры и уже в открытую все свои амбиции ставит в зависимость от выхода той самой книги Антона, из которой сам же высасывал разные мысли и на разгроме которой (уже о т к р ы т о м разгроме) надеется сделать опять свою сорвавшуюся карьеру. С либералом кончено. В духе времени герой полностью вливается в число Васькиных.

Интересно, что все, кто окружает героя: и Антон, и компания из Забегаловки — Безымянный (видимо, крупный физик) и Эдик, и Ребров, и собственные дети героя, — все так или иначе куда дальше зашли в своем отрицании системы, чем он сам. В этом смысле они все — рупоры авторских идей и мыслей. Хотя среди них подробнее всего изложены мысли Антона, пытающегося опубликовать на Западе свою книгу, но — тоже не без участия героя — издание ее всё затягивается... Он, конечно, не сотрудничает с ГБ, этот герой, нет, что вы! Просто то, что Щедрин формулировал как действия «по мере возможности», переходит в поведение «применительно к подлости». Обычный путь интеллигентшестидесятника: если не стал Антоном либо диссидентом, то так и «тащи свою бессмысленную тележку мимо них, сквозь них, в каком-то несуществующем для них разрезе бытия. Куда?» Этими словами заканчивается роман. В какое Будущее? Ведь его не будет, ибо оно уже давно — настоящее. Эта идея, высказанная Антоном, развивается на страницах романа многократно в разных направлениях. И истории иной, настоящей, у советского общества тоже нет — его история *на самом деле* та, что в газетах. Ибо мы — дикари,

выпавшие из современного мира в ту степень деперсонализации, которая сравнима лишь с бытием пещерного человека — коллективиста поневоле. Ибо коммунизм с его обезличкой и есть при всем социальном неравенстве — равенство в безликости каждого и всех. Это — социальная энтропия. А энтропия, как известно, есть норма, нормальное состояние материи. Антиэнтропийные факторы во Вселенной — жизнь и разум, как ее высшее проявление, духовность, как высшее проявление разума — легко разрушаемы. Сотворение мира — создание ноосферы, расширение сферы духовного есть процесс антиэнтропийный, как на низших физических уровнях концентрации энергии возникновение перепадов между сгустками энергий и энтропийной средой... Если энтропия, уравнивание — результат стихийного, естественного, если деградация и есть цель неуправляемых процессов, то понятию энтропии в информатике и в физике соответствует понятие Зла в философии или Сатаны в теологии. Равенство — социальная энтропия. Коммунизм — осуществление равенства (в смысле нивелировки разума и духа). Энтропия. Антагонист сотворению мира, Творцу его и, наконец, сотворцу — человеку — всё тот же хаос, та же энтропия, тот же Дьявол; как ни называйте это, смысл остается тот же: «Всё звериное — от естественности, всё человеческое — от Бога, то есть придумано», — говорит Безымянный.

Прометейство Солженицына, как и Антона, во многом с ним согласного, а во многом и полемизирующего, состоит именно в том, что они антиэнтропийны в духовном смысле. Советское сознание — «квинтэссенция серости», — а что есть серость? Среднесть, усреднённость, в конечном счете опять-таки всё та же нивелировка, всё тот же коммунизм. Так что, прав Зиновьев (в данном случае это высказано им через Антона), что серость — это норма. А норма она и есть всё, о чем только что говорилось... И борьба в ее крайних видах, которую предсказывает Ребров, и нарушение нормы, проявляющееся в самых разных видах протеста личности против системы, — всё это и есть нарушение нормы, серости, всё это — процессы антиэнтропийные. И лишь на них надежда. А для этого необходимо было сделать именно то, что сделал Солженицын: возвести «дело исторической памяти почти в ранг религии». Ибо когда память уничтожена, то будущего тоже нет, а есть лишь то Светлое Будущее,

которое уже давно Настоящее. И есть Лозунг — как основной символ этого Настоящего, — и есть «создание фундаментального коллективного труда о коммунизме» как частный символ этого Настоящего: ведь о написании этой «книги книг» всё время идет речь на страницах романа, как и о постоянных починках Лозунга...

А воз и ныне там. И действительность такова, что мы понимаем, почему об очереди за туалетной бумагой герой говорит на целую страницу, а о самоубийстве своей дочери — всего в пяти словах... Всё это ведь вполне сравнимые мелочи (а из них, по словам Безымянного, и состоит реальный коммунизм). И в дьявольском уравнивании, как альтернатива ему, есть «одна из основных тенденций коммунистического образа жизни — завоевать возможность в той или иной мере жить свободно от законов коммунистического образа жизни». Ибо для человеческого духа *естественно* не то, что является естественным, а то что «придуманно», то есть то, что, по определению автора, «от Бога». «Религиозное, то есть нравственное, сознание» (слова Безымянного) и есть основа цивилизации, которая не может быть построена на крови жертв (четкая параллель со «слезинкой ребенка» у Достоевского). И никакая наука не поможет в борьбе с реальным или с теоретическим коммунизмом (с марксизмом, в частности), ибо он — не наука, а лишь идеология. И бороться с ним оружием науки — бессмысленно, как плевать против ветра: он идеология и только. «И уличить его в научной несостоятельности нельзя», — ибо он только притворяется наукой. Что же делать? На этот вопрос отвечает Антон: «Идеологию бьют фактами той реальности, которую освящает идеология». Факты. Вплоть до отсутствия колбасы, которое так волнует жену героя. Потому-то книги Солженицына и «нанесли гораздо более сильный удар по марксизму, чем усилия всех критиков марксизма за всю историю вместе взятые». И только на таком пути можно выработать новую идеологию, которая выведет, может быть, Россию и весь мир из того состояния между Рабле и Кафкой, между Лозунгом и Пьяной старухой, в котором он пребывает. И прав Зиновьев, уже не в книге а в своем интервью, данном перед отъездом из Москвы, что Запад недооценивает интеллектуальную опасность, идущую из СССР, духовную опасность, которая страшней даже военной: ведь строительство

ибанского Сортира или московского Лозунга — дело, на которое очень легко настроить массы, ибо усреднение и социальная энтропия идут вслед за энтропией духовной, и то, что создается веками, разрушить можно очень легко и быстро. Ибо человеческое, духовное, то, что от Бога, растет лишь благодаря труду многих поколений, а природное, хаотическое, — оно всегда тут как тут. Ломать — не строить. А стройки Лозунгов и есть ломка Духа. И отбросить человечество к первобытному коммунизму (а он всегда первобытный!) можно за срок, вполне сравнимый с атомным взрывом, — годы мало отличаются от секунд в масштабах вечности...

Вот потому-то мне и представляется, что со времен Бердяева не было у нас столь глубоких философских произведений, как этот «роман»...

Василий Бетаки

О ЛЮДЯХ — С ЛЮБОВЬЮ

Андрей Седых — последний ныне здравствующий наследник плеяды выдающихся русских прозаиков Серебряного века. Не случайно судьба свела его в молодые еще годы с такими гигантами русского слова, как И. А. Бунин и А. И. Куприн; Седых, безусловно, многому у них научился. И то, что один из сборников рассказов этого писателя открывается предисловием Ивана Бунина, первого русского Нобелевского лауреата, написанным в 1948 году, говорит о многом.

Нельзя сказать, что сюжеты «Крымских рассказов» отличаются изощренной закрученностью ситуаций и положений. Нет, в историях, рассказанных Андреем Седых, ничего сногсшибательного нет. Вот мальчик Яша в одноименном рассказе вышел прогуляться в только что справленном ему родителями первом настоящем костюмчике («самое важное — это длинные брюки со складкой, совсем, как у взрослых»). И, как водится, первый же встреченный им дружок вовлек Яшу в авантюру, для костюмчика закончившую-

Андрей Седых. Крымские рассказы. Нью-Йорк, 1977.

ся самым печальным образом... А вот школьники, облагодетельствованные знаменитым борцом-силачом, «чемпионом Украины» Стыцурой, попадают в цирк, да не просто в цирк, а за его кулисы, до выхода на арену остаются считанные мгновения, впереди Яшу ждет бессмертная слава циркового борца, но... Внезапно в цирке во время генеральной репетиции появляется Яшин папа. «Он стоял и молчал, и я молил Бога, чтобы сейчас, сию минуту, крыша цирка обрушилась на нас, только чтобы все скорее кончилось. Отец внимательно поглядел и, наконец, тихо и просто сказал:

— Сынок, пойдем домой. Одевайся.» («Парад, аллэ!»)

Вот еврейские мальчики-гимназисты явочным порядком осуществляют свое право на исполнение завета предков — праздновать Пурим два дня, а не один, как это было заведено в гимназии. «После урока Яша собирает четырех евреев-товарищей из своего класса. Они долго шепчутся, разрабатывая военную стратегию. Сомнений быть не может: в книге царицы Эсфири черным по белому сказано: «Пурим надо праздновать два дня».

Вот почему в пятнадцатый день месяца Адара, во время утренней переклички в Казенной мужской гимназии классный наставник отметил в кондуите незаконное отсутствие пятерых учеников иудейского вероисповедания». Начальство же гимназии делает соответствующие выводы («Пурим»).

Или вот пылкий роман юноши с замужней дамой... («Ольга»). Такие всё знакомые ситуации, так многими из читателей пережитые лично. В этом, пожалуй, и заключается секрет обаяния прозы Андрея Седых — в узнаваемости, в том, что читатель так естественно, так непринужденно обретает себя, свою молодость, свой собственный житейский опыт на страницах «Крымских рассказов», таких по-хорошему сентиментальных, всегда приправленных доброй грустью и в меру сдобренных незабываемым южным юмором. Инспектор гимназии требует от еврейских учеников, прогулявших занятия во второй день праздника Пурим, «удостоверение от казенного раввина». Яша таковое получает, и «вот что гласило послание прославленного реб Пер-шица:

«Господин Инспектор!

А что касается того, что Шишим Пурим действительно празднуется в некоторых городах, то с совершенным почтением,

Казенный Раввин
Григорий Яковлевич Персиц».)»

Или вот в трагическом, в общем, рассказе «Наполеоновский коньяк» встречаем такую сцену. Власть в городе захватили красные, «пошли аресты. Когда забрали кладбищенского священника, отца Феодора, бабы на Базарном привозе устроили бунт... В полдень сотня разъяренных баб двинулась в город, к Комендантскому управлению, у ворот которого дежурили моряки с пулеметами». А надо сказать, что «комендантом города стал косоглазый матрос Петька Новиков, — тот самый Петька, который так виртуозно свистал в детстве». И вот — «На крики толпы Петька вышел на балкон. Бескозырка его была сдвинута на затылок, у пояса болтался наган, и весь вид свидетельствовал о том, что он твердо решил защищать завоевания революции. Мать коменданта, старуха Новиковша, подбоченилась и завопила из толпы истошным голосом:

— Петька, идол косоглазый! Комендант, мать твою так и сяк... Отпусти батюшку, или я, туды тебя и сюды, всю морду раскроваю!

Петька стоял на балконе и кусал губы. Это был явный подрыв престижа советской власти. Побелев от злобы, он начал кричать в ответ:

— Мамаша, вас лично попрошу разойтись... Мамаша, разойдитесь!»

Но сами по себе жизненные ситуации, пусть даже и чрезвычайно выигрышные, перенесенные на бумагу, не становятся непременно фактом литературы. А у Андрея Седых, отметим еще раз, и ситуации-то взяты едва ли не нарочито избитые, ходовые, знакомые. Тем не менее, его проза — это Проза. В чем же тут дело? А в том, по-видимому, что писатель обладает удивительно чутким глазом, умеет замечать и схватывать тонкие, не писателю незаметные детали и нюансы, и с помощью таких «мелочей», используемых им всегда с чувством меры, Седых создает в своих рассказах очень верную психологическую атмосферу происходящего.

Буквально несколькими штрихами он создает выразительнейшие портреты героев и даже совсем уж эпизодических, «проходных» персонажей, типа того портного, что шил тот самый первый костюмчик для Яши:

«Кравец шил костюм долго, месяца два, — торопиться было некуда. Приходя на примерку, он сначала долго пил чай и жаловался, что приклад опять вздорожал, потом разворачивал кусок грубого коленкора, в который был завернут «костюмчик», и начинал творить: с остервенением вырывал какие-то наметанные белые нитки, с треском отпарывал воротник, вытаскивал изо рта булавки (а что, если он их случайно проглотит?) и, как Микельанджело, любующийся своей работой, отступал на два шага, жмурился от восторга и говорил:

— Жених. Ей-Богу, совсем жених. Мадам, взгляните на эту работу и на мальчика. Не костюм, а взвейтесь соколы орлами! Чтобы ты мне был здоров!» («Мальчик Яша»).

Андрей Седых обнаруживает и очень тонкое чутье на слова: им в его произведениях всегда комфортабельно — и не тесно, и не просторно. Безукоризненная русская литературная речь писателя всегда к месту и вовремя оснащена словечками местными, диалектными, жаргонными, так что создается речевой портрет не только каждого отдельного лица, но и среды, общества. В рассказе «Колесо фортуны» двенадцатилетний мальчик купил билет лотереи-аллегри и выиграл не что-то полезное и нужное для человека его лет, как то: «коробку оловянных солдатиков, бумажного змея с большим хвостом и трещоткой или футбольный мяч», но нечаянно-негаданно отхватил главный приз этой злосчастной лотереи... дойную корову. И вот несчастный призер вынужден вести буренку на веревке за собой через весь город, кого только ни встречая на своем пути, к пущему своему огорчению. Тут автор просто не вправе останавливать течение сюжета на каждом шагу и подробно описывать и охарактеризовать каждого встречного-поперечного. В его распоряжении лишь одна-две реплики, брошенные каждым прохожим. И любая из этих оброненных фраз чудесно оборачивается объемным образом того или иного персонажа.

И. А. Бунин еще об одной из первых книг Андрея Седых с изумлением говорил, что «так отлично написана была она, так легко, свободно, разнообразно, без единого

фальшивого слова, с живыми лицами, с присущим каждому из них языком». Уже тогда, по замечанию Ивана Алексеевича, критика, как известно, сурового, творчеству Андрея Седых были присущи такие качества, как «юмор, живость, умение схватывать на лету всё, что попадет в поле его наблюдений, мгновенно пользоваться схваченным...» В рассказе «Цирк», который, по замечанию автора «Темных аллей», Андрею Седых «удался не хуже Куприна, даже лучше», И. А. Бунин восторженно отмечает не только «непритязательность и жизненность», но и то, что Нобелевский лауреат называет «лингвистикой» Андрея Седых, то есть «богатство говоров, жаргонов, которыми в таком совершенстве, так безошибочно, так точно владеет он».

Все эти качества Андрей Седых не просто сохранил, но и развил, чему свидетельством сборник «Крымских рассказов». Когда-то, верю, наступит такой день, когда дойдут до отечественного читателя книги русского писателя Андрея Седых, как не так давно дошли книги его учителя Ив. Бунина, и станут его книги на библиотечных полках России рядышком с книгами Куприна, Бабеля, Паустовского...

Вик. Соколов

«ОТ НЕ СЕБЯ УБЕРЕГИ»

Игорь Бурихин — питерский поэт. Ученик Татьяны Григорьевны Гнедич и Ефима Григорьевича Эткинда — основателей современной школы поэтического перевода. Бурихин — переводчик Новалиса, одного из труднейших для перевода немецких классических поэтов-романтиков. Собственные стихи Бурихина в СССР никогда не публиковались. На Западе он печатался во всех значительных русских журналах. В течение последних двух лет большие циклы его стихов были опубликованы в журналах «Континент», «Грани», «Вестник русского христианского движения», «Время и мы». Литературная судьба поэта Бурихина — типичная судьба сегодняш-

Игорь Бурихин. Мой дом — слово. Изд-во «Третья волна», Париж, 1978 г.

него русского интеллигента. Такого, который остается самим собой, несмотря ни на что. Как писал он в одном из своих стихотворений:

Дай Бог меж слова и стихии
всему что будет вопреки
не славить бедствия лихие,
не проклинать века глухие,
не бросить тонущих руки и
от не себя убереги.

Быть самим собой. Всегда. Во всем. Вот то, чего он требует от себя и своей поэзии. Книга «Мой дом — слово» — это единый, тесный цикл стихов, в котором, как это повелось издавна, автор просто делится своими впечатлениями от путешествия в Центральную Россию и Среднюю Азию. Но это — внешне. На самом деле — всё, что увидено по пути, почти не отразилось в этих стихах — всё внешнее лишь повод для размышлений о жизни, о *тайнах* мироздания, о *явном* в действительности... И пусть хоть сто раз это назовут клеветой на сию пресловутую советскую действительность, поэт ею непосредственно просто не занимается. Ибо внешнее — приходит и уходит, мелькает, как пейзажи за окном вагона, а душа человека — всегда при нем:

И силой ветра разрывая цепь
пережитого — от любовных кляуз,
до облеченных властью угроз
как на свечу лечу я изумляясь
на тополя, забывшиеся в рост...
покуда ночь не позовет к ответу
еще на непоставленный вопрос,
И память в бездну упадет отверзту
под вопиющих перезвоны звезд.

Интересно, что последние строки, своим слегка архаическим тоном напоминающие звучание философических од Державина, легко и естественно сочетаются со строками, звучащими вполне современно. И это не эклектика, это попытка соединить все богатство опыта, накопленного за два с половиной века русской поэзией — одной из самых юных, но и самых богатых поэзий мира. Бурихин легко переходит от торжественного металла одических строк к лирической

мелодии или к бытовому разговору с читателем: разговорность эта усилена приемом переноса из строки в строку — и вместе с тем лиризм не утрачивается — вот воистину единство противоположностей!

Двое святых идут по дороге —
Две колеи подымаясь в небо
за руки взявшись. Бориса и Глеба
Церковью замерли. Да убоится
в поле ищущий их убийца.
Ибо, где двое назвали имя
Господа, смерть уже между ними
только метнулась стрелою ватной...

Так две колеи дороги вызывают ассоциацию следов двух человек, след уходит за горизонт — словно бы *в небо*. Далее работает воображение автора и читателя: за горизонтом вот-вот возникнет церковь ...след... двое святых... след уходит *в небо*. (Рифма подсказывает имена святых!) И вот закономерная концовка стихотворения:

Пусть и мне простится,
как богословам от атеизма
церковь, воздвигнутая капризной силою слов.

Эту веру в безграничную мощь слова я бы назвал одной из самых главных национальных черт русской поэзии. В этом Бурihin — поэт в самом прямом смысле национальный. Ни в одной из поэзий мира нет такой убежденности, что

«словом можно убить, словом можно спасти,
словом можно полки за собой повести»

— как писал некогда Вадим Шефнер. Ведь недаром самое популярное из Евангелий на Руси отвеку было Евангелие от Иоанна, так и начинающееся: «В начале было Слово, и слово было у Бога, и Слово было Бог».

«Мой дом — слово» — говорит Бурihin в названии своей книжки. Нет ни стен, ни крыши, бездомность странников и калик перехожих отвеку на Руси почиталась признаком святости. И всё, что видит странник, всё становится — капля за каплей — частицами духовного богатства личности, а через нее (не наоборот!) — частицами богатства

народа. Но личность — в основе. Персонализм — это диалектическое сочетание индивидуализма и общности сознания, не впадающее ни в одну из двух крайностей. Именно это сознание своей «нераздельности и неслиянности» с родиной и есть главная нота поэзии Бурихина. Поэтому описания виденного не могут быть последовательными по связи образов, они последовательны в другом — в связи ассоциаций, возникающих у автора в сознании:

...За озноб от ночного паромы
получая в песках не людскою сторицей, а зноем,
оппадающим в ночь, как с обрыва сухая порода
продолжает шуршать под ногой проползающим змеем...

Тут не описание азиатской ночи — тут попытка выразить невыразимое — душевное состояние в этой безнадежной азиатской ночи, которая становится символом жизни...

Натерпевшись в ночи христианского срама и страха
полагая, что так можно стать, наконец, иностранцем,
путник вспомнит, что здесь он — слеза на реснице Аллаха
и вернется в себя, как улитка в молчание, танцем...

И поэма «Жалоба на времена года» — монолог — вернее, два монолога, внешне подхватывающие и развивающие пушкинское элегическое «иных уж нет, а те далече», — это поэма об одиночестве, о том, как круг друзей, которым только и жива душа, как этот круг рассыпается... И нет лучшего — верней, более подходящего — места, более соответствующей сцены для этого внутреннего действия, чем пустыня. Пустыня вырастает в символ одиночества. Пустыня, которая когда-то была орошена, где были некогда цветущие сады... Засыпано всё песком... Вот так же и память засыпает песком жизни... Вместе с тем, написано это сугубо разговорным, прозаизированным тоном, и контраст этой интонации с возвышенным духом стихов как бы сталкивает нестолкиваемое, совмещает несовместимое...

Рядом, в одних и тех же строках — скрытая цитата из Библии и бытовая речь, музыка и прозаизмы — поэма пестрая как жизнь, но в этой пестроте — есть свой строй, свой порядок:

Как много в жизни чуждого душе.
Как мало нужно — меньше, чем друзей,
оставленных по миру для скитаний.
Кто крест несет, а для кого креста нет,
И в них себе не нахожу я места.
А к осени уже пройдут аресты
И в государство, мыслящее лесом,
я возвращусь мятущейся щепой...

Государство, мыслящее лесом, — именно в этом масштабе, где личность — ничто, щепка, теряется все человеческое. Потому этой муравьино-коллективной жути противостоят все странники, все бродяги, все, кто сохранил свою личность, ибо для них — для нас — как для автора «дом — слово». Потому, что оно, Слово, было в начале и оно же — в конце всего, что есть душа, и потому всего, что есть поэзия.

В. Волков

ИНСПЕКТОР КОНТРРАЗВЕДКИ

На обложке книги — рисунок Михаила Шемякина: загадочная фигура, с клювом галльского петуха, в голубоватом бесформенном плаще и такой же шляпе, с мрачным видом режет ножницами красные нити, по которым, как это очевидно, информация утекает к лубочно изображенному, отделенному, но страшноватому Кремлю. В аннотации к книге Пьера Левержуа «Я выбрал контрразведку» сказано: «Впервые инспектор контрразведки делится своими воспоминаниями, накопившимися за 30 лет службы».

Но это не просто «жизненные мемуары» некогда молодого инспектора французской полиции, который в 1948 г., выдержав положенные экзамены, поступил на службу в ДСТ (Управление по наблюдению за территорией — короче, контрразведка), это еще и рассказ о деятельности советских шпионов во Франции, рассказ не бесстрастного наблюдателя, а активного участника борьбы с советским шпионажем.

Pierre Leverageois. J'ai choisi la D.S.T. Flammarion, Paris, 1978.

Борьбы, нередко горькой и разочаровывающей. Левержуа подробно описывает и дела, удачно закончившиеся разоблачением и арестом шпионов, и такие случаи, когда вслед за разоблачением оказывалось, что либо у шпиона высокопоставленные покровители во Франции, либо высшая французская администрация не рискует осложнять отношений с Советским Союзом.

В начале 60-х годов через одного из работающих на французскую контрразведку сотрудников КГБ стало известно, что симпатичный, добродушный, прекрасно говорящий по-французски директор Аэрофлота Сергей Павлов — офицер Главного разведывательного управления Советской Армии, а основное его занятие во Франции — сбор шпионских сведений о технических новшествах французской военной авиации. За ним была установлена слежка, и через некоторое время Пьер Левержуа и его коллеги смогли, наконец, поймать Павлова на месте преступления. В феврале 1965 г. Сергея Павлова арестовали в Париже, когда он вышел из ресторана, обмениваясь портфелями с другим советским агентом. У Павлова были обнаружены адреса шести французов, работающих на советскую разведку. В тот же вечер были арестованы и они. Премьер-министр Жорж Помпиду был с визитом в Иране, его замещал видный голлист, министр, бывший посол в Москве Луи Жокс. Дипломатического паспорта, а следовательно, и дипломатического иммунитета у Павлова не было, и ему грозила не высылка из Франции, а следствие, суд и тюремное заключение. Потом его можно было бы использовать для обмена, если бы в СССР был арестован француз. Но, приведя в растерянность сотрудников контрразведки, Луи Жокс постановил выслать Сергея Павлова на родину. «На другой день Павлова проводили в аэропорт Бурже, — пишет Левержуа. — Воображаю, как он хохотал над нами! И был совершенно прав. Нет ничего проще, чем заниматься шпионажем во Франции: самое худшее — домой отправят. Так чего стесняться?»

И беззастенчивый советский шпионаж во Франции произрастает. И советские шпионы нередко по-прежнему пользуются безнаказанностью и высоким покровительством.

В 1962 г. французская контрразведка получила сведения о том, что в НАТО орудует советский шпион, регулярно снабжающий Советский Союз военными сведениями перво-

степенной важности. Через год шпион был разоблачен: им оказался Жорж Пак, заместитель пресс-атташе НАТО, ранее занимавший высокие посты в правительстве и в Генеральном секретариате Министерства обороны, а еще раньше, в студенческие годы, — приятель Жоржа Помпиду (будущего премьер-министра и будущего президента Франции). Через несколько часов после ареста Жорж Пак дал подробные показания о своей работе на советскую разведку, начатой в 1944 г. по совету одного из друзей. В течение девятнадцати лет он передавал своим советским хозяевам данные об обороне Франции и ее союзников, информацию об экономике Франции, сведения личного и психологического характера о политических деятелях страны. Жорж Пак был самым крупным разоблаченным французским агентом, работавшим на советскую разведку, и, когда его процесс по делу о государственной измене начался, все ожидали, что он будет приговорен к смертной казни. 7 июля 1964 г. прокурор заявил, что в ходе разбирательства не обнаружено ни малейшего смягчающего обстоятельства. Суд, однако, не применил к нему смертной казни (что, в принципе, можно было бы только приветствовать: не забудем, что Франция — одна из последних стран Западной Европы, которая и до сего дня не отменила смертную казнь; ныне смертная казнь отменена даже в Испании, и Франция осталась в компании Греции и Турции). Жорж Пак был приговорен к пожизненному заключению, через пять лет этот приговор был заменен двадцатью годами, но не прошло и нескольких месяцев, как уже начали ходить слухи, что вскоре он выйдет на свободу благодаря заступничеству президента Помпиду. В мае 1970 г. Жорж Пак вышел на свободу, а еще несколько лет спустя Пьер Левержуа с недоумением и негодованием узнал, что бывший крупнейший шпион — снова на государственной службе и занимается вопросами французской экономики. «Он опять служил государству, которое столько лет предавал. — И Левержуа дает совет: — Не порывайте связей со школьными друзьями, они вам еще пригодятся...»

Раскрытие этих тайн, этих «секретов Полишинеля» принесло Пьеру Левержуа не только литературную премию Союза ветеранов, но и много горечи: на него обрушились упреки более «деликатных» бывших коллег, у отставного контрразведчика был отнят пропуск в помещения ДСТ.

Впрочем, Пьер Левержуа никогда не был стандартным контрразведчиком — и только контрразведчиком. Можно ли, выполняя подобную работу и храня свойственный Левержуа «политический нейтрализм», не оказаться перед лицом глубоких моральных и человеческих проблем? И Пьер Левержуа отдает свободное от службы время помощи беженцам и невозвращенцам из Советского Союза.

Страницы книги, посвященные трудной судьбе политэмигрантов, проникнуты активной любовью к людям. Покинув родину и оказавшись на чужбине, они навеки теряют свое прошлое, семью, друзей. «Даже если оставить в стороне политический смысл их поступка, — пишет П. Левержуа, — трудно не заметить, насколько этот поступок бесповоротен и драматичен. К тому же, многие из них сталкиваются на Западе с большими трудностями: незнание языка, отсутствие средств к существованию, отсутствие комитетов помощи и, наконец, главное — глубокая чуждость и обычаев, и социальной структуры. Там, на родине, всё как по струнке: государство распределяет и наделяет, и люди относятся к государству как к чему-то вездесущему и всемогущему». Запад же Левержуа сравнивает с морем, которое бывает то бурным, то спокойным, и каждый в нем барахтается, как умеет.

В первые дни пребывания на Западе беженцы — от радости, от полноты свободы — впадают в состояние опьянения. Но хмель быстро проходит, начинается критический период, когда нужно учиться плавать. А учиться трудно: эмигрант одинок или, по крайней мере, уверен в своем одиночестве. «Однажды я дал себе слово, — пишет Пьер Левержуа, — сделать всё, что в моих силах, протянуть руку этим отважным, не дать им захлебнуться в кризисный момент. Я дал себе это слово не потому, что меня обуревали политические страсти — на них я не способен, — а только потому, что речь шла о судьбе тех, кто, стремясь вырваться на волю, пошел на отчаянный шаг. Не знаю, хватило ли бы у меня смелости на такое, будь я на их месте. Я восхищаюсь ими».

Рассказ о книге Левержуа я хочу закончить эпизодом, на мой взгляд символическим. Советский офицер-невозвращенец, один из подопечных Пьера Левержуа, по его ходатайству был принят на торговый флот. Первая стоянка

судна была в Гамбурге, откуда «крестник» послал Левержуа открытку: «Сегодня, окончив работу, я пошел к командиру и спросил разрешения сойти на берег. Все кругом расхохотались, а командир сказал: — Раз работа сделана, какое мне дело до того, куда вы идете. Делайте, что хотите. — Так я начал учиться свободе».

Ф. Салказанова

ОТКАЗ ОТ ПОТЕРИ ПАМЯТИ

В Турине, во время «диссидентского Бьеннале», под вечер 1-го мая, я разговаривала с ребятами из «Лотта Континуа» — итальянской левацкой (не марксистской) группировки, в которой последнее время заваривается что-то наиболее интересное из всего, что я знаю во Франции и в Италии. (Вообще тема «Мои левые» ждет своего часа. Пока могу коротко сказать, что «мои» среди них — те, кто принял, а потом и понял, а потом и шире, не только в применении к нам, осознал слова Буковского: «Мы не из лагеря правых, мы не из лагеря левых, мы из концлагеря». В общем, «мои левые» — те, кто не боится быть обвиненным в том, что они «новые правые», что играют кому-то на руку, «льют воду на мельницу» и т. п. Если еще точнее — те, что почувствовали себя отдельными людьми, а не винтиками. Их немного, но такие есть и среди близких друзей, и среди случайно встретившихся. Однако вернусь к туринскому разговору.) Формально это было интервью, но по существу — разговор, очень личный, эмоциональный, в котором я узнала, наверно, не меньше нового, чем мои итальянские «интервьюеры».

В какой-то момент один из ребят сказал: «Понимаешь, мы же десять лет ничего не читали. Ничего — только политическую литературу». — «Не может быть, — растерялась я. — Как же так?» — «Вот так. Зато теперь я могу читать только русских писателей», — и он привел целый список от

Claudie et Jacques Broyelle. Le bonheur des pierres. Carnets retrospectives. Seuil, Paris, 1978.

Солженицына и Зиновьева до Шукшина и Распутина. Вся западная литература кажется ему неглубокой, плоской, духовно бедной. «Ну, а Фолкнер?» — робко вступилась я. «Да, Фолкнер — да». — «А Камю?» — продолжила я уже храбрее. «Да, Камю! — восторженно воскликнул собеседник. — Конечно, Камю».

Конечно, Камю. Нам, дорывавшимся до Камю в самиздате еще в начале 60-х годов, было ясно, что это наш писатель, что без него никак не обойдешься. Трудно было предположить, что для наших тогдашних ровесников на Западе и для нескольких следующих поколений это мыслитель проклятый, «правый», «реакционный». Чтобы заново увидеть истинное лицо этого одинокого бунтаря, мало было пройти через бунт против государства и даже против компартий, надо еще было взбунтоваться против организованного бунта, против бунта, расписанного по схемам, разложенного по полочкам, втиснутого в рамки крохотных, но не менее, чем компартия, тоталитарных троцкистских или маоистских группировок. Просто надо было взбунтоваться за свое право и за свою обязанность думать собственной головой. Только после этого, додумавшись до множества вещей, можно было вдруг увидеть, что для себя-то ты — первооткрыватель, но до тебя был еще кое-кто, говоривший — без отклика, в глухую пустоту — многое, что ты можешь теперь повторить как свое, а не как затверженную цитату. Кое-кто, и в том числе Альбер Камю.

Вот, примерно так я понимаю книгу Клоди и Жака Бруайель «Счастье камней», где мысли и высказывания Камю — как буйки на реке, указывающие фарватер. Но течет река сама по себе. И книга — не о Камю, а о самих себе. И о той бесценной банальности, о которой мы всё еще не устали твердить, — о чувстве личной ответственности.

«Надо прямо сказать: мы обманывались. А не: нас обманули... Жалкое нытье! «Нам лгали, нам не давали думать». Кто лгал, кто не давал? Сартр, Маркс, кто угодно, кроме нас самих. «Ах! Если бы меня не убедили, что советские лагеря, по существу своему, приемлемы, я бы вам показал, на какой бунт я способен. Я одного только и хотел: сопротивляться...» ...Или вот еще: «До Солженицына, до диссидентов мы не знали». А другие — наоборот: да мы всё это всегда знали. Так знали или не знали? А надо было бы

знать.» Анализируя модели сегодняшнего поведения вчерашних «обманутых», Клоди и Жак Бруайель анализируют свои собственные вчерашние «заблуждения» и обнаруживают, что заблуждения эти не были ничем иным, как *самообманом*, *самоослеплением*, *самоуспокоением*, бегством от реальной жизни, от страданий и присущего всякому страха смерти в теплый уют коллективной безответственности, в «счастье камней» («единственное наслаждение, о котором говорит Эпикур, состоит, собственно, в отсутствии страдания; это — *счастье камней*». Камю. «L'homme révolté»).

Первый решительный шаг Клоди и Жака — их, вместе с Эвелин Чирхарт написанная книга «Второе возвращение из Китая» (C. Broyelle, J. Broyelle, E. Tschirhart. Deuxième retour de Chine. Seuil, Paris, 1977), строгое, подробное и правдивое описание всего, что они увидели и поняли за два года работы в Китае. Но вставал новый вопрос: а раньше-то? А раньше, до второго, длительного пребывания в Китае, даже без него и без короткого первого, всё всегда было до конца ясно, истинно, несомненно?

В одной из дневниковых тетрадей (книга носит подзаголовок «Ретроспективные дневники» — тетради этих дневников заполнены постоянной переброской из прошлого в настоящее и вновь из настоящего в прошлое) приводится «диалог в четыре голоса» бывших маоистских активистов, таких же, как Клоди и Жак. Один из них твердо констатирует: «У нас у всех был опыт, исходя из которого мы могли — логически должны были — поставить группу (т. е. работу и принципы маоистской группы, к которой они принадлежали. — Н. Г.) под сомнение... Но нам не хотелось идти в наших вопросах до конца. Иногда случалось говорить: «Смотри-ка! рабочие тоже бывают эгоистами» или же: «Парни больше интересуются девчонками, чем классовой борьбой». Но тут мы и останавливались. Зато, едва удавалось краем уха услышать на заводе мятежную фразу, ее тут же включали в итог: «Массы решительно полны безграничного энтузиазма по отношению к социализму»...»

Не доводить до конца собственных вопросов (не говоря уже о поиске ответов), преданно душить в себе зародыши сомнений, не осмеливаться перейти дорогу и купить в книжном магазине иные книги, нежели положено (это я не разговор свой в Турине теперь припоминаю, об этом пишут Бру-

айель как о повседневном факте поведения «членов группы»), — вот воспитание себя в тоталитаризме, во имя «светлого будущего», во имя «счастья камней». Нет необходимости «ума искать и ездить так далеко», аж в самый Китай, чтобы понять собою самими себе самим навязываемую ложь. Достаточно было внимательно, не выезжая из Франции, читать того же самого Мао, чтобы увидеть фантастическое сходство, которое авторы книги демонстрируют теперь, между высказываниями Великого Кормчего и цитатами из «Майн Кампф». И даже искренность бывшего самообмана (самообмана, а не обманутости, но все-таки ведь искренность, из благих же побуждений) не становится для Клоди и Жака Бруайель извинением той слепоты.

Легко объяснять, что во всем виноват марксизм. Действительно, за цену послушного единомыслия он освобождает своих приверженцев от груза индивидуальной ответственности. Но, избавившись от марксизма, не слишком ли поспешно многие начинают винить лишь его и тем самым полностью оправдывать себя? А как, почему, зачем ты снял с себя этот груз, поверил во всевластие, всеведение и вечную правоту доктрины? И таким перекладываньем вины на чужие абстрактные плечи сохраняется дальнейший автоматизм поведения. Авторы книги спрашивают, почему французские левые (даже переставшие быть марксистами) и сегодня слишком часто заранее, ничего еще не узнав о существе дела, знают, где «правота», руководствуясь исключительно словами-сигналами. Один из примеров, который напоминают Бруайель, — дело Баадера и его «красноармейцев». Сколько фантазмов наплела левая пресса вокруг «фашистского характера западногерманского государства» и «психологической пытки одиночным заключением», и каково было всеобщее возмущение, когда левая же газета «Либерасьон» (сама, впрочем, слишком близкая к этим позициям) опубликовала простое описание камер в Штаммхайме, опровергавшее нагроможденные ужасы. И еще один аргумент левой прессы по отношению к баадеровцам: «их надо понять, а то и простить: что предлагают им в качестве идеала? Потребление и еще раз потребление! Не слишком увлекательно! Папочка-Государство, дай нам идеал...» Вот оно, стремление к нравственному иждивенчеству, когда смысл собственной жизни люди ожидают получить от кого-то, не затрачивая душевной

энергии, а в случае провала вина будет только на «поставщиках негодных идеалов».

Говоря о личной (и своей собственной) ответственности, Клоди и Жак Бруайель не ставят целью посыпать голову пеплом, бить себя в грудь и прилюдно каяться. Их исходная точка — «отказ от потери памяти». «Мы полностью отвергли социологические представления об Истории, в которых всё объясняется внешними обстоятельствами, детерминирующими действия и мысли каждого. В этом наш фундаментальный разрыв с марксизмом. ...Мы боремся против потери памяти, мы стараемся не приукрашивать собственную историю. И отказываемся согласиться, что только и должно было происходить, что происходило».

Эта книга — вызов (и не только левым, и не только французам) принять личное — не винтиком и не песчинкой — участие в истории, каждый раз заново (исходя из практики, а не из доктринальности и автоматизма) определять свои позиции, подвергать себя сомнению, отвергнуть счастье камней, «на которых воздвигают храмы, пирамиды, мавзолеи».

Н. Горбаневская

Коротко о книгах

ВАЦЛАВ ЧЕРНЫ

ПЛАЧ КОРОНЫ ЧЕШСКОЙ

Václav Černý. Pláč Koruny České. Sixty-Eight Publ., Toronto, 1977.

Выдающийся историк и теоретик литературы, автор многих фундаментальных работ по чешской и мировой литературе (в частности, одного из интереснейших исследований о «Бесах» Достоевского), профессор Вацлав Черны в своей книге «Плач короны чешской» выступает в роли историка как такового, летописца новейшего времени, а именно: антинацистского Сопротивления в оккупированной Чехословакии. Может показаться странным, что книга на такую тему должна выходить в самиздате и за границей, а не в обычном отечественном издательстве. Кто-то попытается объяснить это условиями «нормализации» и тем, что Вацлав Черны был одним из активных деятелей оппозиции, притом некоммунистической, в 1968 году. Но книга написана за пять лет до Пражской весны! И никогда не была — и не могла быть — издана на родине.

Книга Вацлава Черны опровергает одну из фундаментальных легенд коммунистического режима: легенду о преобладании и ведущей роли коммунистов в чехословацком Сопротивлении. Задача Черны облегчается тем, что в нем соединились талант и методологические данные историка с личным опытом участника Сопротивления с первого и почти до последнего дня (в начале 1945 г. он был арестован и освобожден в мае из гестаповской тюрьмы начавшимся Пражским восстанием). Поэтому «опровержение» легенды не есть голая полемика и отрицание всяких заслуг коммунистов — наоборот, проф. Черны всегда воздает им должное, как и другим соратникам по Сопротивлению. Однако достаточно известно, что коммунисты (и это не только в Чехословакии), связанные послушанием Москве и советско-германскому пакту, вступили в активное сопротивление только после

нападения Германии на Советский Союз. Надо сказать, что участники Сопrotивления в Чехословакии и до того принимали позицию Бенеша и смотрели на коммунистов как на неизбежных будущих союзников и уже в ранний период налаживали с ними отношения сотрудничества. Но это реализовывалось тогда исключительно в передаче через коммунистов в Москву разведывательных данных о немцах. Разведывательные службы чехословацкого Сопrotивления вообще были одной из сильнейших разведывательных служб в мире (они принесли огромную пользу всем союзным правительствам) и поэтому одной из важнейших составных частей Сопrotивления. Другой значительной компонентой чехословацкого Сопrotивления было сопротивление культурное — в нем участие проф. Черны было особенно значительным. Мемуарный сюжет книги развивается, главным образом, вокруг истории журнала «Критики месичник», но захватывает целый ряд акций иного рода и встреч со многими деятелями Сопrotивления. Исторический сюжет книги еще шире и позволяет увидеть полную, подробную и документированную историю всего Сопrotивления. К ряду сомнительных, искаженных коммунистическими историками фактов, таких, например, как история ареста, следствия и книги Юлиуса Фучика, Вацлав Черны подходит с точки зрения строгого исследователя и везде предпочитает точную постановку проблемы априорным выводам.

В своем горьком предисловии, написанном в том же 1963 г., Вацлав Черны писал, что взялся за эти заметки не из стремления к восстановлению правды, а только ради справедливости к погибшим: «Жизнь человеческая хоть в правде и *нуждается*, без правды жалко прозябает, но редко когда действительно ее *жаждет*, ей достаточно иметь впечатление или ощущение правды вместо правды самой, болезненно доискиваться правды ей чуждо». Однако восстановить справедливость было бы невозможно без восстановления исторической правды, а это, в свою очередь, возвращает людям и народу историческую память, стремление доискиваться или хотя бы узнавать правду — следовательно, и стремление воздать справедливость погибшим и живым. И, таким образом, книга Вацлава Черны обладает не одним чисто познавательным, но и этическим смыслом — в стране, где из

памяти народа стремятся искоренить реальность событий не только сорокалетней, но и десятилетней давности.

МИХАИЛ ХЕЙФЕЦ

МЕСТО И ВРЕМЯ

«Третья волна», Франция, 1978

«Читателю, живущему в мире не только иных цен, но иных ценностей, может показаться интересным, как именно его собственные (...) проблемы смотрятся отсюда, из тюрем и лагерей КГБ. Отсюда, где собраны националисты многих народов, (...) где интернационализм становится честным, лишь служа национальному делу, а национализм верен своим принципам лишь в бескорыстной интернациональной борьбе со злом. Отсюда, где вопреки заблуждениям и страстям, если мы честны, понимаем в конце концов, что мы — дети своего народа и что все-таки все народы Земли — одна семья». Так в коротком вступлении, предвещающем книгу, Михаил Хейфец, еще отбывающий свой срок по приговору Ленинградского суда, объясняет, почему он написал свою книгу и почему поставил подзаголовком ее — «Еврейские заметки».

Михаил Хейфец, будучи на воле, никогда специально не занимался национальным вопросом — что отнюдь не означает, что он над этим вопросом не задумывался. Но, во всяком случае, он был далек от того, чтобы посвящать ему серьезную часть своей жизни, — он литератор, занимался много историей, писал о литературе. Но вот волею судеб он оказался в лагере, там стал писать лагерные заметки, и не о том, что лагерь *отнял* у него, отнимает ежедневно, ежедневно, не о тяготах лагерной жизни, не о колючей проволоке, но о том, что лагерь ему *дал*. Говорить об этом и грех, и страшно, но подчас оказывается — а в книге Хейфеца и особенно ясно чувствуется, что при всей неоспоримой жути, которую несет в себе само выражение «лишение свободы», но когда речь идет о лагере советском, оно означает степень

свободы более высокую, чем за пределами лагерной ограды, в «большой зоне». В лагере есть принудительный труд, принудительный распорядок дня, принудительная замкнутость пространства, издевательская система наказаний — но все это, хотя и во много меньших дозах, существует и в «большой зоне». Мышление — в лагере раскрепощается. При том почти пещерно-скудном количестве информации, которое в состоянии советский человек получить на воле, он не может составить себе настоящего представления о тех процессах, которые происходят в сознании отдельных людей и целых народов, населяющих его собственную страну, живущих рядом с ним. Более того, он не в состоянии разобраться в самом себе, в своем отношении к великому множеству жизненных явлений, ибо сведения о них у него путанны, либо он попросту от них далек. Лагерь ставит человека лицом к лицу с личностными, национальными, историческими проблемами и вынуждает его выработать свое к ним отношение — эти проблемы наполняют его будни, не увидеть их он не может. Михаил Хейфец написал свои «Еврейские заметки» о лагере как жизненной школе — это почти студенческие конспекты: разговоров, размышлений, сомнений, впечатлений от встреч с людьми и прочитанных книг. Он увидел в лагере не только новых людей, с которыми никогда бы не встретился при других обстоятельствах, он увидел совершенно новые для него человеческие позиции, взгляды, мнения. Эта открытость автора заметок новым впечатлениям, новой информации не возникла случайно. Разумеется, во всех случаях он ее получил бы — она часть ассортимента принуждений, но Хейфец шел на это сознательно. Поняв, что, как ни глуп сфабрикованный над ним процесс, но лагерной пайки ему не избежать, он сделал то единственное, что, по словам бывших лагерников — Солженицына прежде всего — сохраняет в эке достоинство и силы выдержать страшные испытания — он отказался от всех надежд, он оставил свою свободную жизнь за порогом следственной тюрьмы, он принял свое лагерное существование как часть отмеренного и сужденного ему судьбой урока. Он отказывается просить помилования, как ждет того КГБ. Он даже прерывает свидание с матерью, приехавшей его уговаривать. Он включается в политическую борьбу, к которой на воле никогда не имел отношения, а, быть может, и тяги. Он подписывается под письмами про-

теста, присоединяется и объявляет голодовки, несмотря на слабое здоровье; он хочет побывать на самых разных лаг-пунктах, в разных условиях, с разными людьми. Он не отбывает срок — он исследует; он прививает себе лагерь, как ученый прививает себе вирус смертельного заболевания, чтобы найти противоядие. Можно соглашаться и не соглашаться с отдельными мнениями или утверждениями Михаила Хейфеца, но невозможно усомниться в том, что перед нами человек огромного мужества и чистоты.

Л. ФЛЕЙШМАН

СТАТЬИ О ПАСТЕРНАКЕ

K - Presse, Bremen, 1977

В небольшой книге собрано несколько работ и публикаций выпускника Латвийского и профессора Иерусалимского университета Лазаря Флейшмана, одного из представителей младшего поколения советской структурно-семиотической школы. Работы Л. Флейшмана, в основном, связаны с ранним Пастернаком. Статья «К характеристике раннего Пастернака» исследует философские корни поэта и ставит под сомнение близость Пастернака к марбургской школе Когена. Анализ тезисов доклада «Символизм и бессмертие», впервые публикуемых здесь же, приводит исследователя к выводу о том, что философская ориентация поэта связана с феноменологией Гуссерля. В поэзии и прозе Пастернака это находит выражение как «субъективность объективного», поворот к «вещному миру» природы, по выражению Синявского, переименовывающей роль поэта. Статья «История Центрифуги», рассказывая о реализованных и нереализованных издательских проектах этой футуристической группы, в которую входит Пастернак, прослеживает специфическое положение, которое занимал поэт в Центрифуге и вообще в футуризме, вплоть до его прихода к прямому антифутуризму. Статья «Автобиографическое и «Август» Пастернака» посвящена двум различным — в «Охранной грамоте» и в «Автобиогра-

фии» 1956 г. — описаниям одного и того же эпизода пастернаковского детства, «неожиданной автобиографической подоплеке», которую Л. Флейшман обнаруживает в стихотворении «Август». Среди публикаций, кроме названных тезисов доклада, напечатаны семь фрагментов «Детства Люверс», не вошедших в окончательный текст, и утопический трактат «Диалог» (1918). Исследователь считает «Диалог» наиболее четким изложением социальных воззрений поэта, выдержанных в русле концепции «естественного права» Е. Н. Трубецкого и русской «толстовской» традиции.

ГЕНРИХ САПГИР

СОНЕТЫ НА РУБАШКАХ

«Третья волна», Париж, 1978

Генрих Сапгир — один из самых популярных поэтов среди детей дошкольного возраста. Два десятка книжек для малышей — и блестящих книжек — позволяют сказать об этом поэте, как о достойном продолжателе той традиции, которую в русской поэзии установили Корней Чуковский и Самуил Маршак. (Правда, последний так старательно начинал малышей принудительным ассортиментом идеологии, что во многом обесценил тем свой талант.) Но всё же та традиция детской лукавой и странноватой поэзии, которая создалась в результате скрещивания народной русской лубочной песенки с английским классическим «нонсенсом», нашла себе достойного наследника в лице Генриха Сапгира, как, впрочем, в лице Бориса Заходера и еще нескольких талантливых поэтов, эмигрировавших в детскую литературу, так же, как в поэтический перевод, так же, как иные прозаики философского духа — в научную фантастику. Не было бы счастья, да несчастье помогло — едва ли наши дети получили бы столь первоклассную поэзию, если бы поэты «абсурдистского» образа мышления имели возможность печатать всё то, что они пишут, не выставляя щита детскости...

Однажды писатель Юрий Герман — весьма верноподданнический и в меру продажный, — прийдя к великому драматургу Евгению Шварцу с завистью сказал, что ему, Шварцу, дескать легко живется — все сказки да сказки пишет. Шварц на это возмущенно заметил: «Это я-то пишу сказки? Да это вы — все пишете сказки!»

Что же касается поэта Генриха Сапгира, то сказки сказками, а лирика его в СССР не публикуется совсем. И первая книга (говоря о стихах не для детей) вышла только на днях, в Париже. Называется она «Сонеты на рубашках».

Сонеты эти ироничные, порой откровенно сатирические, порой с некоторым метафизическим оттенком, порой с явной пародийностью. Но почему же все-таки автор свои сонеты — тип стиха наиболее торжественный, наиболее классический, обязывающий к философскому содержанию, — не на бумаге, а на рубашках написал? Да именно для контраста философского содержания с бытовой подачей его. Это как бы говорит нам о том, что и в низменной бытовой — даже не очень чистой и заношенной советской действительности есть всё же высокий дух и глубокая философия, как под маской шута некогда скрывался горчайший лиризм...

Это понятно. Иное дело, что «вещизм», как назвал это направление сам Сапгир, направлением не стал, есть лишь факт индивидуального приема, и пусть хоть сто поэтов испишут свои рубашки одами, частушками или поэмами, они окажутся лишь подражателями... Да и сама поэзия не станет от этого более «вещной». Стих останется стихом. Слово — словом. И говорить об этих сонетах лучше именно как о сонетах — о поэзии прежде всего философской, хотя тут в четырнадцать строках уживается и бытовая сатира, и философские размышления, и политический памфлет...

...Нет радости, нет совести, нет мира,
Нет уваженья к своему труду,
Нет на деревне теплого сортира,
Нет урожая в будущем году.
Но есть консервы «рыбные тефтели»,
Расплывчатость и фантастичность цели,
Есть подлость, водка, скука и балет...

Такой сонет — будь он хоть на рубашке, хоть на бумаге, — едва ли цензору понравился бы... И когда в соседних строчках совмещены «рыбные тефтели» с «расплывчатостью и фантастичностью цели», к которой гонят наше общество, — то, кроме подлости, водки, скуки да еще балета на экспорт, действительно, едва ли что можно обнаружить...

Но дело далеко не в одном содержании. В цикле лингвистических сонетов автор сталкивает звучания одного и того же понятия в разных языках и из этого — вроде бы сугубо формального — приема является нам мысль. Так, в сонете «Огонь» — это из звучания слов выведенная старая вроде бы, но и поныне требующая доказательств мысль многих историков о том, что германцы и славяне в первых веках нашей эры были одним, единым народом. Поэт доказывает эту истину хотя и шуточно, но весьма изобретательно и убедительно:

Я слышу вой враждующих племен:
Из глоток: файер, файз, флама, пламя,
Мы были ими, а германцы — нами,
Смерд сел на Пферд, а конунг — на комонь.
Ты, я, они — из одного зерна.
Я вижу лоб священного слона,
Лингвист укажет множество примеров,
Латинский игнис и огонь — в родстве.
И на закате окна по Москве
Как отблеск на мечях легионеров...

Вот вам и старый афоризм — Москва — Третий Рим, он, вроде бы, запрятан в эти строки... И много еще серьезных и глубоких обобщений в этих сонетах. На то они и сонеты... А рубашки? Рубашки совсем не обязательны, тем более, что они намного дороже бумаги, которую ведь можно добыть по блату...

ЛЕОНИД БОРОДИН

ПОВЕСТЬ СТРАННОГО ВРЕМЕНИ

«Посев», Франкфурт-на-Майне, 1978

Книга объединяет пять повестей, одна из которых дала ей общее название. Но это общее название — не просто самое удачное по звучанию: все повести — содержат конфликты нашего странного, странного времени, снаружи и изнутри опутанного колючей проволокой. Странное время, в котором один из двоих, убежавших из вражеского плена, не может и не хочет принять свободу из рук другого, потому что узнает в нем бывшего начальника лагеря, унизившего его когда-то до тоскливой невозможности жить дальше; и только в последнюю перед расстрелом минуту, уже под вскинутыми дулами немецких автоматов, понимает он, что обозначился. Странное время, при котором сын выдает собственного отца, бежавшего из лагеря, не зная, что это — отец. Странное время, никого не освобождающее от вины, как от обязательной повинности, никого не оставляющее в стороне от путей греха и крови, наказывающее детей за грехи родителей и стариков — за грехи молодых. Леонид Бородин пишет не просто о тех или иных событиях, способных лечь в основу литературного произведения, но о неисповедимых путях вины и расплаты. О том, что вина, как и расплата, может быть неожиданной, фатально-неизвестной, словно вложенной извне в человеческую судьбу. Извне — временем. Время таково, что повязывает все и всех в один запутанный узел, в котором нет ни начала, ни конца. Время, вкладывающее в каждую судьбу метастаз обреченности. А гигантская ядоносная опухоль — это порядок, уклад, быт, который стал законом для огромной страны несколько десятилетий тому назад и вырастил за это время уже несколько отравленных поколений.

Бородин берет, как правило, исключительную, крайнюю ситуацию, но показывает ее возникновение как органическое, естественно вытекающее из общих обстоятельств прошлого и настоящего. Словно возможность такой ситуации, до поры до времени никак не проявляясь, незримо присутствовала в

жизни того или иного персонажа, ожидая своего часа. Ибо все они — дети своей земли, своего общества, своего времени, и симптомы общего для всей страны заболевания естественным образом проявляются в жизни и судьбе отдельной личности. То, что при других обстоятельствах, при других порядках, могло бы выпасть на долю человека с очень малой вероятностью, при исторических катаклизмах, происходящих не чаще, чем раз в столетие, в реальности советской становится почти нормой, почти бытом. В той жизни, которую рисует на страницах своих повестей Леонид Бородин, не существует покоя, размеренности, которые позволяли бы людям увидеть мир вокруг, осмыслить его, определить свое место в нем. В мире — мироздании. Его герои живут в постоянном напряжении душевных и физических сил, и именно это напряжение стало для них нормой. Маленькие, незримые войны идут вокруг, и линией фронта взломаны души. Взрываются заржавевшие мины, раны родителей калечат детей, не остается ничего прочного, на что можно было бы опереться, в этом странном, страшном времени.

УСТАМИ БУНИНЫХ

Дневники

Том I. Под редакцией Милицы ГРИН

«Посев», Франкфурт-на-Майне, 1977

Трехтомник бунинских дневников только еще начал выходить — пока издан лишь первый том, охватывающий дореволюционный период жизни Буниных и первые годы (включая 1920 г.) после революции. Последние записи первого тома относятся к первым дням эмиграции.

Интересно в этом издании прежде всего то, что Милица Грин объединила дневниковые записи Ивана Алексеевича с записями Веры Николаевны, переплетая их разные стилистические манеры. Записи, относящиеся к одному и тому же

дню, сделанные людьми столь разными и в то же время близкими, дают возможность читателю увидеть события как бы стереоскопически.

«Пробелы в дневниках одного заполняются другим и получается связанное повествование», — пишет М. Грин в предисловии к I тому.

Первая часть, названная составителем «До перелома», содержит большое количество материалов, подробно рисующих нам Бунина в процессе становления его таланта. Это период начала творчества и многочисленных путешествий — почти все европейские страны, Сирия, Палестина, Цейлон... И всюду мы видим мир то глазами порывистого, нетерпеливо-яркого Ивана Алексеевича, то спокойным, наблюдательным взглядом Веры Николаевны.

Последние записи этого тома сделаны уже в Босфоре.

Последующие тома, как сообщает М. Грин в своем предисловии, будут включать материалы, относящиеся к парижскому периоду жизни Буниных, ибо во время пребывания в Константинополе, а потом в Болгарии и Сербии, Бунины то ли не вели дневников, то ли эти записи не сохранились — ведь известно, что Иван Алексеевич порой уничтожал свои дневники.

Хотя вышел еще только один том, но уже ясно, что это ценное издание может внести немалый вклад в историю русской литературы одного из самых ее бурных и богатых талантами и событиями периодов.

ХАРТИЯ-77 — Чехословакия

КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОЙ САМОЗАЩИТЫ КОР — Польша

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошло 10 лет со дня, когда войска пяти стран Варшавского пакта оккупировали Чехословакию, чтобы подавить стремление ее народа к свободе. Оккупация остановила процесс демократизации в ЧССР — надежду всей демократической Европы. Во имя гуманистических ценностей чехословацкое общество создавало альтернативу тоталитарной системе.

В том же году было насильственно подавлено вольнолюбивое движение польской интеллигенции.

Прошедшие 10 лет ясно доказали — вопреки всем, кто восхваляет антидемократический порядок и отсутствие национального суверенитета, — жизнелюбие идей Пражской весны и демократических движений польского общества. За верность этим идеям многие наши сограждане заплатили и продолжают платить дорого: ценой исключения из общественной жизни, ценой потери работы, свободы, иногда даже жизни.

Постоянные репрессии — участь наших друзей, которые борются и страдают во имя тех же целей в СССР и других странах.

В дни десятой годовщины событий 1968 года, побратимы в защите правды, прав человека и гражданина, демократии, социальной справедливости и национальной независимости, мы заявляем о нашей общей воле сохранить верность этим идеалам и действовать в их духе. Неистребимое человеческое достоинство — ценность, которая наделяет смыслом жизнь человека и нации, — является источником наших помыслов и действий и порождает в нас глубокое чувство солидарности с многочисленными друзьями во всем мире, исповедующими те же идеалы.

КОММЮНИКЕ: В августе 1978 года на польско-чехословацкой границе встретились представители Комитета общественной самозащиты КОР и Хартии-77. Они обменялись информацией о своей деятельности, выработали совместное заявление к 10-й годовщине событий в Чехословакии, а также обсудили формы дальнейшего сотрудничества.

По страницам журналов

«ВЕСТНИК РУССКОГО ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ»

Париж — Нью-Йорк — Москва. Отв. ред. Н. А. Струве

№№ 112/113 (II-III 1974) — 124 (I 1978)

Внешне «незначительное», по выражению самой редакции, изменение в названии и выходных данных журнала, который со 112/113-го номера, сохраняя прежнюю тесную связь с Российским Студенческим Христианским Движением, перестал, однако, быть лишь «Вестником РСХД» и, прибавив Москву к двум прежним центрам своего издания, заявил себя ВЕСТНИКОМ широкого, не вмещающегося ни в какие организационные рамки духовного движения, — это изменение уже было подготовлено практикой предшествующих лет журнала. Уже года три-четыре перед тем «Вестник» нашел в России новых читателей и новых авторов, к богословским и историко-религиозным трудам прибавились материалы о судьбах России в самом широком плане: не только религии и Церкви, но и культуры, общественной мысли, прошлого и будущего развития страны. Вначале, может быть, это соединение не всем пришлось по душе — нередко были случаи, когда драгоценный экземпляр журнала рвали пополам, и первая половина, «богословская», обходила круг одних читателей, вторая, «общественно-политическая», шла по рукам других. Можно сказать, что этапный момент «незначительного» изменения в названии совпал с тем периодом, когда журнал, несмотря на сохранение прежних разделов, перестал так легко распадаться на две части. Читателям, всё более увлекаемым линией редакции, пришлось осознать духовную взаимосвязь проблематики и — жадно прочитывать каждый номер от корки до корки.

Этот «переломный» номер был в то же время первым после высылки Солженицына, и если сотрудничество «Вестника РСХД» с Солженицыным уже становилось тесным, то «Вестник РХД» печатает солженицынские тексты почти в

каждом номере. В их числе — и художественные произведения (главы из «В круге первом», «Архипелага ГУЛаг», «Августа 1914-го», лагерные стихотворения), и публичные выступления писателя на Западе («Третья мировая?..», «Обращение к Конференции народов, поработанных коммунизмом», «Выступление по английскому радио», «Две речи в Стэнфорде»), и интервью на литературные темы, данное специально для «Вестника», и — вероятно, самая живая, противоречивая, провоцирующая часть — солженицынские полемики с отдельными течениями и мнениями зарубежной России, будь то по церковным вопросам («Письмо Третьему Собору Зарубежной Русской Церкви», «Письмо из Америки»), будь то по общественным («Письмо П. Литвинову», «Письмо читателя»). И поскольку выступления Солженицына разжигают полемические страсти, вызывают на спор, «Вестник» широко предоставляет для дискуссии свои страницы. Несомненно, что «Вестник РХД» — самый близкий к Солженицыну по духу журнал, но эта близость, эта дружба существует без скидок с обеих сторон, и, когда Солженицын считает, что журнал серьезно ошибся, он заявляет об этом публично («Письмо читателя»), а когда редакция, при всем пиетете к писателю, занимает в споре противоположную позицию, она так же публично высказывает свое несогласие с ним (Н. Струве «По поводу 'Письма из Америки'»).

«Надлежит быть и разномыслиям» — цитирует однажды редактор «Вестника РХД» слова ап. Павла и говорит о том, что даже самые непреложные истины всем «предстоит открывать для себя, применять к вечно меняющемуся потоку явлений. ...Процесс открывания, сообразования истины с относительным неминуемо влечет и настойчиво требует разномыслия. Без него не выявиться самой истине, не стать ей жизненной и живой — и «не открыться искусным из вас». Разномыслие не противостоит истине, а участвует в ее становлении» (№ 114). Вот если не линия, то тональность «Вестника» — свобода духа, свобода мысли, свобода дискуссии. Если же попытаться определить «линию», «вехи», которые расставляет журнал, то это сбережение, возрождение и развитие всего живого и плодоносящего в русской традиции, в русской церковной и мирской культуре. И, конечно, обличение всего мертвящего — прежде всего, преступлений

советского режима: гонений на верующих, на «разномыслящих», на тех, кто смеет быть людьми в царстве винтиков.

Публицистика и особенно многочисленные самиздатские документы, опубликованные в «Вестнике», обличают мнимое отделение Церкви от государства в СССР, ибо это «уже не отделение, а пародия на него и насилие над Церковью и верующими силою принудительного государственного аппарата» (Василий, архиепископ Брюссельский и Бельгийский). Следует отметить, что, говоря о преследовании верующих, «Вестник» никогда не защищает одну лишь Русскую Православную Церковь, но пишет о литовских и молдавских католиках, баптистах, пятидесятниках, адвентистах, о Грузинской Православной Церкви. В этом журнал совпадает с устремлениями защитников прав верующих на родине, которые были открыто выражены в «Обращении членов христианских церквей в СССР в Президиум Верховного Совета» (№ 118) и стали основой деятельности Христианского комитета защиты прав верующих (начиная с № 120, «Вестник» регулярно печатает документы Комитета). А защищая Русскую Православную Церковь, журнал не сваливает всю полноту вины за нынешнее состояние дел только на безбожную власть, но не забывает о преступном соучастии слабых, а то и прямо негодных иерархов. И, быть может, сильнее прямых обличений звучит со страниц журнала пример мучеников, не славившихся давлению режима: Патриарха Тихона, архиепископа Астраханского Митрофана, митрополита Алма-Атинского и Казахстанского Иосифа, архиепископа Чебоксарского и Чувашского Вениамина, о. Павла Флоренского, профессора-богослова М. А. Новоселова. Одним дано было пережить десятилетия лагерей и ссылок и умереть на свободе, другие — бесчисленные — погибли. О них призыв о. Г. Якунина, В. Капитанчука и Л. Регельсона (будущих основателей Христианского комитета) «Установить память русских мучеников» (№ 116). На страницах журнала мы встречаем и сегодняшних мучеников за веру, брошенных в сумасшедшие дома, как Александр Аргентов, или лишенных права воспитывать собственных детей, как баптистка Мария Власюк. И, видно, не в пример продажным иерархам — таких отважных священников, как Димитрий Дудко, Сергей Желудков, Глеб Якунин, Михаил Лебедев.

С самого своего основания «Вестник» был журналом, где выступали виднейшие представители русской религиозной философии XX века. Экземпляры журнала, которые начали достаточно широко достигать России в конце 60-х — начале 70-х гг., попали туда в самый разгар увлечения трудами Булгакова, Бердяева, Франка, Шестова, Федотова, Флоренского. Вероятно, именно пропаганда их работ и развитие их традиций — первое, что еще тогда позволило «Вестнику» оказаться в русле духовных поисков, идущих в современной России. Журнал остается этому верен. Только за четыре последних года в нем опубликованы тексты С. Булгакова, Н. Бердяева, Н. Лосского, П. Струве, С. Франка, Л. Шестова, П. Флоренского, В. Ильина. Юбилейные даты (за это время их было две — 30 лет со дня смерти Бердяева и 100 лет со дня рождения Франка) сопровождаются не парадными восхвалениями, а публикацией серьезных исследований о философах и их неизданных текстах. Традиции русских философов XX века ощутимы и в религиозно-философских работах нынешнего поколения: у москвичей Льва Регельсона и Евгения Барабанова, у недавнего израильтянина Анри Волохонского.

Трудно было бы говорить о пропаганде «Вестником» русской философии, забывая о том, что сделало в области ее издания выпускающее «Вестник» издательство «ИМКА-Пресс». В конце концов, публикации «Вестника» служат лишь дополнением к вышедшим в ИМКе томам их трудов, да еще полем их интерпретации, обсуждения, развития. Почти то же можно сказать и о неутомимой деятельности «Вестника» по открытию и публикации неизданных произведений русской литературы. Бывает, что публикация в «Вестнике» становится лишь прелюдом к книге (так, например, за напечатанными отрывками Цветаевой последовала ее книга «Неизданное»), бывает — наоборот, своеобразным послесловием (так, после книги Ю. Домбровского «Факультет ненужных вещей» журнал напечатал его же фрагмент «Из записок Зыбина»). Не стоит забывать, что, в отличие от текстов классиков русской философии, которые обычно (разве что кроме текстов Флоренского) находятся в архивах за рубежом, произведения Ахматовой, Мандельштама, Пастернака, частично и Цветаевой — рассеяны по частным коллекциям и госархивам СССР. Требуется немало отваги и

простого умения для того, чтобы раздобыть их, а уж затем передать на Запад. Тем не менее, «Вестник» за последние четыре года публиковал и этих поэтов, и еще целый ряд доставленных из Советского Союза текстов: статьи и заметки В. Розанова и воспоминания о нем («Воспоминания об отце» Т. Розановой), стихи и статью М. Волошина, письмо Н. Гумилева В. Брюсову (из материалов ленинградского самиздатского журнала «37»), стихи многолетней лагерницы Анны Барковой. Среди публикаций произведений наших современников наиболее замечательна подборка стихов Геннадия Айги, сопровождающаяся глубокой статьей о нем польского поэта, переводчика и ценителя стихов Айги Виктора Ворошильского, — и, конечно, верность «Вестника» Иосифу Бродскому.

Трудный жанр — обзор журнала, тем более за несколько лет. Следовало бы сказать об одном из основных разделов «Вестника» — о богословии. Однако, чтобы тут что-то оценить, видимо, следует быть специалистом. Единственное, что можно сказать не робея: что читать статьи этого раздела можно и не будучи специалистом, и не только можно, но и сто́ит. И об интереснейшем, актуальнейшем подразделе «Христианство и иудаизм», об этом диалоге, который ведется из номера в номер, с привлечением давних, но не устаревших материалов (именно здесь напечатаны статьи С. Булгакова и П. Струве). И о недавней рубрике «Журнал в журнале»: перепечатка избранных материалов из журнала «37». Этот самиздатский журнал, выпускаемый в Ленинграде группой энтузиастов, уделяет значительное место религиозно-философским работам, одновременно публикует ленинградскую прозу, поэзию, литературоведческие и искусствоведческие статьи. Можно было бы говорить о литературоведении и критике самого «Вестника» — отнюдь не наименее важном разделе журнала. Впрочем, трудно найти в журнале что-то «менее важное». Достоинство «Вестника РХД» — именно во внутреннем единстве, ясно очерченном направлении, при провозглашенной и осуществляемой свободе «разномыслия».

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ

Недавно в западной прессе появилась дезинформация, относящаяся к вопросу о выдаче югославским властям политэмигрантов, проживающих в Федеративной Республике Германии, в обмен на задержанных на территории Югославии немецких террористов.

Появилось сообщение о том, что я якобы считаю югославских политэмигрантов «уголовниками», и поэтому не желаю выступить в их защиту, в целях предотвращения незаконного обмена террористов на политических противников коммунистической диктатуры в Югославии. Так как большинство этих политэмигрантов — хорваты, то даже появились статьи, утверждающие, что я враг хорватского народа.

Всё это происходит в то время, как, в первый раз в истории коммунистической Югославии, в стране полным ходом идет сближение между диссидентским движением Хорватии и Сербии и осуществляется объединение демократических сил, что всегда так пугало монопольную югославскую коммунистическую партию. Всем известно, что именно я, годами и даже десятилетиями, исключительно в этом видел возможность путей к демократизации страны и ликвидации партийной монополии.

Не испытывая ни малейшей симпатии к террористам, правым или левым, — я с большими сомнениями отношусь к заверениям югославской госбезопасности, что политические эмигранты являются террористами. Мне доподлинно известны случаи, когда в Югославии присуждали к длительным тюремным срокам за «терроризм» людей, вся вина которых состояла лишь в устной критике режима диктатуры. Так и теперь еще томится на каторге, в тюрьме Лепоглава, тяжело больной человек, историк Давор Арас, бывший секретарь Исторического Института Югославской Академии наук, отделения в городе Задар, присужденный в 1975-м году к 6,5 годам тюрьмы строгого режима «за терроризм», — состоявший в том, что он, во время последней чистки в Хорватии, написал на одной стене «долгой террор!».

Вот поэтому я считаю защиту политэмигрантов из коммунистического мира, которые невинны в терроре, — делом первостепенной важности, а всякую выдачу или «обмен» их на настоящих западных террористов — преступлением.

Вашингтон, 26-го августа 1978

Михайло Михайлов

Наша анкета

ИНТЕРВЬЮ С ПЕТРОМ ГРИГОРЬЕВИЧЕМ ГРИГОРЕНКО

Вопрос: Петр Григорьевич, в феврале советское правительство лишило вас советского гражданства. Эта мера все чаще применяется к людям, выехавшим за границу с советским паспортом, но вы, на-



сколько нам известно, первый, кто потребовал провести процесс по тем туманным обвинениям, которые выставлены основой лишения гражданства. Что означает для вас лишение советского гражданства — как практически, так и символически? Какую угрозу представляет подобная практика для других людей: защитников прав человека, независимых писателей и художников? Вы, наверно, знаете, что после указов о лишении гражданства вас, Ростроповича и Вишневецкой писатель Владимир Войнович заявил, что он не сможет принять приглашение Международного Пен-клуба участвовать в качестве наблюдателя

в его сессии в Стокгольме. Кстати, совсем недавно советские власти подтвердили, что они эту практику будут продолжать, — лишив гражданства Оскара Рабина.

Ответ: Прежде всего, я хочу обратить внимание на термин «лишение советского гражданства». Термин этот — жульнический. Он сам по себе ничего не выражает. Под ним скрывается насильственное лишение права жить на своей Родине. Хуже того, это попытка вообще лишить человека Родины, превратить его в безродного, изгоя.

Против лишения советского гражданства, т. е. против жизни в по-советски организованном обществе, вряд ли стоит возражать. Я, во всяком случае, твердо стою за то, чтобы избавиться от такого

общественного устройства, так как оно лишило своих членов свободы и элементарнейших человеческих прав. Общество, в котором десятки миллионов людей были уничтожены неизвестно за что, где и как, в котором государственная власть может отчитаться за жизнь ею уничтоженного ни в чем неповинного человека справкой, подписанной мелким чиновником карательных органов: «Реабилитируется за отсутствием **СОБЫТИЯ** преступления» — и никто за это не наказывается, даже не называются виновники, хуже — запрещается говорить о виновниках, искать их, общество, которое не только не защищает своих воинов, попавших в руки врага, но само их уничтожает, — такое общество не имеет права на существование, а его члены вправе не только отказываться от жизни в нем, но и бороться за его ликвидацию.

Советское гражданство в рассмотренном смысле мне не нужно. Я отказался от него с тех пор, как встал на путь правозащитной борьбы. Меня нисколько не вдохновляет перспектива быть вечным рабом огромной колониальной империи, именуемой СССР, вотчины дикой бюрократии — партийно-чиновной саранчи. С чувством величайшей гордости и с достоинством я стал бы носить звание гражданина значительно меньшей, но независимой и свободной родины моей — Украины.

Если бы речь шла только о том, считать ли меня достойным носить звание советского гражданина, не было бы предмета спора. Я сам не хочу этого звания. Но речь о другом. Разговор о том, имею ли я *право на Родину*. Может ли *советское* правительство лишить меня права жить там, где я родился, на земле, политой потом и кровью многих поколений моих предков, вблизи дорогих мне могил, вместе с родными мне людьми, с моими друзьями и моим народом, служить моему народу своим разумом, своими руками, своим здоровьем и жизнью, бороться за лучшее будущее моего народа. Это право дано мне фактом моего рождения. И оно — неотъемлемо.

Но человек — не раб своей Родины. Он, кроме права на Родину, имеет неотъемлемое право на свободу передвижения. Эти два права — две стороны одной медали. Человек вправе жить на своей Родине, покинуть ее пределы и в любое время возвратиться. Но советские власти игнорируют эти, как и другие, права человека. Они представляют себе общество не как содружество свободных людей, имеющих ряд неотъемлемых прав и присущие каждому разум и индивидуальные таланты. Для них общество — это масса слуг (рабов) государства, которое может творить с ними, что угодно:

понуждать к бессмысленному непроизводительному труду, массами перемещать из одних районов в другие, бросать на завоевание чужих территорий и народов, приневоливать к выполнению сумасбродных утопических проектов, пытаться превратить все общество в однообразную серую массу, уничтожая национальные, религиозные и индивидуальные различия. И для достижения всего этого применять самое жестокое подавление, не останавливаясь перед массовыми уничтожениями людей. За личность не признается даже права на жизнь. Где уж тут говорить о праве на Родину и праве на эмиграцию. Выгодно государству — кое-кого отпустят, невыгодно или «моя правая нога не желает» — держат. А кого захочет — выбрасывают из страны или принуждают уехать добровольно. Следовательно, *воспрепятствование эмиграции* тех, кто этого хочет, и *высылка за рубеж* неугодных — явления одного и того же порядка.

Но если борьба за свободу эмиграции, ввиду остроты этого вопроса, была одной из коренных задач правозащитного движения, то противодействие высылке и принуждению к эмиграции не достигали такого накала. И это понятно. Высылка похожа на эмиграцию и потому легко противопоставляется лагерю, тюрьме, спецпсихбольнице, ссылке как проявление «гуманизма». Естественно, что против такой гуманности возник протест. Но я не первый, кто решительно запротестовал против нее. Юрий Орлов и Александр Гинзбург решительно восстали против попытки КГБ принудить их к эмиграции. Александр Подрабинек, у которого судили по фальсифицированному обвинению старшего брата Кирилла, в ответ на предложение КГБ выехать за границу со своей семьей, включая и брата, сказал, что это для него неприемлемо. «Я предпочитаю, — добавил он, — чтобы эмигрировали вы». Сейчас, как известно, А. Подрабинек под арестом, и его, несомненно, ждет жестокий приговор. Отбывает свой двухлетний срок и Кирилл Подрабинек. Но время расплаты за весь этот произвол придет. И я надеюсь дожить до того часа, когда вся дорогая нам семья Подрабинеков вместе со многими нашими друзьями соберется под кровом нашей московской квартиры.

Я, действительно, первым потребовал предоставления мне права вернуться на Родину и в открытом судебном заседании доказать неправомочность указа о лишении меня гражданства СССР. Но это не «гениальное наитие» и не акт отчаяния. Это продуманный шаг, который определялся не только моей личной волей.

Когда власти с небывалой оперативностью (за четыре дня) дали разрешение на наш выезд в США для моего лечения и в гости к сыну, мы с женой и все наши друзья в один голос сказали: «Хотят выбросить из страны». Но мы же идеалисты. Сколько нас ни душат, сколько ни лгут и лицемерят, у нас нет-нет, да и просыпается надежда на искру разума и совести у правителей. Уже через день послышались голоса: «А почему бы, собственно, правительству не совершить акт гуманизма — пусть даже ради рекламы, ради Белградского совещания? Дали же возможность Елене Боннэр дважды побывать на лечении в Италии». Мы с женой колебались, хотя моя аденома подпирала, в любой момент могла потребоваться «скорая помощь». Срочность операции в последующем подтвердилась: в США я прибыл 1 декабря 1977 г., врачу меня показали 2-го, 3-го я был уже в больнице, а 6-го меня оперировали.

И все же мы колебались. Советовались со многими из наших московских друзей, в частности с членами московской Хельсинкской группы, Рабочей комиссии по психиатрии, Христианского комитета, съездил я и к друзьям на Украину и посоветовался с ними. Мнение было единодушным — ехать! Но за границей не делать никаких политических заявлений, чтобы не дать повода для наказания за поведение за пределами своей страны. Все считали: если мне удастся возвратиться, это будет новый важный шаг в развитии правозащитного движения. Ну, а если даже при «безукоризненном» поведении меня лишат возможности вернуться на Родину, то правительство еще раз покажет себя в голом виде и даст хороший повод для разоблачения античеловеческой сущности так называемого «лишения советского гражданства».

Как известно, пришлось разоблачать. Сразу после опубликования указа выступил я — неоднократно — на радио, телевидении, в печати. Немедленно подняли свой голос советские правозащитники. Но зарубежная демократия поддержала нас слабо. Многим зарубежным деятелям, обычно поддерживающим советских правозащитников, данный случай, по-видимому, представился малозначительным и не вызвал их возмущения. Да и в самом деле: не тюрьма же, не лагерь, не спецпсихбольница и даже не рядовая «психушка», а выезд в свободный мир, о чем мечтают десятки, а может, и сотни тысяч советских граждан. В общем, до ума и сердца западной демократии не дошло, что именно «гуманное» лишение гражданства наиболее ярко показывает полное бесправие советского человека. За ним не признают даже права на Родину. Войнович это понимает и потому заранее отказывается от поездок за рубеж, хотя

в СССР ему грозит и тюрьма, и лагерь, и «психушка» — специальная или обычная. Поймут это и другие советские писатели, ученые, инженеры, художники, деятели культуры и искусства. Поэтому лишение гражданства Галины Вишневской, Ростроповича и меня — кроме всего прочего, рассчитанный удар по научному, техническому, культурному обмену.

Буду ли я дальше бороться за возвращение на Родину? Безусловно! Я не наивный человек и не лжец, поэтому не скажу, что верю в искру совести и минимум разума нынешнего правительства СССР. Нет, пока это правительство у власти, мне, несомненно, не разрешат вернуться в свою страну. Но мой случай такой, что преступно не использовать его для разоблачения коварства, лицемерия, глупой и подлой жестокости правящей элиты, для просвещения подсоветских народов и западной демократии, для содействия приходу к власти более молодого по возрасту и более разумного правительства в СССР. Чтобы сделать «мой случай» понятным и для тех, кто не был знаком с моей прошлой правозащитной деятельностью, напомним основные ее этапы.

«Континент»: Петр Григорьевич, мы думаем, что среди наших читателей трудно найти таких, кто не знал бы этого. Многим известны ваши самиздатские работы — и в самом самиздате широко распространявшиеся, и на Западе выпущенные издательством «Хроника» и Фондом Герцена и снабженные вашей биографией. Знают вашу судьбу и поступки и читатели «Хроники текущих событий», и советские слушатели западного радио, и читатели «Континента».

П. Г. Григоренко: Тогда отмечу только одно. Когда меня арестовали в первый раз и судили как невменяемого, закрытым судом, не допустив в зал даже жену (и меня, конечно, не было: Военная коллегия Верховного суда не пожелала проверить своими глазами заключение экспертизы), это было незаконно по существу, но формально всё было по закону. После суда началось незаконно и по форме. По закону, офицеры и генералы Советской Армии, признанные судом невменяемыми, увольняются в запас или отставку или зачисляются в резерв «до выздоровления»; из партии коммунисты выбывают, а по выздоровлении восстанавливаются автоматически. Меня же лишили звания генерал-майора «за поступки, позорящие высокое звание», и уволили из армии без выплаты жалования (за 7 месяцев), без выходного пособия и без пенсии; из партии исключили «за антисоветскую деятельность». В общем, странный сумасшедший — невменяемый только для суда, а для правительства и партийного руководства — государственный пре-

ступник. В результате этой двойной бухгалтерии я 15 месяцев пробыл в тюрьме и спецпсихбольнице, а нетрудоспособная жена и сын-инвалид детства жили, не имея никаких источников существования. Хорошо лишь то, что заключение кончилось относительно быстро. Жена, воспользовавшись снятием с поста Хрущева, сумела вырвать меня на волю. Но незаконное продолжалось. На работу по специальности (инженер-строитель) не принимали. Работал сторожем, грузчиком. Лишь через 8 месяцев после освобождения Министерство Обороны назначило пенсию 120 руб. (в 2,5 раза меньше, чем по закону), «простив» себе всё, что не было выплачено за предыдущие два года. Та же двойная бухгалтерия сработала и после моего второго ареста. Когда ташкентская экспертиза признала меня вменяемым, следствие направило меня в Институт Сербского не на новую экспертизу, а так, словно ташкентской экспертизы вообще не проводилось. На суде экспертиза Института Сербского — без сбоя признавшего меня невменяемым — фигурировала как единственная. Ходатайство замечательного нашего адвоката-друга Софьи Васильевны Каллистратовой об одновременном рассмотрении ташкентской экспертизы или о назначении третьей (при двух противоречивых) судом было отклонено. Однако, отправив меня в спецпсихбольницу, со мной поступили как с пенсионером, осужденным к лагерному сроку: вопреки закону, лишили пенсии со дня ареста, а восстановили со дня освобождения — снова вместе со мной наказывали мою семью. И я снова, по «мудрому» замыслу КГБ, фигурировал в двух ипостасях: как не ответственный за свои действия психически невменяемый человек и как осужденный к отбытию лагерного срока опасный государственный преступник.

Так кто же все-таки я на самом деле? Опасный государственный преступник, — отвечает господин Брежнев, подписавший указ о лишении меня советского гражданства. В указе ясно сказано, что лишили меня гражданства за то, что я подрывал престиж Советского Союза. Поскольку на Западе я не выступал, то, значит, подрывной деятельностью занимался у себя на Родине. А так как сумасшедший своим бредом вряд ли может подорвать чей-либо престиж, то мои высказывания не являются бредовыми, и я, следовательно, вменяем. Но если это так, то на каком основании меня шесть с половиной лет держали в «дурдомах» — в специальных психиатрических больницах? Почему меня не судили и лишили возможности защищаться? Почему меня выпустили из страны, а не отдали под суд за совершенные преступления? Чтобы разобраться во всем этом, я и хочу вернуться на Родину.

Кроме того, мне очень важно узнать, на какие доказательства опирался Президиум Верховного Совета СССР, принимая решение относительно меня. Мне никогда никакой суд не предъявил обвинений. Ни в письменной, ни даже в устной форме никто и никогда не сообщал мне, какие мои действия считаются преступными, и я поэтому не имел возможности дать свои объяснения, опровергнуть вымысел, клевету, инсинуации. Так кто же был моим следователем и судьей? И кто представлял меня во время заседания Президиума Верховного Совета, решавшего мою судьбу?

Я давно знаю, что советской страной правит не юридическая власть, а тайная полиция, именуемая КГБ. Правит бесконтрольно и незаконно. Она, эта полиция, приняла и решение о лишении меня гражданства. Для того, чтобы доказать это, тоже следует возвратиться на Родину. И для того, чтобы раскрыть коварство, лицемерие, трусость и подлость тех, кто готовил и осуществлял операцию лишения гражданства. Чтобы стало понятнее, о чем речь, обращаю внимание на два факта: 1) Заместитель начальника московского ОВИРа полковник Зотов на прямой вопрос Зинаиды Михайловны горячо (слишком горячо) убеждал, что нас безусловно пустят обратно, так как «разрешение на выезд дано, только учывая болезнь Петра Григорьевича». Кто поверит, что Зотов делал го по своей инициативе? 2) Указ о лишении меня гражданства подписан 13 февраля 1978 г., а опубликован 10 марта, через два дня осле окончания Белградского совещания. Разве можно поверить, го это случайное совпадение?

При этом, добиваясь возвращения, я не ставлю ни одного условия, которое могло бы помешать властям СССР принять положительное решение. Я не требую никаких гарантий личной безопасности, хотя прекрасно знаю, сколь коварна и подла карательная система Советского Союза. Я готов к любому, даже самому жестокому и несправедливому приговору. Но только вынести его должен открытый суд. И правительство СССР должно сделать об этом публичное заявление, указав, в частности: 1) что для суда будет предоставлено достаточно просторное помещение, 2) что на суд будут допущены наши родственники, друзья и иностранные корреспонденты, 3) что на оставшиеся места будут допущены все желающие, в порядке живой очереди, а не агенты КГБ и отобранная ими «публика», 4) что для тех, кто не попадет в зал, будет организовано транслирование всего процесса. Под флагом открытого суда я и буду вести борьбу за возвращение на Родину.

Вопрос: Но вот волей-неволей вы оказались за границей. За эти месяцы — уже после лишения гражданства — вы участвовали в различных здешних мероприятиях в защиту прав человека в Советском Союзе: в туринском Бьеннале, в марше протеста против приезда Брежнева в ФРГ и т. п. Чувствуете ли вы, что и здесь можете оказаться полезным для наших соотечественников?

Ответ: Окажусь ли я полезным для своих соотечественников, находясь здесь, в зарубежье, покажет жизнь. Во всяком случае я верю, что всё, что делает человек, имея образ Божий в душе, бесследно не пропадает. Поэтому я приложу все свои силы, свой разум и умение, чтобы творить на пользу своему народу, своей Родине, всему человечеству.

Вопрос: За границей вы представляете не только лично себя, генерала Григоренко, «живую легенду», и не только советское правозащитное движение в целом, история которого сплелась с историей вашей жизни, но и Группы-Хельсинки — московскую и украинскую. Второе кажется нам особенно важным: вы были представителем украинской Группы-Хельсинки в Москве, сейчас вам выпало представлять ее на Западе. Вы знаете людей из украинской группы — и арестованных, и оставшихся на свободе. Что вы можете сказать о репрессиях, обрушившихся на всё хельсинкское движение и на украинскую группу в частности? Есть ли у вас надежды, что, вопреки этим репрессиям, деятельность Хельсинкских групп будет продолжена? Что вы знаете о нынешних умонастроениях на Украине? Мы помним, что после волны репрессий 72-го года там на какое-то время воцарился климат страха, семьи и друзья арестованных нередко прекращали контакты с «Москвой», даже материальную помощь боялись принимать. Создание украинской Группы-Хельсинки было символом и несомненным результатом преодоления этой атмосферы. Удастся ли сейчас властям снова запугать украинцев, снова продемонстрировать им опасность «связей с москалями»?

Ответ: Участие в работе Групп-Хельсинки, московской и украинской, — это не дополнение к моей правозащитной деятельности, а самая ее суть в последние годы моего пребывания в СССР. До конца дней своих я буду благодарен Юрию Орлову и Миколу Руденко за то, что они пригласили меня в состав учредителей, соответственно, московской и украинской Хельсинкских групп, наградили собственной дружбой и приобщили к коллективам исключительных людей, о каждом из которых поэмы слагать можно. Из-за одного того, чтобы узнать этих людей и насладиться совместной

творческой деятельностью и дружбой с ними, стоило жить на свете. Наша совместная борьба, жизнь в постоянной опасности и бескорыстная самоотверженная дружба никогда не изгладятся из моей памяти, не уйдут из моего сердца. И, думаю, мы все никогда не забудем наших руководителей. Ибо они, бесспорно, выдающиеся личности.

Юрий Орлов, известный миру ученый-физик, не мог жить только своей научной отраслью. Его звала Родина, думы о будущем человечества. И он услышал этот зов. Первым в мире он понял, что покорно подписанное западными политиками Хельсинкское соглашение, которое было задумано советской дипломатией и разработано как документ, узаконивающий советские захваты в Европе и пребывание советских войск на захваченных территориях, — можно и нужно превратить в документ защиты прав человека в СССР. Мало того, он нашел организационную форму и методы борьбы, возглавил эту борьбу.

Выдающийся украинский поэт и философ Микола Руденко не только понял — одним из первых — важность инициативы москвичей. Он уяснил то, чего тогда еще никто не понимал: единичную инициативу надо превратить в движение. И он создает украинскую группу. Насколько это было важно, мы можем судить по отзвуку в других национальных республиках. Почти сразу же за украинской организовалась литовская, за ней грузинская, а через некоторое время и армянская Хельсинкские группы. Молдавские правозащитники установили связь с украинской группой; один из них — Василе Барладяну — впоследствии был осужден одновременно с Миколой Руденко и Олексой Тихим.

Признавая выдающиеся заслуги Юрия Орлова и Миколы Руденко, московская и украинская группы постановили считать их своими руководителями вплоть до их освобождения.

Власти растерялись вначале. Об этом свидетельствует, в частности, заявление ТАСС, в котором деятельность Орлова по созданию Группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР объявляется преступной и указывается, что если эта деятельность не будет прекращена, то Ю. Орлов будет привлечен к уголовной ответственности. Мы, все члены-учредители Группы-Хельсинки, ответили на это контрзаявлением о том, что деятельность группы считаем законной, что объединились мы в группу по солидарному согласию и Орлов имеет те же права, что и все. Следовательно, он единолично не вправе приостановить ее деятельность. Право было явно на нашей стороне, и власти отступили.

Началась бурная деятельность группы. К ней буквально потоком потекли материалы о нарушениях прав человека. Группа установила тесные контакты с Христианским комитетом, руководимым священником Глебом Якуниным; создала Рабочую комиссию по расследованию использования психиатрии в политических целях; немедленно устанавливались контакты с создававшимися национальными Группами-Хельсинки. Вокруг групп собирался добровольный актив, стремившийся оказать им помощь. Активисты, в частности, выезжали, наряду с членами группы, для проверки материалов, поступающих с мест. Выезжали не только в такие близкие от Москвы места, как Литва или Крым, но и дальше: в Краснодарский край, в Сибирь, на Дальний Восток. Выезжали члены группы, например, Людмила Алексеева, Александр Подрабинек, и активисты — Лидия Воронина, Аркадий Полищук и другие.

В общем, Запад получил достаточно проверенных фактов нарушений Советским Союзом Хельсинкских соглашений, и сообщения продолжали непрерывно поступать. Чтобы прервать этот поток, власти начали репрессии. Арестовали Александра Гинзбурга и Олеху Тихого, затем Миколу Руденко, а за ним и Юрия Орлова. Запад, по существу, не реагировал на эти аресты. Во всяком случае, ни одно из западных правительств не заявило, что арест людей, следящих за выполнением Хельсинкских соглашений и информирующих правительства и общественность о нарушении этих соглашений, недопустимы, что такие аресты превращают само соглашение в фикцию. Результат — еще один арест (Щаранский). Чтобы удар был чувствительней, Щаранского объявили шпионом. И, хотя президент США, лично проверив, заявил, что Щаранского в списках сотрудников ЦРУ никогда не было, его уже больше года держат в строгой изоляции в тюрьме КГБ, очевидно, выбивая «признание».

Александр Исаевич Солженицын, выступая 8 июня в Гарварде, сказал, что Запад, в лице его правительств и ведущей интеллигенции, «сдал позиции». Полностью поддерживая это заявление, я добавлю, что самый позорный акт этой сдачи, прямая измена делу правозащиты, состоялся в Белграде. Не желая «обидеть» Советский Союз, западные дипломаты отдали ему на расправу людей, которые ценой своей свободы и благополучия доставляли материалы о серьезных нарушениях Хельсинкских соглашений и тем боролись против угрозы нарастания войны. Уже во время Белграда в Москве расправились с Мальвой Ланда и Феликсом Серебровым, нанесли сильнейшие удары по украинской, грузинской, литовской и армянской группам.

На Украине арестовали и после Белграда осудили инженера Мирослава Мариновича, историка Миколу Матусевича и Петра Винса, — сына известного баптистского деятеля, отбывающего лагерный срок за веру, Георгия Винса. Был арестован и подвергнут пыткам близко стоявший к Хельсинкской группе известный украинский писатель Гелий Снегирев. По дошедшим до меня сведениям, пыткам подвергались также Матусевич и Маринович, а Петр Винс был избит надзирателями в тюрьме. После Белграда арестован и шестой член украинской группы юрист Левко Лукьяненко, который только два года как отбыл 15-летний срок заключения. Я после Белграда лишен гражданства. Таким образом, из первоначального состава украинской группы остались только четверо: писатель-фантаст Олесь Бердник, юрист Иван Кандыба, тоже отбывший 15-летний срок, микробиолог Нина Строката, жена заключенного Святослава Караванского, отбывшая четырехлетний срок заключения, и мать заключенного лагеря строгого режима Олесья Сергиенко 73-летняя подруга нашей семьи Оксана Мешко, женщина невероятного мужества и трагической судьбы. В сталинские времена ее увели на целых 10 лет от двухлетнего сына, и, когда она вернулась, сын не хотел ее признавать, так как она «враг народа». Когда же она вновь его завоевала, приспела тюрьма для него. Он тяжело болен, и бедная мать места себе не находит, в страхе за его жизнь. Но, несмотря на огромные потери, украинская Группа-Хельсинки представляет собой живой организм. Об этом свидетельствует, во-первых, поступление на Запад материалов группы, а во-вторых, вступление в группу новых членов — Калениченко из Днепропетровска и Стрильчив из Ивано-Франковска.

Сходное положение и в московской группе. В июне арестован и отправлен в ссылку еще один из ее членов — Владимир Слепак, а несколько раньше, прямо во время процесса Орлова, был арестован Александр Подрабинек. Теперь в группе из первоначального состава остались только Елена Боннэр, Мальва Ланда и Анатолий Марченко. Но группа пополнилась: в основной ее состав вступили профессор Наум Мейман, служащая Татьяна Осипова, врач-фармаколог Виктор Некипелов и один из самых близких к нашей семье людей, мужественный человек и адвокат Софья Каллистратова, а в Рабочую комиссию по психиатрии — наш друг врач Леонард Терновский*.

* Интервью дано до процессов Щаранского, Гинзбурга, Пятку-

Таким образом, продолжая, по примеру А. Солженицына, пользоваться военной терминологией, мы можем сказать, что на сданных Западом позициях группы мужественных людей продолжают вести упорные бои в окружении. Я сожалею, что не могу стоять с ними плечом к плечу. Каковы перспективы этих боев? Предсказания — не моя специальность, но я твердо знаю, что к отрядам, мужественно сражающимся в окружении, надо пробиваться извне. Запад, даже по соображениям собственной безопасности, должен занять твердую позицию в отношении защиты прав человека. СССР душит правозащитное движение для достижения полной закрытости советского общества, а закрытое общество — это опасность внезапного нападения. Хельсинкское соглашение, если СССР не выполняет его гуманитарные статьи, выгодно только для Советского Союза. Для Запада оно в этих условиях теряет всякий смысл.

Что касается положения на Украине, то я должен сказать, что климат страха, к сожалению, существует не только в этой стране. Однако в ней немало и смелых людей. Об этом говорит хотя бы то, что украинцы-политзаключенные составляют 51% численности лагеря особого режима, а в лагерях строгого режима — около 30%. Репрессии на Украине продолжают расти, но они не могут остановить движение сопротивления. Тем более, что на Украине, кроме общих для всего СССР оснований для недовольства, оно вызывается еще и неумной национальной политикой, той безудержной русификацией, которая ведется под флагом создания единой социалистической нации. Так что, я думаю, движение сопротивления на Украине будет расти. Об этом говорит, в частности, живучесть украинской Хельсинкской группы и то, что КГБ на Украине очень настойчиво добивается «покаяний». Более полугода физически и морально пытали Миколу Руденко, добиваясь хотя бы короткого покаянного заявления в обмен на освобождение. Для «покаяния» привозили из лагеря в Киев мужественнейшего из политзаключенных поэта Василия Стуса. Ради покаяния пытали Гелия Снегирева и довели его до паралича нижней половины тела. Не добившись «покаяния», пустили в обращение «покаянную» фальшивку. Значит, очень нужен моральный удар по общественному мнению. Одними жестокостями власти не могут справиться с нарастающим возмущением народа.

Вопрос: Петр Григорьевич, до вашего приезда вас представляли на Западе как «неколебимого марксиста», защитника «чистоты

са, Лукьяненко и до вступления в Группу-Хельсинки еще нескольких новых членов. — Р е д.

ленинизма», публиковали вас под одной шапкой с Роем Медведевым. Для нас, знающих вашу деятельность, никогда не было важно, сохраняете ли вы свои марксистские убеждения или нет, но некоторые западные круги, несомненно, разочарованы занятой вами позицией. Считаете ли вы вообще правомерным подход к той борьбе, которую ведет советское правозащитное движение, с точки зрения идеологических подразделений? (Как говорит наш друг, молодой французский философ Бернар-Анри Леви, есть здесь люди, которые во что бы то ни стало стремятся разделить нас на «хороших диссидентов» и «плохих диссидентов».)

Ответ: По правде сказать, я не знаю, как меня представляли на Западе. Но я твердо знаю, что западные коммунистические партии не захотели установить со мной контактов. Мне неизвестно, кто меня ставил под одну шапку с Роем Медведевым, но компартии на Западе нас не путали. С ним они контакты поддерживали и публиковали его писания. А что эти компартии публиковали моего? Не обо мне, а то, что я сам написал? Ничего. Общей шапки у них для нас двоих не нашлось.

«Континент»: Речь идет не столько о компартиях, сколько о коммунистической и прокоммунистической интеллигенции, выпускавшей различные сборники, доказывавшие существование «хорошей», марксистской оппозиции в СССР. Один из последних примеров такого рода — сборник, составленный Витторио Страда: кроме вас, под одну шапку с Роем Медведевым поставлена, например, Раиса Лерт, хотя нам известно, что она резко порвала с журналом Медведева. Да и вообще, по всему видно, что Рой Медведев полностью изолировался от советского правозащитного движения.

П. Г. Григоренко: Да в нашем правозащитном движении никто и никогда не пытался поставить меня под шапку к Рою Медведеву. Что же касается меня, то я с Роем Медведевым не только под одну шапку не пойду, но и рядом ... не сяду.

Я со вниманием и уважением отношусь к любому чужому мнению. Я готов вести дискуссию с каждым, кто этого хочет, но при условии, что будет соблюден минимум приличия. Рой Медведев не соблюдает. Я не буду здесь говорить о его неприличных выпадах против ума, души, сердца и, прямо скажем, знамени нашего правозащитного движения — академика Андрея Сахарова. Этим Рой сам исклЮчил себя из рядов тех, кто идет под знаменем правозащиты. Но я не об этом, а о том, как Р. Медведев относится к рядовому правозащитнику, подвергнутому репрессиям.

Когда я находился в Черняховской спецпсихбольнице, в самиздат было запущено очередное словоизвержение Р. Медведева — «Социализм и демократия». В этом обычном для Р. Медведева толстом, многословном (и пустословном) опусе были, между прочим, и строки, посвященные мне. У Григоренко путанные полуанархистские взгляды. Он и его группа распространяют «антисоветский» (!) труд Авторханова «Технология власти». Это был донос. Иначе не назовешь. Когда мне запись этих строк показал в Черняховске врач-психиатр, я ему не поверил. Счел за КГБистскую провокацию, так как это было почти дословным пересказом части инкриминированных мне «преступлений». Когда же я, выйдя на свободу, убедился, что так и было написано, я понял, что за «диссидента» мы имеем в лице Р. Медведева. Стало понятно также, почему этот «соратник» за более чем 5 лет моего заключения не только ни разу не зашел, но и не позвонил моей жене. В общем, он вполне подошел по моральному облику к коммунистам брежневского типа. И неудивительно, что он так гостеприимно принят в западных коммунистических партиях.

Теперь о разочарованности «некоторых западных кругов» занятой мною позицией. Я думаю, что эти круги разочаровались не моей позицией, а фактом, что я говорю не то, что им бы хотелось. Моей позицией нельзя было разочароваться просто потому, что я ее еще ни разу не формулировал. Боюсь, что после того, как я это сейчас сделаю, разочарованных станет во много раз больше. Но я не боялся говорить то, что думаю, в Советском Союзе — тем более не побоюсь это сделать здесь.

Итак, какова же моя позиция? Кто я таков?

Я уже не коммунист, хотя почти всю свою сознательную жизнь исповедовал это учение. Отрывался я от него с трудом, мучительно, со многими ошибками и новыми увлечениями. И, пожалуй, единственное, что дало мне силы не угодить в какой-нибудь новый тупик, — это твердая убежденность, тот вывод, который я сделал из опыта своей жизни: ни одна самая блестящая идея, самая «высокая» цель «не стоит одной напрасно пролитой слезы ребенка».

Не коммунист, потому что не верю ни в одно коммунистическое учение — ни в марксизм, ни в ленинизм, ни в какой-либо иной «изм». Марксизм и ленинизм я пытался постичь всю свою жизнь и к концу ее, наконец, уразумел, что ни в одном, ни в другом нет ни грана научности. Я прочел 4 изданных в СССР тома «произведений» Мао Цзе-дуна. Говорить о научности написанного там можно лишь иронически. Зато из произведений «классиков» коммунизма

можно извлечь уроки, как души́ть народ, лишая его всех человеческих прав. Есть там в большом количестве и демагогия, способная увлечь политически незрелых людей.

Анализ тех общественных систем-монстров, которые созданы на основе указанных теорий, лучше всего подтверждает их полную несостоятельность. Известно, сколь долго бюрократическая элита советской империи тиранила населяющие ее народы, уничтожала людей десятками миллионов и довела до нищеты и голода, утверждая при этом, что это самая передовая, самая прогрессивная, самая справедливая система, обеспечивающая зажиточную и счастливую жизнь для всех. Какой полной бессовестностью и бесчестностью нужно обладать руководителям страны, до какого состояния ужаса надо довести весь народ, чтобы скрывать от всего мира истинное положение и рисовать идиллическую картину жизни в стране. Сколько загубленных жизней, сколько мужества и самопожертвования борцов потребовалось, чтобы сорвать покров с тайны истинной жизни в СССР. Мир никогда не должен забывать этих борцов и помогать тем, кто продолжает эту борьбу сегодня. Я думаю, что не выйду за рамки поставленного вопроса, если напомним о титаническом подвиге Александра Исаевича Солженицына в разоблачении советской системы тотального террора. После солженицынской критики советская система так уж и не смогла надеть свою старую маску «прогрессивного строя». Теперь уже трудно найти того, кто стал бы открыто защищать «советский коммунизм». Ну, а чем лучше другие здравствующие коммунистические системы: албанская, вьетнамская, камбоджийская, китайская, польская и прочие? Несколько мягче других югославская, но если посмотрим на нее повнимательнее, то легко обнаружим, что она имеет всего одну степень свободы, может развиваться лишь в одном направлении — к усилению диктатуры.

Западные коммунистические партии, так называемые еврокоммунисты, говорят, что они будут строить не такой, как ныне существующий, коммунизм. При этом они не критикуют существующие системы, а ссылаются на Чехословакию, на ее «Пражскую весну». Но что вышло бы из этой весны — сказать трудно. Мне думается, что ее будущее правильнее еврокоммунистов определила брежневская клика, утверждая, что оккупировать Чехословакию пришлось потому, что там к власти шли антисоциалистические элементы, — речь шла, разумеется, о силах демократии, так как именно их любая коммунистическая система считает опасными для своей власти и беспощадно души́т.

Итак, я не вижу коммунистической государственной системы, которая не душила бы свой народ, не лишала бы его всех человеческих прав, не ликвидировала бы свободу и демократию, не установила бы полного господства над народом партийно-государственной бюрократии, ее дикого произвола. Я не знаю коммунистической теории, которая бы давала основания для строительства иных, чем реально существующие, коммунистических систем. Если еврокоммунисты верят в иной, чем существующий, социализм, то пусть подтвердят свою веру практикой. Но при этом возьмут для своих опытов те же страны, над которыми они уж упражнялись. Пусть создадут свой «социализм с человеческим лицом» не путем захвата власти в демократических странах, а перестройкой тоталитарных коммунистических систем. Я лично в такую возможность не верю и потому *я не коммунист.*

Но *я и не антикоммунист.* Во-первых, потому что через частичку *анти* ничего определить нельзя. Брежнев, безусловно, считает себя *антифашистом*. Я тоже *антифашист*. Но что между нами общего? Насколько сходно понимаем мы хотя бы термин «фашизм»? Думаю, что взаимопонимания мы не достигнем ни по одному вопросу.

Во-вторых, я не антикоммунист, потому что не признаю конфронтацию разумным способом разрешения споров между людьми. Наше время — время страшного разобщения людей. Мой любимый современный немецкий писатель Генрих Бёлль гениально заметил, что в нынешнем обществе людей сумели разделить с помощью железок и тряпочек более основательно, чем их разделяли в средние века социальными перегородками. Полностью присоединяясь к этому, я добавил бы к тряпочкам и железкам ярлыки и клички. Назвали страну капиталистической, социалистической, народной, демократической, а человека правым или левым и как будто этим всё прояснили. «Правые», «левые», «коммунисты», «антикоммунисты», «анархисты», «троцкисты», «маоисты», «капитализм», «социализм», и т. д., и т. п. Не надо ничего читать, ни о чем думать, логически рассуждать. Принял какую-то кличку и навешивай ярлыки на других. Я не признаю никаких ярлыков, никаких кличек. Для меня нет ни «правых», ни «левых», ни «анархистов», ни «коммунистов». Есть люди. И с людьми, носящими на себе кличку или живущими без таковой, я готов вести дружественный диалог. Если бы я согласился с тем, что клички что-то значат, мне надо было бы отказаться от всякой надежды на лучшее будущее. В Советском Союзе 16 миллионов членов КПСС — коммунистов. Если бы я поверил, что с

ними можно стать только в отношении «анти», я должен был бы признать, что у нашей несчастной Родины нет будущего. Если с этими миллионами нет возможности говорить и добиться взаимопонимания — значит, война.

Нет, я лучшего мнения о людях, о человеке. Конечно, есть умственно ограниченные, фанатики, страдающие односторонностью, просто параноики. Но основная масса людей, вне зависимости от их кличек, способны к взаимопониманию. Ведь не напрасно дан нам РАЗУМ и вложено СЛОВО в наши уста. Я желаю пользоваться этим даром. А если все же надо как-то называться, то на себя я согласен принять только звание ХРИСТИАНИН. Да и то не в понимании противопоставления иным вероучениям, а как утверждение себя в вероучении, которое придает решающее значение слову.

О чем же говорить? На чем можно поразуметься? Только на одном: на глубоком изучении и всесторонней оценке реальной жизни, на отыскании путей и способов устранения ошибок, совершаемых людьми и обществом в целом. Проиллюстрируем это на примерах истории последних лет.

Можем ли мы определить на основе жизненного опыта моего и последующих поколений, чего нельзя допускать в общественную жизнь? Безусловно, можем! И ответ однозначен — коммунистического и фашистского террора, подчинения всей жизни страны бюрократическому произволу.

А возможно ли выявить, что из уже достигнутого отдельными странами следует взять за образец для других? Несомненно! Кто, например, станет спорить — если он не профессиональный лжец, разумеется, — что наивысший уровень экономического развития достигнут в США? Следовательно, другим странам надо стремиться к этому уровню, а не к камбоджийскому, скажем, или к китайскому. У США можно поучиться и многому другому. Именно эта страна ближе всего подошла к осуществлению извечной мечты человечества: «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Американское общество стоит буквально у грани полной ликвидации различия между трудом умственным и физическим. Что же касается различий между городом и деревней, между центром и провинцией, то они практически ликвидированы. Даже жизнь в деревне и в провинции во многом стала предпочтительней. Замечательны и достижения американской демократии.

Так выглядит «капитализм» США под углом зрения некоторых коммунистических догм, если провести объективный анализ, а не изрекать привычную, набившую оскомину коммунистическую демаго-

гию. Но американское общество — конечно же, не идеал. В его общественной жизни имеются серьезные недостатки, и их надо вскрывать и устранять, но я не ставил своей задачей проанализировать здесь американское общественное устройство. Я лишь пример привел. К тому же, учиться можно не только у США. Каждый народ многое может внести в общественную копилку, если будет изучаться его реальная жизнь, а не лживая пропаганда. Так называемый коммунизм изо дня в день долбит на весь мир, что «капитализм» стареет, загнивает, отживает свой век, что на смену ему идет «цветущий здоровьем коммунизм», а ученые социологи, вместо того чтобы убедительно разоблачить эту ложь, ищут «альтернативу» коммунистической «идеологии». Они не видят той простой истины, что нет такой идеологии, есть ложь, монбланы лжи и демагогии. А альтернатива лжи давно известна, и ее искать не надо. Альтернатива ЛЖИ — ПРАВДА. А правду искать надо в жизни, а не в априорных теориях.

Мой жизненный опыт говорит за то, что человек не может провидеть будущее, не может знать, как построить идеальное общество и можно ли вообще его построить. Человечество прокладывает свой путь через неожиданные препятствия, совершая попытку за попыткой, совершая ошибки и устраняя их. Коммунистические партии потому и создали такие страшные общества, что они «знают *единственно верный* путь». На самом деле они знали только, как создать такой совершенный аппарат насилия, что он способен загнать человечество в пропасть. Это об этих «всё знающих» предупредил нас замечательный русский поэт, истинного значения которого мы еще не осознали, Александр Галич: «Не бойся сумы, не бойся тюрьмы, не бойся мора и голода, а бойся единственно только того, кто скажет — я знаю, как надо!»

Вопрос: Петр Григорьевич, наш последний, традиционный вопрос — что вы хотели бы сказать читателям «Континента»? Но вас мы спросили бы еще: что вы хотели бы сказать как читатель «Континента»? Вы помните, что по отдельным вопросам у нас бывала переписка, когда вы были еще в Москве. Может быть, кое-что из ваших критических замечаний того времени вам хотелось бы повторить публично, а мы публично повторили бы наши ответы — иногда возражения — на критику? Но хотелось бы, конечно, знать и ваше мнение, ваши пожелания относительно «Континента» сегодня.

Ответ: Что мне сказать о «Континенте»? Обругать? Или отдать «долг вежливости»? То и другое очень просто. Но, я думаю, от

меня ждут не этого. Да и сам я не хочу так поступать. Я слишком заинтересованное лицо, чтобы пытаться формально «отписаться». Но я не готов и к тому, чтобы подвергнуть журнал серьезной критике, т. е. не только недостатки обнаружить, но и дать свои конструктивные предложения. Поэтому я ограничусь лишь теми замечаниями, которые у меня в памяти, и предложениями, которые мне самому кажутся приемлемыми. Я не уверен, что всё сказанное мною верно, но прошу поверить, что говорится всё с дружественных позиций, человеком, заинтересованным в том, чтобы журнал развивался и приобретал всё большее и большее положительное влияние на общество.

Учредительное заявление редколлегии было воспринято мной с чувством глубокого удовлетворения. Я целиком согласился с ним, и всё мне казалось ясным. Но практика не совсем увязалась с декларацией. По мелочам, казалось бы, но почему-то росла общая неудовлетворенность деятельностью журнала.

Журнал обещал терпимость. Но есть ли, например, терпимость в выпаде против Леонида Плюща? Выпад этот, с моей точки зрения, просто неприличен. И оценка эта не от обиды за одного из ближайших друзей нашей семьи. Поносить человека только за то, что он назвал себя не так, как нам хочется, — это вообще недопустимо. Обсуждать можно и следует дела и мысли. На спор о привлекательности или непрезентабельности той или иной клички время вряд ли стоит тратить. А если еще делать это в оскорбительном тоне, то взаимного обмена мнениями с коммунистами не наладить. А это, по-моему, одна из важнейших задач журнала. Руководители компартий очень боятся постороннего влияния на их членов, поэтому они всячески препятствуют взаимным обменам. Нам коммунистической пропаганды бояться нечего, поэтому наша задача — способствовать этим обменам. Кстати, интервью с Млынаржем проведено в ином, весьма благожелательном тоне, и это, по-моему, правильно. Уж коль журнал претендует на то, чтобы влиять на самые широкие круги демократии, то он и тон должен иметь соответственный. Вряд ли правильно было бы «Континенту» воспринять взгляды того читателя «Нового Русского Слова», который заявил (о коммунистах): «Ишь, еще и обижаются! А зачем они к нам лезут?» Грубость и бестактность никогда не были аргументом. В политические споры то и другое ввел Ленин, но не для доказательства, а чтобы отвадить своих оппонентов вязаться с ним в спор. Вряд ли нам стоит учиться этому.

«Континент»: Вероятно, можно было просто обойтись без редакционной реплики к ответу Плюща на открытое письмо Ходорович: двух выраженных точек зрения вполне хватило бы. Но удержаться было трудно: мы испытывали горечь гораздо большую, чем когда на защиту марксизма столь пылко становится кто-то чужой, не испытывавший того, что испытал Плющ. Эта горечь, возможно, продиктовала и излишнюю резкость выражений. В то же время, нам кажется, не нужно забывать и то, что в самой возможности высказаться Леонид Плющ несколько не был ущемлен: в тот же момент, как редакция получила письмо Ходорович, копия письма была передана Плющу с предложением написать ответ, и этот ответ был опубликован полностью.

П. Г. Григоренко: Напомню и другой пример. Я не осуждаю тех, кто не выдержал испытания тюремным застенком, и категорически возражаю, когда таких людей осуждают, особенно те, кто сам еще в застенке не побывал. От человека нельзя требовать невозможного. Каждый выдерживает столько, сколько может. И беда не в том, что не выдерживают, а в том, что существует система, при которой приходится выдерживать подобные испытания. Итак, человек может не выдержать и вправе ожидать, чтобы ему это «лыко» каждый раз «в строку не ставилось». Но и самим таким людям надо соблюдать минимум приличия. Редакцию я тоже не осуждаю, когда она допускает в журнал творения и «не выдержавших». Пусть пишут и публикуются, коль есть талант. Но не следует редакции привлекать таких людей в наставники. Я это говорю в связи с континентовской рецензией на книгу Копелева «Хранить вечно». Автор этой рецензии спрятался за двумя буквами — «М. В.». Редакция нам не раскрывает, конечно, редакционную тайну и не скажет истинную фамилию автора*. Но читатель вправе догадываться. В Советском Союзе все, что читал, единодушно говорили: Владимир Марамзин. Но если это так, редакция совершила грубейшую ошибку. Не Марамзину, сломившемуся на первых же шагах, давать уроки морали многолетнему лагернику Льву Копелеву, который долгие

* Никакой особой «редакционной тайны», ни попытки злонамеренно скрыть фамилию автора рецензии на книгу Л. З. Копелева не было. Просто в этом же номере был напечатан рассказ В. Марамзина и его же предисловие к стихам Игоря Бурихина — публиковать третий материал за той же подписью было бы неловко. Именно в разделе «Критика и библиография» редакция, ввиду ограниченности круга рецензентов, бывает вынуждена заменять подписи псевдонимами или инициалами. — Р е д.

годы, вплоть до сегодняшнего дня, мужественно несет тяжелый крест правозащитника, которого знают и любят все, кто причастен к правозащитной борьбе. И не только в Москве, а и на Украине, и в Литве, и в Крыму, и в Средней Азии... Поучать Копелева, сидя в безопасном далеке, в то время, когда того исключают из Союза писателей, выбивают окна в квартире и громят квартиру, когда над ним висит непрерывная угроза ареста, — это даже неприличным назвать мало. А рецензия? Это же плевок в лицо автору, а не разбор произведения. Выхватить из контекста одно событие, тенденциозно его изложить и затем морализовать на этот счет — разве это рецензирование? Нет, это способ внушить тем, кто не читал книгу, что ее и читать не стоит. А это уж прямая ложь. Я скажу — читайте! Не пожалеее. Это не книга, это живая история духовной жизни целого поколения, к старшей ветви которого и я принадлежу. Я многое пережил и передумал до этой книги, но только она помогла мне поставить точку на моем коммунизме. Я очень виноват перед ближайшим моим другом Лёвой Копелевым. Я должен был написать, я дважды начинал писать рецензию на эту книгу. И пусть я был страшно загружен, и здоровье плохое, и годы, и переживания в связи с лишением гражданства мешали, — я не могу себе простить, что рецензия не дописана. И не могу простить редакции, что она очернила такую книгу и что она вообще оказалась способной опубликовать такой чисто советский отклик на достойную книгу.

«Континент»: Петр Григорьевич, вы, наверно, знаете, что рецензия, о которой идет речь, не была единственным откликом «Континента» на книгу «Хранить вечно». Совершенно иную оценку дал ей в своей рецензии покойный Александр Аркадьевич Галич. О книге Копелева, опять-таки на страницах «Континента», пишет и Виктор Некрасов во второй части своих записок «Взгляд и нечто», причем дает оценку не только книге, но и рецензии. И очень важная нота, которая у него звучит, — обида за то, что рецензия появилась на страницах «его» журнала. Вот этого отношения к журналу, как к своему, участия в нем, а не одного лишь высказывания обид стороной, нам хотелось бы ждать не только от членов собственной редакции и редколлегии, но и от многочисленных наших друзей, — и мы готовы предоставлять место самым разным точкам зрения. Думаем, что эта наша позиция принята многими: об этом можно судить и по тому хотя бы, что вы (в самый разгар наших «почтовых» дискуссий) предоставили нам для публикации свое открытое письмо в Би-Би-Си, а сейчас охотно согласились дать это большое интервью, и по тому, что пришел к сотрудничеству с нами глубоко нами

уважаемый Лев Зиновьевич Копелев, статью которого о Галиче мы опубликовали в предыдущем номере. Думаем, что, при всех сохраняющихся несогласиях, мы можем рассчитывать теперь и на сотрудничество Леонида Плюща.

П. Г. Григоренко: Да, как ни прискорбны рассказанные случаи, не они делают лицо журнала. Воспоминания кардинала Миндсенти, отрывки из книги Василия Гроссмана, жуткая история о выдаче Сталину на расправу врагов его режима, «Мама моя, мама...» Гелия Снегирева, ряд колонок редактора, редакционных комментариев, интервью в «Нашей анкете» и другие произведения доставляют не только эстетическое наслаждение, но и дают пищу для ума и сердца. Вместе с тем есть произведения слабые и даже явно надуманные. Всё это создает впечатление, что журнал еще не определил свое лицо. На это же указывает и отсутствие каких-то ключевых направлений в деятельности журнала.

Александр Исаевич Солженицын выдвинул моральный призыв: «Жить не по лжи». Наш век — век самой бессовестной лжи, в том числе — и даже особенно — в дипломатии. А это как раз ваша отрасль, коль вы — «Континент», а не одна страна. Самые лживые события последних пяти лет — Хельсинкское и Белградское совещания. Но правдивого анализа этих событий мир не знает. Промолчал и «Континент»^{*}.

Нередко ложь выступает под личиной правды, притом привычной и даже модной правды. Чтобы опровергнуть такую ложь, иногда требуется немалое мужество. Пример. После войны были наказаны военные преступники. Скрывшихся разыскивали и разыскивают до сих пор. Разыскивают, чтобы *по справедливости* наказать. А действительно ли только в этом справедливость? В то время как этих нескольких доживающих свой век стариков ищут евреи всего мира, наиболее активно им помогает КГБ, т. е. тот орган, который совершил преступления значительно большие, чем Гитлер, в том числе и евреев истреблял. И вот ездят по дебрям Южной Америки агенты еврейских организаций, расползлась по всему миру агентура

^{*} Это не совсем точно. «Континент» не раз публиковал материалы, связанные и с Хельсинками, и с Белградом. Наиболее детально хельсинкская политика анализировалась в статье А. Марченко и М. Тарусевич (№ 9). Анализ Белграда содержится в «Колонке редактора» и в интервью М. Джиласа в № 16, но разговор с П. Г. Григоренко состоялся до выхода этого номера в свет. — Р е д.

КГБ, крича «держи преступников». И шум этот надежно прикрывает других, куда более многочисленных преступников. И они гордо несут голову, изображая себя блюстителями законности. Уже давно пора бы еврейским организациям обратить главное свое внимание на выявление преступлений против еврейского населения в Советском Союзе и сорвать маску «защитников» еврейства с КГБ.

И еще один вопрос, связанный с этим. Известно, что вместе с гитлеровцами принимали участие в истреблении евреев и люди из других наций, в том числе украинцы. Но распространилось и культивируется мнение, что украинцы сделали евреям больше вреда, чем другие нации, даже больше, чем гитлеровцы, что вообще украинцы — нация антисемитов. Ложь эта звучит с экранов телевизоров и кино, распространяется прессой. Она оскорбительна и вредна.

Я украинец. В детстве и юности воспитывался в простой украинской семье, где к евреям всегда относились с уважением и сочувствием. В молодости и в течение всей последующей жизни я решительно выступал против советского (культивируемого государством) антисемитизма и гордился этим. И вдруг теперь, на старости лет, узнаю, что принадлежу к нации антисемитов. Ложь эту несложно опровергнуть, поскольку за рубежом сейчас уже десятки тысяч евреев, выехавших с Украины, живших там в доброй дружбе с украинцами, но они молчат, видимо, считая, что нечего писать о ясном вопросе. Добрый пример подал ленинградский писатель Михаил Хейфец, который написал в лагере и препроводил на волю буквально героическую поэму о своих друзьях солагерниках-украинцах. Но основательной борьбы против этой лжи нет. А так как у нее есть могущественные сторонники, то она продолжает распространяться. Делает это КГБ, стремясь унижить национальное достоинство и тем помешать союзу между еврейским и украинским национальными движениями.

Итак, борьба против лжи, разоблачение лжи — как одна из самых важных задач журнала.

Укажу также еще на два важных вопроса, которым журнал уделит, по-моему, мало внимания:

— вопросам правозащиты и

— национальному вопросу; у меня даже впечатление, что у редколлегии по этому вопросу нет достаточно ясной позиции.

Читайте в следующем номере «Континента»

прозу

П. Гомы, В. Некрасова

СТИХИ

И. Бродского, Н. Коржавина

публицистику

**С. Баранчака, М. Геллера,
М. Лавинеску, А. Малумяна**

Специальное приложение

В ЗАЩИТУ АЛЕКСАНДРА ГИНЗБУРГА

ВЕЧЕР СОЛИДАРНОСТИ С АЛЕКСАНДРОМ ГИНЗБУРГОМ

В самое ближайшее время состоится процесс — пародия процесса, — возбужденный советской властью против Александра Гинзбурга, «виновного» в том, что он руководил Фондом помощи советским политзаключенным.

Используя фразеологию невмешательства во внутренние дела государств, правительства, подписавшие Хельсинкские соглашения, становятся соучастниками преследований, которым подвергаются защитники прав человека в Советском Союзе, в странах Восточной Европы и в других странах мира. Стало очевидным, что мы не можем больше рассчитывать на каких бы то ни было глав государств, на какие бы то ни было межправительственные организации (например, на ООН) в этой самой существенной борьбе нашего времени. И задача найти эффективные средства поражения нового Интернационала Палачей, латиноамериканских, азиатских, африканских или восточно-европейских, — эта задача, безусловно, поставлена теперь перед теми, кто чувствует себя лично заинтересованным в соблюдении прав человека.

Мы выражаем нашу солидарность с теми, кто подвергается репрессиям во всем мире, и, в свою очередь, призываем французскую интеллигенцию солидаризироваться с Александром Гинзбургом, который сегодня стал символом репрессий на Востоке.

Мы предлагаем во время этой встречи затронуть такие вопросы, как бойкот (идеологический, культурный, научный и т. д.), нравственные принципы культурных и научных отношений, ответственность интеллигентов перед лицом репрессии, и найти конкретные

способы выражения солидарности с жертвами репрессии и произвола.

Мы ждем вас 28 июня в Малом зале Театра Д'Орсэ.

Владимир Буковский, Вадим Делоне, Ефим Эткинд, Виктор Файнберг, Наталья Горбаневская, Татьяна Житникова-Плющ, Владимир Максимов, Виктор Некрасов, Леонид Плющ

Этот текст был опубликован во французской прессе и напечатан в приглашениях на вечер. Кроме него, участникам вечера были розданы листовки с текстом предложения о выработке своеобразной «нравственной хартии» поведения интеллигенции. Текст был подготовлен нашими французскими друзьями.

Сегодняшняя интеллигенция больше не может делать вид, что не знает или не сознает двусмысленности своего положения. Откровенные или завуалированные тоталитарные системы более, чем когда-либо, вербуют ученых, артистов, писателей, журналистов под свои знамена. Плоды творчества интеллигенции используются для маскировки существа режима, становятся для тоталитарных государств индульгенцией и алиби. И, чтобы устоять против постоянных усилий властей поставить умы под свой контроль, нам надо заново поднять вопрос о личной ответственности.

Мы знаем уже, что классические политические решения и общепринятые идеологические суждения потерпели окончательный крах, в то время как на Востоке и на Западе источником истинного сопротивления становится борьба за Права Человека. В век лагерей, массовых боен и узаконенных убийств только совесть, только воля каждого может уберечь нас от варварства и порабощения. Сегодня мы обращаемся к совести каждого и спрашиваем: какое поведение по отношению к любому тоталитаризму нравственно? В поисках ответа на этот вопрос можно был бы сформулировать

настоящую нравственную хартию интеллигентов, и над этим мы предлагаем подумать.

Недавняя кампания за бойкот футбольного кубка в Аргентине, пожалуй, указала новый путь. Этот опыт нанес удар по приспособленчеству политических партий, и его можно и нужно расширить. Речь идет не только о бойкоте Олимпийских игр в Москве, но и об отказе участвовать в научных конгрессах и коллоквиумах, таких, как встреча психоаналитиков в Тбилиси или онкологический конгресс в Буэнос-Айресе, и даже в организованных путешествиях западной либеральной интеллигенции в восточноевропейские страны.

Ибо солидарность с теми, кто борется ТАМ, — ЗДЕСЬ, во всех странах мира, означает, прежде всего, выработать в себе моральный и интеллектуальный подход, который отвечал бы требованиям борьбы за Права Человека. Присоединить к их голосам свой — это значит нигде и ни в чем не уступать палачам.

Само собой разумеется, «нравственная хартия» поведения несводима к благоговейным заявлениям и перечню добрых намерений. Нет, надо, чтобы чувство ответственности за происходящее, личное участие во всяком конкретном случае стало делом совести каждого. Может ли историк присутствовать на конгрессе в Праге, где десяткам его коллег запрещено преподавать и заниматься научной работой? Имеют ли артисты моральное право выступать по соседству с лагерями и спецтюрьмами? При каких условиях писатель может соглашаться на перевод и публикацию его произведений в этих странах? Те же проблемы встают и перед журналистами и издателями, и перед спортсменами и профсоюзными деятелями... Всё это только примеры, только вопросы, на которые нам надо искать ответ.

Встреча в Театре д'Орсэ, действительно, переросла рамки обычных выражений солидарности и протеста и превратилась в конкретную дискуссию о том, что должна и что может сделать западная интеллигенция. Организаторы и участники вечера получили многочисленные приветствия со всех концов света — в том числе от А. И. Солженицына, согласившегося быть почетным председателем этой встречи. Из этих приветствий мы публикуем одно, учитывая его уникальный характер: оно было передано накануне по телефону из Варшавы. Оно адресовано редакции нашего журнала, поскольку мы были в числе организаторов вечера.

Редакции журнала «Континент»

Выражаем солидарность с вашей акцией протеста по делу Александра ГИНЗБУРГА. Мы возмущены тем, что советские власти растоптали обязательства, принятые ими при подписании и ратификации Международных пактов о правах человека. Мы протестуем против продолжающихся в СССР преследований тех, кто выступает в защиту прав человека и гражданина.

**Комитет общественной самозащиты КОР
Варшава, 26 июня 1978 г.**

Дискуссия сосредоточилась, с одной стороны, на вопросах нравственных, на проблеме личной ответственности, на неприменимости критериев «левого-правого», когда речь идет о защите фундаментальных человеческих прав, с другой стороны — на обсуждении возможностей бойкота — прежде всего, научных конгрессов и Олимпийских игр в Москве. Осенью эти вопросы будут предложены широкой французской общественности, которую не мог вместить Малый зал Театра Д'Орсэ.

10 июля, в день начала процессов Александра Гинзбурга, Анатолия Щаранского и Виктораса Пяткуса, в Париже было сделано заявление, оглашенное на пресс-конференции Натальи Щаранской. На следующий день текст этого заявления распространялся в виде листовки на многотысячной демонстрации, которая проводилась в Париже в знак протеста против новых процессов в Советском Союзе.

В Москве судят члена Группы-Хельсинки Анатолия Щаранского. Ему угрожает 15 лет лагеря или расстрел.

В Калуге судят члена Группы-Хельсинки Александра Гинзбурга. Ему, отсидевшему уже 7 лет лагерей, угрожает 10 лет лагеря и 5 лет ссылки — в его состоянии это равносильно даже не медленной, а скорой смерти.

В Вильнюсе судят председателя литовской Группы-Хельсинки Виктораса Пяткуса. Ему угрожает тот же срок, что Гинзбургу. Он уже пробыл в лагерях 16 лет. Еще один смертный приговор.

На сроки от 7 до 10 лет уже приговорены члены московской, украинской, литовской Групп-Хельсинки Юрий Орлов, Микола Руденко, Олекса Тихий, Микола Матусевич, Мирослав Маринович, Балис Гаяускас. Отправлен в ссылку член московской Группы-Хельсинки Владимир Слепак. Осуждены еврейские активисты Ида Нудель и Иосиф Бегун. Отправлен в уголовный лагерь член украинской Группы-Хельсинки баптист Петр Винс.

На Украине ждет суда Левко Лукьяненко. В 1961 году смертный приговор ему был заменен пятнадцатью годами, которые он провел в мордовских лагерях и во Владимирской тюрьме. Новые 10 лет лагеря плюс 5 лет ссылки могут стать и для него смертным приговором.

Скоро открывается процесс председателя рабочей комиссии по психиатрии при Группе-Хельсинки Александра Подрабиника. Его брат Кирилл — как заложник — по ложному обвинению отправлен в уголовный лагерь.

ВСЁ ЭТО ТВОРИЛОСЬ И ТВОРИТСЯ ПЕРЕД БЕЛГРАДОМ, ВО ВРЕМЯ БЕЛГРАДА, ПОСЛЕ БЕЛГРАДА.

Защитим тех, кто требует выполнения Хельсинкских соглашений, против тех, кто превратил их в клочок бумаги.

ВСЕОБЩАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ АМНИСТИЯ или БОЙКОТ ПАЛАЧАМ!

На демонстрации 11 июля (18.30, площадь Республики) защитим всех преследуемых в Советском Союзе.

Владимир Буковский, Вадим Делоне, Виктор Файнберг, Наталья Горбаневская, Татьяна Житникова (Плющ), Татьяна Ходорович, Владимир Максимов, Леонид Плющ, Мария Розанова (Синявская), Андрей Синявский

В ЗАЩИТУ АНАТОЛИЯ МАРЧЕНКО

Мы глубоко озабочены судьбой нашего друга Анатолия Марченко, активного участника движения за права человека, автора многих правозащитных документов. Его книга «Мои показания» — первое документальное свидетельство о советских тюрьмах и лагерях в послесталинское время. Она стала одним из наиболее популярных произведений самиздата, была переведена почти на все европейские и на японский языки. В США она была издана в 1969 г. издательством Даттон и К^о. Анатолий Марченко — рабочий из сибирского поселка, сам провел 11 лет в описанных им местах заключения, что совершенно разрушило его здоровье: он потерял слух, у него совершенно больной желудок, и сейчас он является полным инвалидом.

Сейчас он находится в ссылке в маленьком поселке Чуна в Восточной Сибири. Вместе с ним его жена Лариса Богораз, сама активный участник движения за права человека. В ссылке вырос их пятилетний сын Павел. В сентябре этого года должен закончиться срок ссылки Марченко. Но сейчас нам стало известно, что над ним готовится новая расправа. Следователь местного отделения КГБ Хватов предлагал нескольким жителям поселка Чуна «помочь» создать уголовное дело Марченко — например, подбросить ему в дом мешочек с золотым песком. При чем следователь утверждал, что все равно остается всего несколько дней до его ареста.

Анатолий Марченко — один из членов-основателей первой в СССР Хельсинкской группы (Московской), более того — один из инициаторов ее создания. Подготовка нового процесса над Марченко — еще одно звено в цепи преследований, обрушенных советскими властями на хельсинкские группы. Напоминаем, что из Московской группы лишены свободы ее руководитель д-р Юрий Орлов, Александр Гинзбург, Анато-

лий Щаранский и Владимир Слепак, а всего подвергнуто репрессиям в Советском Союзе 20 членов Хельсинкских групп.

Людмила АЛЕКСЕЕВА, член московской Группы-Хельсинки, Петр ГРИГОРЕНКО, член московской и украинской Групп-Хельсинки, Андрей АМАЛЬРИК, Дина КАМИНСКАЯ, Константин СИМЕС, Николай ВИЛЬЯМС, Павел ЛИТВИНОВ, Майя ЛИТВИНОВА, Наталья САДОМСКАЯ, Валерий ЧАЛИДЗЕ, Борис ШРАГИН, Юрий ШТЕЙН.

26 июля 1978, Нью-Йорк

Полностью присоединяясь к заявлению, мы хотим обратить особое внимание французской общественности на судьбу Марченко и на вероятные цели намечающихся против него новых репрессий. Анатолий Марченко сослан в Сибирь, потому что не соглашался ни на малейший компромисс с властями: доведенный преследованиями до решения эмигрировать, он настаивал на своем праве эмигрировать открыто и туда, куда он хочет, а не принять навязываемые условия игры в «воссоединение с семьей» в Израиле. Его этапировали в ссылку, когда он держал голодовку, — не оказывая никакой медицинской помощи и в наручниках. После этого он страдает тяжелой болезнью суставов — в придачу ко всем болезням, которые заработал прежде в лагерях. Тем не менее, ему полностью отказано в медицинской помощи: по сигналу «сверху» врачи Иркутской областной больницы вышвырнули его из больницы, даже не успев обследовать. С полностью разрушенным здоровьем, он не получил, однако, инвалидности и обязан работать — иначе ему угрожает преследование за тунеядство. Притом работать на самых тяжелых немеханизированных работах, что окончательно разрушает его здоровье. Всё это не помешало

Марченко быть одним из инициаторов и членов-основателей Группы-Хельсинки. Всё это заставляло власти еще больше опасаться возвращения Марченко из ссылки.

На фоне фальсифицированного уголовного дела Александра Болонкина очевидно, что власти стремятся нанести новый удар как по хельсинкскому движению, так и вообще по бывшим политзаключенным, а всех, кто рискует стать на путь сопротивления, запугать бесконечностью будущих репрессий: тюрьма — лагерь — ссылка — снова тюрьма — снова лагерь — административный надзор — снова лагерь, и так всю жизнь. Одновременно советское руководство хочет взять измором всех, кто здесь, на Западе, защищает советских диссидентов: западная общественность выступила с резкими протестами во время недавних процессов, но хватит ли у нее сил протестовать каждый раз, тем более, что обвиняемые затеряны в сибирской глуши, а обвинения носят уголовный характер? Мы хотим надеяться, что хватит. Что профсоюзы забудут тревогу по поводу судьбы рабочего. Что интеллигенция вступится за писателя. Что врачи потребуют соблюдения медицинской этики от своих советских коллег. И что французские парламентарии присоединят, наконец, свой голос к парламентским группам США и других европейских стран, выдвинувшим советские Группы-Хельсинки в полном составе — в том числе и Анатолия Марченко — на Нобелевскую Премию Мира.

Владимир Буковский, Вадим и Ирина Делоне, Виктор Файнберг, Наталья Горбаневская, Татьяна Ходорович, Владимир Максимов, Леонид и Татьяна Плющ.

Август 1978, Париж

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Свыше 1500 титулов на складе.

Требуйте каталоги

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany



Условия подписки на журнал «КОНТИНЕНТ»

На 1 год — 40 н. м.; на 6 месяцев — 20 н. м.

Цена одного номера — 12 н. м.

Пересылка за счет подписчика

Подписка может быть оформлена в генеральном представительстве «Континента» по адресу:

A. Neimanis · Buchvertrieb

8000 München 40 · Bauerstrasse 28 · Germany

а также у корреспондентов журнала (адреса на второй странице обложки) или у представителей «Ассоциации друзей «Континента»:

**С Ш А: Вост. побережье — Э. Штейн (E. Sztein),
7 Miles Ave, Woodbridge, Conn. 06525 USA**

**Зап. побережье — В. Соколов (V. Sokolov),
University of California, Crown College,
Santa Cruz, Calif. 95064, USA**

**Мичиган — О. Политис, 3133 No. Wagner Rd.,
Ann Arbor, Mich. 48103, USA**

**Генеральное представительство
«КОНТИНЕНТА»**

**A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB
8000 München 40 · Bauerstr. 28 · Germany**



Памятник в честь русских воинов, отказавшихся стрелять в немецких трудящихся в день восстания 17 июня 1953 г. и за это расстрелянных советскими властями. Он был поставлен в Западном Берлине, около Потсдамер шоссе. Надпись на памятнике: «Российским офицерам и солдатам, погибшим за то, что они отказались 17 июня стрелять в борцов за свободу». В связи с начавшейся политикой деданта западноберлинские власти распорядились этот памятник снести.